

Я К О В Р Е З Н И К

Д О В Е Р И Е

1962

Яков Резник

ДОВЕРИЕ

П О В Е С Т Ь

Второе дополненное и переработанное издание

СВЕРДЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1962

РЕЗНИК ЯКОВ ЛАЗАРЕВИЧ

ДОВЕРИЕ

Редактор *Н. Куштур*
Оформление художников *В. Жабского* и *М. Заводчикова*
Художественный редактор *Я. Черников*
Технический редактор *Л. Чемко*
Корректоры *Л. Голобокова* и *А. Курленко*

Подписано к печати 13/IX 1961 г. Уч.-изд. л. 13,61. Бумага 54×84¹/₁₆=8,125
бумажного — 13,32 печатного листа
НС33576. Тираж 50.000. Заказ № 330. Цена 56 коп.

Тип. изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, ул. им. Ленина, 49.

Резник

Я. Л. РЕЗНИК

Автор повести «Доверие» писатель Яков Лазаревич Резник родился в апреле 1912 года в городе Житомире, на Украине, в семье рабочего.

Трудовую жизнь будущий писатель начал с 13-летнего возраста. С 1925 по 1930 год работал по найму у кустарей и столяром на мебельной фабрике, одновременно учился в вечерней рабочей школе.

В 1930 году после окончания Центральных курсов комсомольских работников Украины был направлен в комсомольскую печать. С 1932 по 1935 год учился в Московском институте журналистики, а по окончании был назначен редактором газеты Магнитогорского металлургического комбината. Затем редактировал газету Уралмашзавода. В те же годы печатал в уральских и центральных газетах и журналах очерки и рассказы о героях первых пятилеток.

В дни войны вступил добровольцем в Уральский танковый корпус, с которым прошел весь боевой путь от Орла до Праги. До 1957 года служил в Советской Армии, был редактором военной газеты. После демобилизации вернулся на Урал.

Годы, проведенные на фронтах, участие в освободительном походе Советской Армии по странам Восточной Европы определили творческое направление писателя. В 1953 году выходит повесть Я. Резника «Рассвет над Влтавой» об антифашистском подполье в Чехословакии, Юлиусе Фучике и его друзьях, а в 1958 году —

первое издание повести «Доверие» — о послевоенной Советской Армии.

Я. Резник — член КПСС с 1930 года, в 1954 году принят в Союз писателей.

Предлагаемая вниманию читателя повесть «Доверие», написанная писателем по героическим следам событий, рассказывает о послевоенных буднях танкистов Советской Армии. События в повести разворачиваются в 1956 году — в первой части на нашей территории, во второй — в Венгрии во время фашистского мятежа. Герои повести — офицеры и солдаты отдельного танкового полка, рабочие, инженеры и конструкторы завода, создающие для Советской Армии первоклассную боевую технику.

Главный герой книги капитан Киреев — отличный волевой офицер, новатор, чуткий воспитатель солдат и примерный семьянин. Ему противостоит временный командир полка Мякинин — себялюбец и карьерист, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своих корыстных целей.

Среди других героев повести выделяются также интересно выписанные образы гвардии старшины, парторга Григория Сошнева и рядового Василия Зарембы, который под влиянием коллектива из недисциплинированного, разболтанного человека превращается в умелого и храброго бойца.

В повести остро, злободневно трактуются животрепещущие вопросы армейской жизни: о доверии к человеку, чуткости, о взаимоотношениях командиров и подчиненных, о творческом дерзании и поисках, о большой красивой любви.

Острый, напряженный сюжет, накал драматического действия, запоминающиеся характеры героев, несомненно, привлекут читательский интерес к повести Я. Резника «Доверие».



Часть первая
ПОИСКИ

Берд

*Жене, другу
Марии Резник
посвящаю*

В

1

лесу густели сумерки. На небосводе уже загорались первые звезды.

Тихо было на лагерных учебных полях, у солдатских палаток, в парке боевых машин. С открытыми люками и поднятыми вверх стволами орудий, словно прислушиваясь к чему-то, стояли танки. Легкий шелест листьев да шепот высоких трав на полянах создавали впечатление, будто машины глубоко и мерно дышат.

Утром полк возвратился с трехдневных учений, а вечером танкисты собрались в клуб посмотреть кинофильм. В перерывах, когда киномеханик менял на единственном аппарате части фильма, разноголосый говор, шутки, смех сливались в веселый гул. Назойливые комары пытались, но не могли помешать гвардейцам насладиться долгожданным отдыхом.

— Берегись, на посадку идет реактивный! — воскликнул, приблизившись к задней скамейке, угловатый рыжий солдат. Он махнул длинной рукой и сжал в кулаке упитанного комара. — Ах ты, вредный, знаешь ведь, на какой аэродром садиться: на носу Зарембы и ширь, и гладь, и отличный харч. Здорово, Василий!

— Привет, Щеглов. Кончился твой отдых?

— Как видишь. А жаль: во-первых, комары там не заедали, к тому же есть слушок, что тебя тоже туда.

— Все может быть.

— Опять старшóму не угодил?

7

— Опять.

— Останешься у него — сделает из тебя ветошь для чистки оружия.

— Ты еще злее стал после ареста.

— Я-то? Не совестно? Да я на губе во как по тебе скучал!

Несмотря на общий шум, последние слова Щеглова расслышал близко сидящий ефрейтор.

— Жаль, что рано вышел. Завтра твое место займет Заремба. Снова будете скучать друг без друга.

— А ты от кого слышал, что будет завтра? Перед тобой, наверно, офицеры отчитываются, — съязвил Щеглов, раскрывая в усмешке большой тонкогубый рот. — Как же? Ведь ты, ефрейтор, их первый помощник!

— Первый не первый, а знаю: взводный к капитану помчался, на всю катушку наказывать хочет...

Командир танкового взвода старший лейтенант Валерий Чумак в это время, действительно, был в палатке командира роты капитана Киреева и нервно расхаживал в тесном промежутке между солдатской койкой и раскладным столиком.

— Не могу я, Алексей Матвеевич, больше терпеть Зарембу, не могу! Прошу — избавьте!

Он кинул недокуренную папиросу в пепельницу, сгоряча зацепил угол раскладного столика, за которым сидел капитан Киреев.

— Раздражительность и неприязнь к солдату — плохие помощники, Валерий Константинович. — Киреев говорил протяжно, заметно окая. — У Зарембы были промахи, верно, но разве последнее солдатское собрание не пошло ему впрок?! Три дня на учениях он вел себя вполне достойно.

— Сожалею, что вас не было после отбоя, увидели бы его достоинства.

— Случилось что?

— Как только вы уехали на разбор учений, солдаты попросились искупаться. Я разрешил. Поплавали, оделись, построились, а Зарембы нет. Признаться, напугал он меня. Боялся — утонул. Всем взводом искали битый час, ныряли, осмотрели кусты на обоих берегах — никаких следов. Хорошо, старшина Сочнев догадался поискать наше чадо за изгибом реки, километра

Киреев

за два вверх по течению. Там и нашел. Думаете, осознал вину? Ничего подобного. Даже возмущаться вздумал: у рыбаков, видите ли, сеть порвалась, рыба уходит, надо было улов спасать... Не солдат — ржавчина в моторе. Одно ему место — на гауптвахте, суток на десять!

— Ржавчина... гауптвахта... — повторил Киреев. — И слова, и меры надо бы выбирать поосторожней. Мне кажется, Заремба поймет, не враг же он себе в конце концов.

Лицо Чумака покрылось красными пятнами.

— Я ли не пытался исправить его? А результат! Пререкается на каждом шагу, требует перевода в хозяйственный взвод. Уверен, товарищ гвардии капитан, я еще дождусь, что вы сами прикажете мне сплавить его. Это единственный выход.

— Единственный?!

Киреев поднялся. Был он сухошав и на полголовы ниже Чумака. Фигура — крепко сбитая, упругая, мускулистая. Веселые, широко раскрытые карие глаза глядели с задором. Кожа лица так сильно потемнела от ветра и солнца, что почти незаметны стали пучки стрелчатых морщин у глаз и рта. С первого взгляда казалось: Киреев ровесник Чумаку, хотя был он на восемь лет старше командира взвода и минуло ему тридцать три.

— Вы сказали, единственный выход?! — в голосе Киреева зазвучало осуждение. — Вы требуете выгнать солдата. Но, если он неисправим, его судить надо, а не сплавлять из одной части в другую.

— Что ж, тогда под суд!

— Судить? За что? Не за то ли, что в хозяйственном взводе не думали о солдате, что с начала службы одного, без старшего, посылали в далекие рейсы? Или за то, что он непонятен и мне и вам? Нет, Валерий Константинович, нельзя нам сплавлять Зарембу. Сплавлять можно лес, а не людей. К тому же не мешает вам знать, сплавщики о каждом бревне заботятся, — не оторвалось бы от плота.

Чумак почувствовал, что слишком круто начал разговор, и стал оправдываться.

— Возможно, я кое в чем ошибаюсь. Да и не вовремя затеял разговор. Пойдемте в кино?

— Не могу. Давно получил письмо от жены, надо ответить. Попрошу вас — пришлите после кино Зарембу ко мне.

Чумак вышел. Киреев вынул из ящика письмо, перечитал его, стал писать ответ. Он настолько отвлекся от всего, настолько был поглощен письмом, что не услышал, как скрипнули дверцы в дощатом гнезде палатки и вошел солдат.

Приземистый, с лобастой угрюмо опущенной головой, Заремба остановился и выпалил, должно быть, заранее приготовленную фразу:

— Прибыл, товарищ гвардии капитан, на очередную головомойку!

От неожиданности Киреев встрепенулся, удивленно уставился на вошедшего. Тот был в пилотке. Ремень туго затянут. Озорные слова противоречили взгляду — в нем было больше неловкости, чем озорства. Да и руки, большие, рано привыкшие к труду, то искали место за поясом, то вытягивались по швам.

— Почему вошли без разрешения? Кругом, марш! Заремба неловко повернулся и вышел.

«Неужели прав Чумак? Может, в самом деле лучше отделаться? Нетрудно отправить в другую часть, повод всегда найдется. Переведу — рота избавится от нарушителя... А что с ним будет в другом месте?..»

— Разрешите войти? — раздался хриплый голос по ту сторону палатки.

— Войдите!

— Рядовой Заремба. По вашему приказанию прибыл.

Белесые брови низко нависли на глаза, избегали прямого взгляда офицера. А тот вышел из-за стола и протянул солдату руку.

— Здравствуйте, товарищ Заремба. Садитесь.

Заремба почувствовал крепкое пожатие, растерялся и не заметил, как оказался на табурете, совсем близко к присевшему опять Кирееву.

— С вами, конечно, беседовали о поступке на реке, но и я скажу кое-что. Хорошо, что мирное время. А если бы вы допустили проступок в бою?!

Зарембе трудно было разорвать плотно сомкнутые губы. Когда после кино ему велели идти к командиру

роты, Щеглов навязался проводить, уверяя, что Киреев направит на гауптвахту и что это даже к лучшему. «Не бойся ареста, атакуй, и тебя пошлют в хозяйственный взвод. Будешь шофером, а не пешкой-заряжающим». Заремба думал: командир роты заставит стоять «смирно», выслушивать длинные поучения, и тогда он последует совету Щеглова. А тут вышло все навыворот — Киреев пожал руку, усадил, а теперь говорит:

— Я вас наказывать не буду. Надеюсь, вы и без того осознали свою вину. Мне только непонятно: три дня вы действовали, как настоящий танкист, что же на реке-то вздумали самовольничать?

«Оправдываться? Нет! Он меня не наказывает — значит, не отпустит. А я не хочу здесь, я заставляю...» И, оторвав взгляд от своих заскорузлых пальцев, Заремба непримиримо отрубил:

— Меня агитировать напрасный труд. Окрестили неисправимым, а с неисправимого какой спрос? Лучше переведите в другую часть, вашей роте могу только ЧП принести!

Он надеялся, теперь уж капитан непременно вспылит, но тот сказал равнодушно:

— Хорошо. Постараюсь удовлетворить вашу просьбу. Может, вам действительно больше подходит какая-нибудь нестроевая часть.

У Зарембы, не ожидавшего такого быстрого решения, брови поползли вверх. Больше всего его поразило равнодушие офицера. Стало обидно, что командир говорит о нем с таким безразличием. Но тут же спохватился: показалось, что в глазах Киреева затаилась усмешка.

— Если вы пошутили со мной, товарищ капитан, и не думаете отпустить, то повторяю: будет плохо для роты!

В запальчивости Заремба не заметил изменившегося взгляда Киреева. В нем было и сожаление, и грусть, и укор.

— Советую никогда не прибегать к угрозам. Вы ставите себя в положение одинокого и беспомощного человека, Заремба. Однако хватит. Вас, я вижу, бесполезно уговаривать. Вот бумага, пишите докладную записку.

Киреев отошел к этажерке, взял с полки первую попавшуюся книгу и, перелистывая ее, незаметно и с любопытством глядел на сопевшего Зарембу. Тот низко склонился над столом, пальцы выводили то слишком жирные, то чрезмерно тонкие буквы. Строчки выходили корявые, неровные, а подпись, всегда размашистая, с завитушкой над буквой «З», на этот раз легла на бумагу неуклюжей черепашкой.

Заремба поднялся. Киреев подошел, взял исписанный лист, не спеша прочитал.

— Летом переводы из части в часть запрещены. К концу учебного года буду ходатайствовать. Идите!

Заремба будто прирос к месту. Потом медленно повернулся и вялой походкой направился к выходу.

«Вот те и на! — глядя ему вслед, подумал Киреев. — Можно было ожидать — козлом выпрыгнет из палатки, а он еле ноги от земли отрывает».

Прохладный ночной ветерок лениво прогуливался меж стволов, шумел листвой молодых берез, дубков и осинника. Только на открытой ровной линейке он набрал силы и закружил вокруг солдата. Заремба вздохнул: «Пусть хотя бы к осени, а я уйду, снова буду шофером».

Но радости, настоящей, глубокой, почему-то не было. Что-то обидное, оскорбительное было в этом легком согласии капитана перевести его в нестроевую роту.

2

Срывая гусеницами щепы с дубовых бревен, танк медленно и неохотно сползал с эстакады. Он фыркал, выбрасывая из выхлопных труб черные гривы дыма. Развернувшись в другом конце парка и еще раз фыркнув, танк смолк. Водитель занялся осмотром механизмов управления; Заремба выколачивал кувалдой остатки глины и чернозема, плотно забившиеся меж звеньями гусениц.

Заремба работал охотно, пока с механиком-водителем обмывал на эстакаде танк из шлангов, но только механик скрылся в машине, Заремба захандрил.

— Тоже мне механизация! — ворчал он, вяло ударяя кувалдой по тракам гусеницы.

Вскоре солдат бросил кувалду, оперся на крыло машины, уставился в небо.

А было оно в это утро до того чистое, прозрачное, точно его обмыли напористые водяные струи. Василий мог поспорить с кем угодно, что серебристо-матовая точка в далекой небесной глубине — это веселый неутомимый жаворонок. Он то замирал, то, рассекая воздух, стремительно взвивался выше.

От созерцания птичьего полета Зарембу отвлек гор-таный говор наводчика танкового орудия Шоты Джавахадзе. Длинный, жилистый, он широченным шагом приближался от ворот парка, на ходу выкрикивая:

— Бегом, генацвали! Старшой лейтенант приказал: один нога здесь, другой — индивидуальный домик. Кисти-краски бери старшински каптерка.

Заремба снял с крыла машины скребок, стал ковырять в извилинах гусеницы:

— Зачем не идешь?

— Иди, если хочется. Я в воскресный день не работник, да еще в чьих-то личных домиках.

— Ты что, Васа, приказ подрываешь? Старшина сегодня тоже работать.

Заремба пренебрежительно пожал плечами.

— Молод ты, Шота, учить. До наводчика дослу-жился, а простых вещей не разумеешь: начальник работает — не мешай ему, начальник отдыхает — помогай ему.

— Ух, бессознательный! — огромная ладонь Джавахадзе наотмашь рассекла воздух. Он стал в такой позе, словно хотел кинуться на непослушного. — Званий танкиста губишь, ничего не хочешь, не умеешь.

— Ну, это ты напрасно. Кое-что умею. — Заремба насмешливо сощурил глаза, стал загибать пальцы. — Усиленный завтрак съел — раз, колбаской в ларьке закусил — два, да вдобавок запил еще бутылочкой хлебного квасу. А в общем, не дорос ты еще мораль мне читать.

— Что? — острое лицо Джавахадзе побагрове-ло. — Я? Не дорос?!

— Из тебя танкист, как из вороны реактивный самолет.

Такую обиду Джавахадзе не мог простить. В иссиня-черных глазах сверкнуло негодование, он выхватил

из рук Зарембы скребок и так пустил его в гусеницу, что скребок зазвенел, подскочил, обдал грязью обоих солдат. Жирные комочки земли сели бородавками на нос и подбородок Зарембы.

В лобовом люке машины показался механик-водитель, старшина сверхсрочной службы Григорий Сочнев. Услышав перебранку и звон скребка, он пружинисто прыгнул на землю, встал между танкистами:

— Петушиный бой?.. Разомкнись!

Задиристый Джавахадзе все еще размахивал руками, Заремба огрызался, но оба отступили в разные стороны от старшины. А он, качая русой головой, с укором говорил:

— Вот как вы юбилей полка встречаете! И это называется дружба в экипаже?

— Юбилей! — возмущался Заремба. — С танком возились, понимаю: сами виноваты, в трясине застряли. А зачем я должен кому-то жилье разукрашивать в такой день? Не человек я, что ли!

В первый раз Заремба пожаловался парторгу роты Сочневу. Он видел — солдаты других экипажей и взводов приходят к парторгу, находят у него совет и помощь. А он все держался в отдалении, верил Щеглову. «Из-за таких сверхобразцовых танкистов, как Сочнев, нас с тобой, Вася, за людей не считают». Вспомнив эти слова, Заремба исподлобья поглядел на старшину, и ждал — поддержит или осудит. Но старшина ничего не сказал. Он поднял скребок, ткнул им в промежуток между траками, туда, где грязи уже не было, — задумался.

Удручающую тишину нарушило появление посыльного. Он передал приказ командира роты: всем танкистам немедленно идти в палатки, подготовиться к парадному построению.

* * *

Большое поле стадиона, вместительная трибуна были в праздничном убранстве. Кумачевые знамена на возвышении, белые, голубые и пестрые спортивные флаги соперничали яркостью красок с нарядами женщин, заполнивших гостевую часть трибуны.

Из края в край, достигая флангами лесных опушек,

стоял неподвижный строй полка. Издали донеслись отчетливые, схожие с цокотом копыт, звуки барабана, взметнулась над колоннами команда:

— Полк, сми-р-р-на-а-а-а!.. Для встречи слева, под знамя, слушай, на кра-ул!

На южном крае стадиона показалось знамя. Оркестр заиграл встречный марш. Еще выше поднял знаменщик распахнувшийся на просторе алый шелк. С него прищуренным теплым взглядом смотрел на гвардейцев Ленин.

Два ассистента с автоматами на груди и шедший во главе взвода старший лейтенант Чумак вскинули головы. Торжественно строгой была фигура молодого офицера. Он шел размеренно, печатая шаг. Правая рука в белой перчатке в такт шагам вздрагивала у козырька.

Медленно плыло знамя мимо колонны, и вслед за ним незаметно поворачивал голову Василий Заремба. Во время службы в хозяйственном взводе он даже не представлял себе, что строй может быть таким величественным. Ему приятно стало от мысли, что и он является частицей этой могучей силы, приятно было видеть, что знамя несет механик-водитель его экипажа Григорий Сочнев. По наградам на мундире Сочнева Заремба как бы читал страницы его биографии — орден Красного Знамени и две медали, конечно, за бои, три нагрудных знака «Отличный танкист» и знак мастера вождения — это недавнее...

Знаменный взвод дошел до головной колонны, где стоял заместитель командира танкового полка Мякинин. Знаменщик и ассистенты приставили ногу. Сочнев опустил древко на землю. По стадиону прокатился высокий голос полковника Мякинина. Он говорил о героях-ветеранах, которые своими подвигами в боях прославили танковый полк. Мякинин опустился на колени, приник губами к алому шелку знамени. Строй колыхнулся и снова замер.

Волнение танкистов передалось гостям. По длинным крыльям трибуны точно прошла мелкая зыбь. Женщины вставали с мест, чтобы лучше разглядеть подтягивающиеся друг к другу колонны. Жены молодых офицеров приподнимались на носки, искали глазами своих мужей, тревожились и надеялись, что

на первом для них праздничном смотре в полку мужья сумеют показать себя хорошими строевиками, настоящими командирами.

Лишь несколько женщин оставались сидеть на скамье возле самого возвышения трибуны. Эти были безучастны к тому, что делалось в центре поля, держали себя надменно, устаивая взорами лишь начальство на трибуне, куда только что поднялся полковник Мякинин и штабные офицеры.

— Какой статный наш полковник! — кокетливо произнесла одна из сидящих женщин. — Завидная у него выправка, правда?

Высокий, с крупными энергичными чертами лица, моложавый для своих сорока пяти лет, Мякинин действительно выделялся в группе командиров.

— Да что выправка! — отозвалась соседка. — У Мякинина перспектива завидная, — и, скосив глаза в сторону жены полковника, повысила голос, чтобы та ее услышала. — Полк за Мякининым остается. Говорят, полковник Целищев уже не возвратится из Москвы.

— Разве?!

Новость уже потекла по рядам, когда раздалась замедленная, празднично-напевная предварительная команда:

— К то-о-ор-жест-венному мар-шу-у-у-у!

Офицеры встали во главе колонн. К трибуне с красными флажками на штыках карабинов побежали линейные. Туда же поспешил оркестр. Дирижер поднял руку, послышалась команда, и гвардейцы тронулись.

Первым мимо гостей и начальства прошел знаменный взвод. Увидев ободряющий кивок полковника и улыбки женщин, Валерий Чумак был готов еще десяток раз пройти нелегким строевым шагом, чтобы снова ощутить на себе восторженные взоры. У поворота Чумак не выдержал, повернул лицо к трибуне. К ней приближалась рота капитана Киреева. Танкисты вскинули головы вправо. В их поступи чувствовалась горделивая молодая сила. Только последняя шеренга вихляла. Чумак прикусил губу: «Снова, кажется, Заремба!»

Торжественная встреча знамени, речь командира о пятнадцатилетней годовщине полка взволновали Зарембу. Он вдруг представил себя не на стадионе, не

равным среди танкистов в этот праздничный день, а где-то за тыловой линейкой, одиноким возле достраивающегося домика, куда его хотели утром послать. «Сочнев отмолчался: боялся сказать, что командир взвода неправ, или сам такой же? Вон как вышагивает старший лейтенант Чумаков... Что он от меня хочет?..» Рота уже приближалась к трибуне, а Заремба все не мог откинуть щемящую обиду. Он почувствовал себя скованным. Ему казалось, что гости, офицеры на трибуне — все видят его неловкость, с неприязнью смотрят на него, и забыв, что надо ждать условного сигнала, раньше всех в своей колонне перешел на строевой шаг. Шагнул так минуточку-другую, и тут услышал негромкий сигнал голосом: «И-и-и раз!» Поняв, что ошибся, Заремба растерялся, дважды переменял ногу, наступил на каблук впереди идущего. После этого он уже не смог войти в ритм, приотстал от строя, потом начал его догонять, размахивая на свою беду руками.

Когда трибуна и смех гостей остались позади, Заремба услышал:

— Заснул, тетеря!

— Всех опозорил...

— Не беги, уж добегался...

Василий ссутулился, втянул голову в плечи. Чувство отчужденности, одиночества овладело им.

3

Как только за спиной Зарембы захлопнулась дверь камеры, он услышал сиплый-сонный голос:

— Поздравляю кавалера ордена губы первой степени!

Свет еще не включили, по другую сторону окошка, опутанного решеткой, густела предвечерняя синева, и в камере гауптвахты стоял полумрак. Когда глаз привык, Заремба увидел рыжую голову Валентина Щеглова и белую полосу нижней рубахи — она выглядывала из-под разорванной на плече гимнастерки.

— Это ты, Валентин? Кто тебя так разделал?

Щеглов неуверенно шагнул к товарищу.

— Выпил я, Вася, чуток лишнего в деревне. А это, — он выставил вперед угловатое, с порванным

рукавом плечо, — это из-за девчонки. Познакомился, только стал разговор вести, а тут, как на грех, ее ухажер.

— Как ты успел? Ты же на смотру был трезвым.

— Дружок-шофер из лесничества домчал меня. Ух, и здорово выпили! — Щеглов громко зевнул, показал на дверь, выругался: — Просил дежурных: отоприте койку, дайте поспать, нельзя, говорят, устав...

Не доверяя самому себе, Щеглов, пошатываясь, опять побрел от койки к койке, бренчал замками: авось, начальник караула забыл хотя бы один запереть на ключ. Но все три замка были заперты, койки надежно пристали ложами к стенам.

— А ты составь табуретки и спи, — посоветовал Василий.

Щеглов не слушал его.

— Я тут сидел и думал: неужто не встречу Васю, пока не выйду? А ты, брат, молодец, почуял, как мне тошно. Тебе сколько дали?

— Трое.

— А мне еще не объявили. На сей раз, видать, суток пятнадцать всыпят.

— Не пей — не всыпят, — беззлобно посоветовал Заремба и устало опустил на табурет.

— А, может, у меня праздник. Сегодня великая годовщина появления на свет непризнанного летчика Щеглова!

— Умора! Не ты ли месяц назад говорил: «Пойдем, выпьем, надо же отметить день моего рождения...» Видать, ты двенадцать раз в году рождался.

Щеглов ухмыльнулся.

— Ишь ты, какой памятливей.

Над дверью загорелась лампочка. Свет скользнул по низкому потолку, выхватил из мрака лицо Щеглова — сизое, мятое, с узкими щелками глаз и плохо выбритым подбородком.

— Хочешь знать, почему я пью? Надоело: «Заряжай!», «Разряжай!». Тут хоть полмесяца отдышусь. Знаешь, что для меня, Валентина Щеглова, означает губа? Главное Укрытие Бывшего Авиатора. Не ухмыляйся. Мне летать на роду написано, а не заряжающим быть. В летном училище сам генерал сказывал: «Вы, товарищ Щеглов, асом станете. У вас талант...»

— У тебя действительно талант. Врать ты здорово обучился, будто на сцене играешь.

Щеглов ехидно улыбнулся.

— Ну, уж тебя-то мне не переиграть. Ты на празднике возле трибуны так классически притворялся, что я против тебя все равно что муха.

— Притворялся! — Заремба вскочил, схватил табуретку. — Замолчи, хвастунишка, а то я тебе крылья укорочу.

Щеглов вздрогнул, попятился. Заремба брезгливо посмотрел на его жалкую фигуру, опустил табурет и отвернулся.

Чувство горечи, пережитое на стадионе, опять охватило Зарембу. Сердце заныло так же, как в те минуты, когда он с поникшей головой стоял перед командиром роты и тот его отчитывал за промах у трибуны. Нелегко было взнудать нервы, не заговаривать наперекор, но он сдержался — чувствовал себя виноватым. Но потом, когда заиграла гармонь и солдаты пошли в пляс, дежурный велел ему бежать в палатку старшего лейтенанта Чумака. Тот раскричался, угрожал арестом, если Заремба сейчас же не снимет выходного обмундирования и не пойдет на стройку домика. Этого солдат не стерпел:

— Не пойду! Не имеете права. У меня тоже праздник!

...Было далеко за полночь, а Заремба все еще вертелся на голых досках. Мрачные мысли не давали ему уснуть.

Незадолго до подъема его стал тормозить Щеглов. То ли он не помнил вчерашней вспышки товарища, то ли хотел сгладить свою вину.

— Покурим, Вася, пока часово́й в глазок не подсматривает. Он думает — мы спим.

От Щеглова все еще несло перегаром самогона. Заремба отвернулся к стене.

— Обижаешься? Я, наверно, глупости вчера наговорил? Бери, закуривай. Табачок у Валентина всегда найдется.

Щеглов вертел папиросу возле самого лица Зарембы. Ноздри приятно щекотал сладковатый, с еле уловимой кислинкой аромат. Зарембе не терпелось скорее затянуться запрещенной на гауптвахте и потому еще

более желанной папироской. Вскочив с койки, он стал раскладывать во всю ее длину шинель.

— Маскировка номер один, — усмехнулся Щеглов. Со стороны могло показаться, что под шинелью продолжает лежать человек.

Они отошли к стене, в укромное местечко, недосягаемое для глаза часового. Щеглов показал, как он прячет в сапог, под стельку, табак и спички; солдаты с удовольствием покурили и помирились.

Издали в камеру донесся ослабленный расстоянием, но все такой же призывный звук горна. Пришел сержант, помощник начальника караула, отобрал шинели, поднял к стенам койки, закрыл их на замки. После перекура на душе у Зарембы полегчало, и он начал делать зарядку.

— Тебе не надоело ежедневно руками махать? — спросил Щеглов. — Давай лучше я тебя полезной азбуке обучу, для перестукивания.

— Зачем?

— На плечах не таскать, пригодится. Если меня посадят рядом в камере, будем разговаривать через стенку.

— Где ты обучался этой азбуке? В тюрьме сидел?

— Что ты, Вася, как можно! У меня дядя подпольщиком при царизме был, пять лет в Шлиссельбургской крепости сидел.

— Перестань выдумывать, надоело.

Все же из любопытства Заремба встал рядом с Щегловым у подоконника, начал вслед за ним выстукивать буквы.

Незаметно подошло время завтрака. Когда солдат, исполняющий обязанности выводного, убрал из камеры котелки и кружки, Щеглов вернулся к подоконнику. Он хотел продолжать обучение Зарембы тюремной азбуке, но что-то мелькнуло в окне.

— Глянь-ка, Вася, какой знатный гость к нам пожаловал. Замполит подполковник Донцов собственной персоной. Сколько служу, не видел такого дотошного офицера — даже на губе покоя не дает.

— Откуда знаешь, что к нам?

— К кому же еще, ежели во всех камерах пусто? Думаю, он с тебя разговор начнет, любит новичков исповедывать.

— Почему с меня?

— Не с меня же. Мой орешек пробовал долбить на дюжине собраний. Что он может еще сказать?!

— А если со мной затеет разговор, это поможет ему, как зайцу стоп-сигнал.

— Вот за что люблю тебя, Вася, так это за отвагу. Не отступай, помни, что я говорил тебе, — опять шофером будешь. Там тебе ни ночных походов, ни муштры — сам себе хозяин.

В коридоре слышались шаги, лязгнув дверной замок, и в камеру неторопливой походкой вошел подполковник. Открытая двубортная тужурка с тремя рядами орденских планок, отложной воротник защитной гимнастерки с серым галстуком, синие бриджи, заправленные в хромовые сапоги — все это на ладной фигуре выглядело строго и скромно. Остановившись посреди камеры, офицер перевел взгляд с ослабившегося Щеглова на хмурого Зарембу.

— Почему никто, товарищи танкисты, не докладывает?

Заремба исподлобья смотрел на подполковника.

— Тут танкистов нет — есть нарушители...

— Одно пока не противоречит другому.

Подполковник взял табурет у стены, поставил его к столу посередине камеры, сел, снял фуражку. Заремба, которому до этого не приходилось так близко видеть подполковника, разглядел на его лице оранжевую полосу, сросшуюся из лоскутков пересаженной кожи. Тянулась эта полоска от левого виска вниз, шла краем лица, все более расширялась к шее и затылку. Как ни искусно хирург сделал операцию, новый покров был менее эластичен, он сокращался, сморщивался, и это становилось особенно заметным, когда подполковник разговаривал.

— Товарищ начальник караула!

На пороге появился чернявый лейтенант.

— Слушаю, товарищ гвардии подполковник.

— Почему рядовой Щеглов содержится в общей камере?

— Не успел перевести, товарищ гвардии подполковник. Записка об аресте только что прислана. Вчера его посадили сюда до особого распоряжения, пока отрезвеет.

— Понятно. Выполняйте приказ!

— А узнать разрешите,— игриво-наглым дискантом спросил Щеглов, прикладывая руку к непокрытой лохматой рыжей голове,— во сколько обойдется мне выпивка ста граммов и двухчасовая самоволка?

— Вы получили пятнадцать суток строгого ареста, рядовой Щеглов. Перестаньте паясничать. Идите.

Щеглова увели. Дверь закрылась. В коридоре щелкнул замок другой камеры.

4

Минуту Заремба прислушивался,— не мог определить, где находится одиночка Щеглова. Заметив, как бегают из стороны в сторону глаза солдата, подполковник спросил:

— Дружите с Щегловым, товарищ Заремба?

— Дружу. Кажется, уставом не запрещается.

— Конечно, если взаимно оказывать хорошее влияние.

— Я не думаю о влияниях, когда уважаю человека.

— Не за его ли заслуги! Видать, Щеглов говорил вам, что его недооценили — авиатора, мол, держат в танкистах. А ведь это неправда. За плечами Щеглова не авиашкола, как он всех убеждает, а две судимости. Он отбывал наказание за кражу и хулиганство. Если не опомнится, не миновать ему и трибунала.

— Вы за тем пришли, товарищ гвардии подполковник, чтобы это мне сказать?

— Нет. Просто к слову пришлось. У меня к вам разговор более серьезный, присядьте.

Порывисто, всем телом повернулся Заремба к подполковнику.

— О строительстве домика если, то сразу скажу: достаточно с меня надругательств командира взвода.

— Странно, вы жалуетесь на старшего лейтенанта Чумака, он — на вас.

— Я ответил на оскорбление.

— Допустим, вас оскорбили. Что же — дает это вам право пререкаться, дерзить командиру?!

Зарембу так и подмывало повернуться спиной к подполковнику,— пусть говорит стенам и потолку,

сколько ему заблагорассудится. Но тут Зарембе опять бросились в глаза следы ожога на лице подполковника Донцова. Полоска будто расширилась. «Здорово его опалило. Не в танке ли?..» — подумал Заремба и неожиданно для самого себя стал оправдываться, рассказывать то, о чем решил не говорить ни одному офицеру.

— Вы не знаете, товарищ гвардии подполковник, старший лейтенант только для виду наказал меня за пререкания. Вчера утром велел идти на стройку, куда уже трижды гонял. После парада — опять. Выходит, для всех годовщина полка — праздник, а для меня?.. Не батрак я! Я — солдат!

Все, что наболело, накипело в душе Зарембы за последние дни, он выложил Донцову.

— Вы говорите о несправедливом отношении офицера к вам, и я разберусь в этом. Но вы забываете об уставе, который для вас, для меня, для маршала, для всех — закон. Любой приказ командира надо выполнять!

— Любой? — Заремба в недоумении растопырил пальцы, вытаращил на подполковника глаза. — Если прикажет против своих пойти — тоже?!

— Когда советский офицер не прикажет такого, Заремба. Отдаете ли вы себе отчет в своих словах? Хотя, видать, мысли эти не ваши — походят на речи Щеглова.

— Опять Щеглов! Что он — двойник мой? И у меня соображение есть... Вижу, не хотят меня понять, не смогу стать танкистом.... Буду служить, где угодно, только не здесь.

— Это уж слишком, товарищ Заремба. В армии не поощряют прихоти.

— Выходит, командир роты обещания на ветер бросает. Сам говорил: осенью переведет.

Опаленная бровь Донцова приподнялась: если Киреев что-то обещал, значит, были веские причины для этого. Какие. И что сказать солдату?

— Не знаю, какой разговор вы вели с командиром роты, но если он слово дал, то так и будет. Однако до осени далеко. Имеете возможность проявить себя еще в танковом экипаже. Ведь вы способный человек.

— Я? Способный? — Лицо Зарембы приняло

драчливое выражение.— Вы не слышали, какие таланты отличают меня: волчий аппетит, богатырский сон и полное отвращение к труду.

Звонкий смех покатился по камере. Смех был такой легкий, непринужденный, заразительный, что Заремба, боясь соблазна самому расхохотаться, быстро нагнулся за фуражкой, скатившейся с колен Донцова, положил ее перед ним на стол.

— Благодарю вас,— сказал Донцов.— Вы, оказывается, мастак пошутить и не лишены чувства юмора. Не знал, не знал... Садитесь, наконец, стоять нечего.

— Мне не до шуток,— нетвердо произнес Заремба, делая вид, что он и в этот раз не расслышал разрешения сесть.— К чему пригоден, в том и сознался.

— Трудно вам поверить. И на гражданской работе о ваших талантах были иного мнения, чем вы сейчас говорили.

— Откуда знаете о гражданке? Наверно, командир роты, он любит в моей прошлой жизни копаться. К чему?

На вспыхнувшем лице Донцова белой показалась фронтовая метина.

— Неуважительно вы рассуждаете о командире роты! В вашем возрасте он уже воевал, был ранен. А сейчас! Думаете легко с такими солдатами, как вы, приказы командования выполнять? А по пять-шесть месяцев в году не видеть жену и детей легко?.. Мне сорок лет, а у Киреева седин не меньше, чем у меня. Не разбираетесь вы еще в жизни, видать, оттого и выискиваете в своих командирах плохое.

Неторопливый, чуть грустный голос Донцова и стыдил, и разрушал казавшиеся логическими и единственно верными мысли Зарембы. Все же отказать от них он сразу не мог и, упорствуя, решил обойти невыгодную для него тему.

— Может быть, во всем и не разбираюсь... Но зачем вы ко мне пришли, это я знаю твердо...

— Любопытно.

— Вы не согласны с моим арестом, а отменить не с руки — авторитет старшего лейтенанта оберегаете.

— Вот так психолог, гвардии рядовой Заремба! Плохо вы пока чужие мысли улавливаете, хотя, честно скажу, задатки есть.

— Не угадал? Угадал! Маленький человек, обыкновенный солдат, не так уж и важно драку из-за него начинать.

— Когда нужно, и начинаем, и ведем...

Дальше разговор не получался. Заремба уставился в чернеющий прорезанный в двери глазок-треугольник и молчал. Донцов поднялся, надел фуражку.

— Захотите продолжить наш сегодняшний разговор или обратиться по другому поводу, найдете меня в моей палатке. Можете зайти в любой вечер.

Донцов ушел. Зарембе казалось — голова не выдержит бурливых, тяжких и соленых, как волны прибоя, мыслей. Неужели Донцов вступится за меня? Если он против наказания, почему не велел освободить немедленно?.. Старший офицер, замполит, власти у него куда больше, чем у Чумака. Или это видимость сочувствия? Щеглов говорил: Чумак зять генерала, важного окружного чина. Не боится ли замполит поднять голос против генеральского зятя? Донцов знает — виноват Чумак, но спорить с ним из-за солдата!..

Откуда-то справа послышались приглушенные, должно быть, преодолевшие несколько стенок ритмичные удары. Заремба подумал, что стучит Щеглов, и пожалел, что не обучился раньше этой азбуке, что нет сейчас рядом Щеглова. Правду ли сказал о нем подполковник Донцов, или он хочет лишить меня единственного товарища в полку?

Заремба восстановил в памяти каждое слово Донцова, каждый жест его. Нет, это не притворство. Зачем ему наговаривать на Щеглова?.. Воспользоваться разрешением и пойти в его палатку послезавтра или позднее? Тогда придется рассказать о своей нескладной, сиротской жизни. А к чему, если все равно придется уходить из роты.

Не переставал стучать Щеглов. Заремба приблизился к стене, хотел разобрать, что выстукивает Валентин, и не сумел.

Сборочный — краса и гордость завода. Белые четырехгранные колонны устремились ввысь под

стеклянную крышу. Света, воздуха, простора столько, будто вовсе нет ни крыши, ни стен, и мостовые краны парят в вышине пролетов огромными вольными птицами.

В распахнутые ворота въезжали нагруженные платформы. Стрелы кранов подымали и легко разносили по пролетам многотонный груз. Лучи солнца, преломляясь в стекле крыши, веселыми зайчатами играли на серебристой поверхности металла. Звон сигнальных колоколов вплетался в сильный ровный гул двигателей, в шум станков.

В дальнем углу цеха, на экспериментальном участке, огороженном стенками из гофрированной жести, стоял опытный образец нового танка. Крышка одного из люков приподнялась, и над башней появилась девушка в зеленой косынке.

— Проверила, Елена Васильевна. Все по схеме, правильно. Может быть, теперь получится. Повторим?

Конструктор Елена Васильевна Донцова разматывала катушку медного провода, замедляя движения и вовсе позабыв, что делают руки. «Правильно по схеме, а нужное реле не сработало. Почему?..» Лоб под густым холмом каштановых волос нахмурился. Елена Васильевна виновато улыбнулась девушке:

— Повторим, Шура. Будем искать... Найдем...

Рядом с конструктором работал сухощавый, жилистый, точно скрученный из тугих канатов, мастер сборки Павел Иванович Крайнов. Подняв голову с нахлобученной на ершистые брови кепкой, он прислушался к разговору электрика Шуры Богатыревой с конструктором, уловил в ответе не понравившуюся ему нотку неуверенности и повторил те же слова более определенным, не допускающим колебаний тоном:

— Будем искать. Найдем. А как же!

Две недели прошло, как четверо рабочих вместе с мастером Крайновым и Еленой Васильевной Донцовой устанавливали и испытывали противопожарное устройство по измененной схеме. Они обтачивали, подгоняли детали, разъединяли и снова паяли концы проводов, перемещали баллоны, подыскивая для них более удачные места и положения. Когда же плотно захлопывали люки и начинали поднимать температуру

в одном из отделений танка, сборщикам казалось, что на этот раз автоматика непременно включится только в тот момент и в том месте, которые определил конструктор. Но и в двадцать первый и в пятьдесят первый раз не выходило.

Все чаще заглядывали за гофрированную перегородку главный конструктор и директор завода. Сперва сдержанно, потом откровенней, не считаясь с присутствием рабочих, они выражали недовольство задержкой, предлагали Елене Васильевне оставить поиски до дней конструирования новой модели. При таких разговорах в глазах Елены Васильевны появлялась тревога. Она терпеливо выслушивала обвинения, а потом неизменно высказывала одну и ту же мысль:

— Все-таки еще один срок дайте. Не для себя делаю — для армии.

Нередко после подобных посещений начальства у слесарей-сборщиков лопалось терпение. Они подолгу простаивали в курилке, спорили-гадали, почему конструктор не хочет отложить свое новшество до освоения следующей машины. Обычно Шуре Богатыревой приходилось возвращать слесарей на экспериментальный участок. Когда уговоры не помогали, она сгоряча топала ногой, что вовсе не огорчало, а веселило ребят, и лишь напоследок пускала в ход самый сильный аргумент.

— Парни называются! Ни стыда, ни жалости. Елена Васильевна вместо вас гайки закручивает...

А в этот день что-то словно надломилось в Елене Васильевне. После очередной неудачи она скинула рабочий халат, надетый поверх бежевого с длинным рукавом платья, пошла к выходу. Павел Иванович, Шура и слесари-сборщики участливо смотрели вслед. Ее полнеющая фигура и сейчас выглядела строгой, прямой, голова была, как всегда, гордо откинута назад. Но по порывистому шагу и судорожному движению чуть сжатых пальцев рабочие угадывали, как напряжены нервы конструктора: кажется, неловко дотронешься до них, и лопнут, словно натянутые сверх меры стальные нити.

— Беги, Шура, проводи Елену Васильевну! — посоветовал Павел Иванович.

Короткой дорогой — через станочный пролет — побежала девушка к воротам сборочного. Парни-станочники провожали взглядами тонкую гибкую Шуру. Высокий бравый парень прищелкнул языком, отошел от своего фрезерного, распростер руки, чтобы перехватить девушку. А она и не думала свернуть с пути: с ходу стукнула кулачками в грудь парня, отбросила руку незадачливого ухажера и еще резвее побежала догонять конструктора.

— Обжегся, Сеня...

Елена Васильевна удалялась в сторону многоэтажного здания заводоуправления. На приветствия знакомых, шедших на смену, отвечала машинально. Удивительным казалось, что люди еще улыбаются ей.

— Елена Васильевна! Извините... Я... Завтра мне приходится немножечко пораньше?

Запыхавшаяся Шура пошла рядом, влюбленно заглядывая в большие, обычно ясные и решительные, а теперь подернутые дымкой грусти глаза Елены Васильевны. Девушка ожидала, что та, как и в прошлые дни, велит прийти рано утром, когда насмешников-парней еще не будет, посмотрит тетради, поможет разобраться в задачах по физике. И Шура опечалилась, услышав:

— Я не приду. Предупреди, пожалуйста, Павла Ивановича.

— А послезавтра?

— Тоже не смогу.

Обескураженная ответом, Шура повернула обратно к сборочному, с досадой думая, что не умеет утешить, не может помочь Елене Васильевне. А та вошла в заводоуправление и, оказавшись одна в своем кабинете, долго сидела неподвижно. Смятение давило грудь, вспышками острой боли отзывалось в голове. «Расчеты? Нет, они не раз проверены на моделях?».

Елена Васильевна вынула из сейфа трубки ватмана. Развернув, прикрепила к чертежным доскам, сравнивала первые чертежи с последними, и, не обнаружив ошибок, подошла к окну, распахнула широкие створки.

Вдали, за корпусами завода, синел на горе, упираясь густыми зубцами крон в рваные розоватые об-

лака, лес. От многочисленных труб тянулись к нему лиловые, исчезающие в вышине дымки. Внизу, к подножию горы, текли, разделяя и огибая цеха, серые потоки асфальта. Родной завод! Взгляд Елены Васильевны скользнул по ржавой крыше литейки, куда она босоногой девчонкой носила обеды отцу. Мысли помчались друг за дружкой, таяли, словно невесомые прозрачные дымки. Она вспомнила, как отец привел ее в сборочный, и Павел Иванович Крайнов сказал ему: «Оставляй»; как училась вечерами в техникуме и однажды в приказе начальника цеха увидела строку: «Перевести сварщицу Елену Захарову на должность технолога»; как легко и весело было работать в предвоенные годы и какая тяжесть опустилась на ее хрупкие плечи в первые же дни войны. И тут память извлекла из прошлого то, что было ближе к сердцу, что было связано с Николаем Донцовым.

6

Через несколько месяцев после начала войны, осенью 1941 года, Николай Донцов с группой механиков-водителей приехал с фронта за танками. Павел Иванович Крайнов, которого он попросил ускорить сборку, сослался на технолога. «Видите, тоненькая такая, в черном комбинезоне. Это и есть технолог Лена Захарова. Она заставила вторично перебирать систему питания, она и может ускорить сборку. Идемте, познакомлю».

Не подавая руки, Донцов сухо представился, сказал раздраженно:

— Если фронтовики будут так же медлительны в боях, как вы на сборке, немцы дойдут и до вашего завода.

Она всколыхнулась, жилки на шее вздулись.

— Вы все сказали?

— Нет, не все. Но вам, я вижу, надо не словами доказывать, вам посмотреть бы, как танкисты обвязывают себя гранатами, гибнут под немецкими гусеницами, и все из-за того — танков не даете!

Лена с трудом пересилила желание ответить Дон-

цову колкостью. Она увидела на задубленном изможденном озлобившемся лице то, что давало ему право так говорить.

— Мы не игрушки лепим для забавы. Вы сами потом спасибо скажете за наши танки.— Она повернулась к бронекорпусам, показала на рабочих.— Смотрите, люди шатаются, по трое суток не спят. Помогите лучше, чем попрекать.

И эти слова, сказанные в запальчивости, возымели неожиданное действие. На другой день механики-водители уже трудились рядом со сборщиками.

Николай чувствовал себя неловко перед Леной. Днем и ночью он видел на сборке внешне гордую, а на деле скромную девушку. Она не чуралась никакой черной работы. Если изредка случался свободный час, уходила к сварщикам, отнимала щиток у девушки, у которой иссякли силы, отправляла ту поспать и сваривала металл до тех пор, пока не прибегали за ней сборщики. Николаю казалось противостественным, что старые мастера, и даже первый из них Павел Иванович Крайнов, прислушивались к советам этой худенькой девушки. Но незаметно для себя и он, в прошлом опытный слесарь-сборщик, знающий танки не только по цеху, а по боям, стал считаться с ее мнением.

Две недели спустя после их встречи первая партия «тридцатьчетверок» вытянулась вдоль платформ погрузочной площадки. Тысячи рабочих провожали на фронт боевые машины. Взглядами разговаривали между собой Николай и Лена. Ее глаза спрашивали: «Случайна наша встреча?.. Почему так щемит сердце?..» Она непроизвольно гладила рукой броню — прощалась с танком, на котором предстояло воевать Николаю.

Остался час до отъезда. Лена отошла с Николаем от погрузочной площадки. Дорога повела их к подножию горы, извилистые тропинки вывели на вершину. Молча стояли они рядом, взволнованные тем, что оказались в первый, а, может быть, и в последний раз наедине. Он, испытывший горечь отступлений, видевший смерть совсем рядом, не надеялся выжить в новых боях и считал нечестным связывать судьбу девушки со своей неясной, ненадежной судьбой. Ей же

девичья стыдливость мешала сказать, что она будет не раз приходить сюда и думать о нем.

Прошло три месяца, и ей на сборке вручили письмо с фронта. Писал друг Николая. Она читала, и по ее изменившемуся побелевшему лицу Павел Иванович понял — горестные вести. С отцовской теплотой коснулся он ее руки, не решаясь задать вопроса. Елена сказала:

— Наш Донцов... горел... в танке.

Павел Иванович хотел увести ее из цеха. Она не послушала, осталась до конца смены. После работы, сама не помня как, очутилась на горе, на том месте, где прощались с Николаем. В тот вечер одни грустные сосны слышали ее тихий горький плач.

Лена не знала, в каком госпитале находится Николай. После долгой переписки ей сообщили адрес, дирекция дала недельный отпуск, и она поехала к нему. Все в ней замерло, когда она входила в палату. Глаза не могли оторваться от человека, голова и грудь которого были сплошь перебинтованы. Только по голосу она узнала: Николай.

Должно быть, там, в госпитале, она задумалась, как сделать, чтобы люди не горели в танках.

Молодой технолог со средним образованием, она не представляла себе, что значит создать принципиально новое устройство да еще в танке, где иной раз незначительное изменение одного агрегата вызывает необходимость конструктивных поправок другого. Инженер-сборщик, которому Лена доверила свой замысел, сказал, что идея интересная, но даже опытный конструктор встретится с большими техническими затруднениями. «Для такого устройства только создаются предпосылки, — сказал ей инженер. — Они рассчитают поле для вашей противопожарной системы. А пока учитесь: без серьезных специальных знаний, без высшего образования многого сделать невозможно».

Учиться во время войны — разве могла она, когда фронт требовал все больше танков, и у нее не хватало даже времени для сна!

Полгода Николай пролежал в госпитале. Получив двухмесячный отпуск для полного выздоровления, приехал к Лене. А когда кончился отпуск, ей еще

тяжелее было расставаться с Николаем, она провожала на фронт мужа.

В институт, на вечернее отделение, Елена Васильевна поступила после войны. Днем работать, вечером учиться, воспитывать Танюшу было очень трудно. Но пришло облегчение: Николая перевели служить в тот же город. Она мечтала после окончания института вместе с мужем приступить, наконец, к созданию давно задуманной противопожарной системы в танках. Но как это бывает у офицеров, Николая Кузьмича вскоре послали далеко на запад, в другой военный округ. Поблизости к расположению его полка не было ни машиностроительных заводов, ни конструкторских отделов, и последние два года Николай Кузьмич бывал вместе с женой и дочерью не чаще, чем один раз в шесть месяцев.

В последний раз Николай Кузьмич прилетел к семье в отпуск зимой. Елена Васильевна задержалась на испытаниях нового танка, и он встретил ее на другой день.

Она загорела на морозном ветру полигона, помолодела от нахлынувшей на нее двойной радости: успеха испытаний и приезда мужа. После рабочего дня не задерживалась, как прежде, в конструкторском отделе, длинными зимними вечерами делилась с Николаем тем, что произошло за время их разлуки. Больше всего рассказывала она, как работала с конструкторами своей группы над полуавтоматическим противопожарным устройством, как замечательно прошли испытания на полигоне.

— Был там один член комиссии, скептик. Все самому надо проверить. Сел он на место механика-водителя, захлопнулись люки. Когда за его спиной, под башней, вспыхнуло пламя, он увидел перед собой загоревшуюся красную лампочку и нажал под ней кнопку. Мгновенно включилась система, пламя было потушено. Все произошло так внезапно и быстро, что скептик, выйдя, спросил меня: «А может, пожара-то и не было?!»

Николай Кузьмич обнял жену, сдержанно одобрил конструкцию. Елена Васильевна не замечала этой сдержанности: его скупые слова были для нее дороже похвал всех авторитетных комиссий.

Поздними ночами, когда Таня засыпала и тишина охватывала дом и улицу, они фантазировали, строили планы на будущее.

— Иногда мерещится,— говорила Елена Васильевна,— что ты все еще на фронте, и я боюсь увидеть тебя раненым, обгорелым, как тогда... Тебя не переведут сюда, я приеду к тебе. Пора нам быть вместе.

— А завод? Ты же его не покинешь.

Оба хорошо знали, что никуда ей не уйти с завода, и Лена снова закрутила.

— Не печалься, Леноч. Меня или переведут или демобилизуют, ведь я же старичок,— он наклонил голову со снежными висками.— Пойду в сборочный цех, будем совершенствовать твою противопожарную систему.

— Не ты ли твердил: система хорошая.

— И сейчас говорю. Только в одном ее надо улучшить, обязательно улучшить. Когда снаряд попадает в танк, механик-водитель, как и любой член экипажа, может быть контужен. Кто тогда увидит сигнал на щитке? Кто включит автоматику мгновенно, без всякой задержки?

И Николай Кузьмич на этот раз подробнее, чем всегда, рассказал жене, как снаряд пробил броню, как все члены его экипажа были оглушены и, хотя через несколько секунд он и механик-водитель пришли в себя и начали спасать товарищей, было уже поздно: огонь охватил людей.

— Значит, будь на твоей машине полуавтоматика, вы все равно пострадали бы!— в отчаянии сказала Елена Васильевна.

Сколько сил она отдала, чтобы сделать устройство способным тушить пожар в танке при его возникновении. А тут оказывается — она остановилась на полпути.

Много раздумывала Елена Васильевна над тем, что говорил ей муж, советовалась с Павлом Ивановичем Крайновым, с конструкторами и накануне отъезда Николая Кузьмича показала ему набросок другого устройства.

— Я сделаю его полностью автоматическим.

Николай Кузьмич поправил ее:
— Ты все-таки скажи — «мы сделаем». Нельзя одной.

* * *

Растаяли облака. На зубчатую верхушку леса лег пламенеющий отблеск солнца, спускающегося за невидимой стороной горы. Елена Васильевна все не отходила от окна, думала о прошедшем, хотела отогнать от себя охватившие ее сомнения — и не могла.

Полгода минуло, как Николай Кузьмич уехал после отпуска, а с автоматическим устройством все не ладилося. Требовалось, чтобы автоматика сработала моментально и произвольно, вне зависимости от того, увидел ли механик-водитель сигнал об опасности на щитке перед собой или не увидел. Надо было добиться, чтобы не было ложных включений. Требовалось найти то мгновение, ни раньше, ни позднее которого должна включаться автоматика. А это мгновение растворялось, ускользало от Елены Васильевны. «Что скажу людям: не выходит! Почему же полуавтоматика получилась? Не потому ли, что тогда я до конца работала вместе с другими конструкторами, а тут, в решающий момент, понадеялась только на себя...»

Беспомощной почувствовала себя Елена Васильевна от этих разноречивых мыслей — беспомощной и слабой, как в детстве, когда впервые пришла в литейный цех к отцу и там в крошечном аду не могла найти его. После того как отец увидел ее, вывел из цеха, она все еще перепрыгивала на мостовой через малейшие углубления и бугорки, будто и под брусчаткой могли оказаться залитые горячим чугуном земляные формы.

В стекло двери постучали — сперва легко, потом частой звонкой дробью. На пороге сгрудились возбужденные, с сияющими лицами конструкторы, смешные в своем желании скорее протиснуться в кабинет.

— Победа, Елена Васильевна! — воскликнул еще за порогом самый молодой из троих.

— Сию минуту с танкодрома! — объяснил другой, блестя точками лукавых глаз.

— Зашли вас поздравить! — пожимая ей руку, сказал чернявый, оказавшийся первым возле Елены Васильевны.

От волнения она не могла сразу ответить. День был для нее таким гнетущим, мрачным, что она решила после смены не ехать на танкодром, уверила себя, что в такой день ничего хорошего не может произойти и что своим присутствием она только внесет нервозность в подготовку к испытаниям. Тем радостнее для Елены Васильевны оказалась новость. Ее разлетистые, с энергичным сгибом брови поднялись, глаза сделались по-детски восторженными:

— Спасибо, спасибо!..— отвечала она товарищам и сама поздравляла их с большой победой.

...При первых испытаниях опытного образца нового танка конструкторов упрекнули за неполную очистку воздуха в боевом отделении в момент стрельбы и на маршах. В течение нескольких месяцев группа Елены Васильевны искала и, наконец, нашла надежное решение проблемы очистки. Не удивительно поэтому, что каждому из подчиненных не терпелось поздравить старшего конструктора со счастливым окончанием длительных поисков.

Елена Васильевна не стала бы в такой момент говорить товарищам о неприятностях на экспериментальном участке, но они заметили на досках старые чертежи.

— Зачем эти чертежи, Елена Васильевна?

— Неудача с включением. В который раз!

Долго и внимательно рассматривали конструкторы ее последние наброски чертежей и схем, пока один не предложил:

— На танке яснее будет. Завтра пойдем с вами на сборку.

Не успели замолкнуть на лестнице голоса товарищей, как в коридоре послышались грузные шаги и в кабинет вошел главный конструктор — огромный внушительный мужчина.

— Поздравляю вас, голубушка Елена Васильевна. Испытания на полигоне показали превосходные качества систем очистки! — забасил он, опускаясь в широкое дубовое кресло. — Я вижу, праздник ваш омрачен неудачей на сборке, знаю, разговаривал с Крайновым. К чему отчаиваться? Со временем и эта ваша автоматика будет отлично действовать. Не все сразу, Елена Васильевна, не все сразу.

— Не люблю, Борис Семенович, когда меня успокаивают. Лучше прямо скажите — не справилась.

— А я не успокаиваю, я к уму вашему взываю. Система очистки действует безукоризненно — ведь этого и требовали от вас. Что же касается противопожарного устройства, то все были удовлетворены полуавтоматикой. Зачем терзаете себя? К чему спешите с абсолютной автоматикой? Не удалось на этой машине — удастся на следующей. Вы сами не знаете, сколько неудач впереди, а срок отправки первой партии новых машин, что называется на носу. Нет, директор больше на отсрочку не согласится.

— Воевать в танке не директору — солдатам!

Елена Васильевна сняла с чертежной доски набросок нового варианта схемы, положила на стол.

— Прошу хотя бы месяц, ну, хорошо — три недели. Если не получится, тогда...

Она так настойчиво доказывала, что главный конструктор пообещал попросить у директора отсрочку.

7

Приказом по полку Мякинин вынес старшему лейтенанту Чумаку благодарность за отличные действия знаменного взвода на празднике годовщины полка и вручил именные часы за первое место в соревнованиях по стрельбе из личного оружия. Поощрения, полученные за короткое время пребывания молодого офицера в полку, были подкреплены еще одним знаком внимания, которого Чумак не ожидал: в воскресенье он был приглашен Мякининым на обед.

Часы показывали ровно пять, когда Чумак подошел к только что отстроенному домику Мякинина.

Дверь была открыта настежь. Постояв минуту на пороге, Чумак переступил его, оглядел просторную, с двумя большими окнами уютную комнату. Справа стояла широкая тахта с ковриком на стене, слева — письменный стол. Простенок между окнами занимала зеркально сверкающая лаком радиола. После однообразной, приевшейся серости палатки приятно было оказаться в таком домике.

— Проходите, проходите, Валерий Константинович! — услышал Чумак.

Мякинин вышел из смежной комнаты. Он был одет по-домашнему, в брюки навыпуск и кремовую легкую рубашку. Усадив старшего лейтенанта в кресло, хозяин сел напротив, на тахту, которая, пружиня, качнула его большое тело.

— Знаете, хочется иногда посвободней одеться, — сказал Мякинин, как бы извиняясь за домашний костюм. — Остальные гости несколько задерживаются, и мы тем временем побеседуем. — Он откинулся на подушки. — И я был таким же, как вы, командиром взвода. Понимаю, несладко приходится.

Чумак лишь слегка кивнул.

— Я верю в ваши способности, и мне не хочется, чтобы вы испытывали нечто подобное тому, что испытал я в ваши годы. Скажите откровенно, как вы себя чувствуете в полку?

Чумак привстал:

— Хорошо, товарищ гвардии полковник, благодарю за внимание.

— Сидите же! — улыбнулся Мякинин. — Мне бы хотелось, чтобы вы не стеснялись в моем доме.

Возможно, желая показать, что это не просто слова, Мякинин подошел к двери смежной комнаты, приоткрыл ее, позвал жену.

— Зина, Зинаида Степановна! Без хозяйки скучно. Иди, пожалуйста, к нам.

— Иду, иду, — послышался звонкий голос.

Вошла Зинаида Степановна Мякинина. Невысокая, полная, румянощекая, в шелковом платье салатного цвета, она мелкими шагами, в одно и то же время и быстро и как будто неторопливо, подошла к Чумaku. Он поднялся, почтительно пожал маленькую пухлую руку, отрекомендовался.

— Я о вас уже кое-что слышала. Не пугайтесь, хорошее! — добавила она, увидев легкое замешательство гостя. — Приятно познакомиться с передовым офицером полка.

Мякинин самодовольно улыбался. Подчиняясь игровому тону жены, произнес:

— Если у вас общительный характер, Валерий Константинович, моя жена с удовольствием отрекомендует вас своим веселым друзьям.

— Не верьте ему! — засмеялась Зинаида Степа-

новна. Слегка коснувшись пальцами локтя Чумака, она подвела его к тахте, жестом пригласила сесть рядом.— У меня здесь нет даже близких друзей. Вяну в лесу одна. Вы, я слышала, новичок в полку?

— Второй месяц.

Мякинин наклонился к радиоле, взял с полочки пластинки, рассмотрел с обеих сторон одну за другой и, не находя ту, которую ему хотелось проиграть, стал складывать пластинки в ровную стопку.

— Ты, Зинуля, попроси Валерия Константиновича познакомить тебя с его супругой.

— С удовольствием познакомлюсь, — отозвалась Зинаида Степановна.— Почему вы не вместе?

— Приходится жить на правах холостяка. С жильем очень трудно.

— Только будет окончен дом, побеспокоюсь о молодых офицерах. Конечно, прежде всего, о семейных, — сказал Мякинин, отходя от радиолы.

Зинаида Степановна вспомнила, что ей нужно еще кое-что приготовить к обеду, извинилась и скрылась в смежной комнате. Мякинин раскрыл портсигар.

— Закуривайте, Валерий Константинович.

Они встали у раскрытого окна. Облачко сизо-голубого дыма поплыло на простор.

Взгляд Мякинина упал на газету, лежавшую на подоконнике. С фотоснимка глядели танкисты-отличники. Посредине, под стволом танкового орудия, стоял Киреев.

— Как сработались с капитаном? Не обижает вас?

— Нет, товарищ гвардии полковник. Только...

Чумак выдержал приличествующую паузу, поднял глаза на Мякинина.

— Что только? Будем беседовать открыто и просто,— и, будто Киреев с фотографии мог помешать этому разговору, Мякинин взял с подоконника газету, свернул ее вчетверо, засунул за спинку радиолы.

— Сердится капитан из-за этого солдата, что нарушил строй возле трибуны. Киреев мне все выговаривает, что я груб, беспричинно наказываю. А тот солдат, Заремба его фамилия, не хочет быть заряжающим, приказание мои не выполняет. Разве могу я не наказывать его?

Чумак растягивал слова, нащупывая, как отнесет-

ся Мякинин к его рассказу. Он не стал распространяться о том, что о Зарембе с ним разговаривал не один Киреев, а все коммунисты роты, что вслед за собранием партгруппы его вызывал подполковник Донцов и беседовал часа два, доказывая, к чему может привести несправедливое отношение к солдату. Чумак понял, что Донцов не сказал Мякинину об их разговоре, и это придало ему смелость отыгаться на Кирееве.

— Просил я капитана перевести рядового Зарембу в другую часть. Не захотел.

— Не захотел?— Мякинин бросил за окно погашшую папиросу и тут же взял из портсигара другую.— Напрасно. В уставах не сказано, что можно нянчиться с нарушителями. Удивительно, как офицеры не понимают, что повсюду—и в боях и в мирной учебе—успех зависит прежде всего от их воли и требовательности. Надеюсь, вы разделяете мое мнение?

Не дожидаясь ответа, Мякинин подкрепил свои рассуждения фронтовыми эпизодами, слегка подчеркивая свою личную роль в достижении боевого успеха. Потом рассказал о подразделениях, которыми командовал в последние годы, о том, что они постоянно были впереди других.

— Мы с вами в полку люди новые,— продолжал Мякинин.— Вы — второй, я — седьмой месяц. Нам лучше видны недостатки. В моем батальоне за три года не было ни одного чрезвычайного происшествия. Мне поэтому странно, что весьма деятельный подполковник Целищев допустил в отдельном танковом полку, находящемся под непосредственным командованием округа, такую расхлябанность. Приходится исправлять. Ведь такой солдат, как Заремба, может доставить крупные неприятности.

— Я высказал такое же мнение капитану Кирееву. Он и слушать не хотел.

— Вот как! В таком случае, разрешаю вам докладывать о делах в роте непосредственно мне.

Мякинин поднес к губам незажженную папиросу, Чумак поспешил чиркнуть спичкой.

На него повеяло той приятной обстановкой, в которой он был после окончания танкового училища. И тогда его непосредственный начальник был к нему,

как сейчас Мякинин, сердечен и добр: Улетучилась горечь, охватившая Чумака после собрания партийной группы и разговора с подполковником Донцовым. «Мякинин замечательный человек. Он ценит меня... Может, попросить?..»

— Вы очень отзывчивы, товарищ гвардии полковник. Поэтому... можно к вам обратиться за советом?

— Я слушаю.

— Видите ли,—замаялся Чумак,—кандидатский стаж мой только что кончился. Не знаю, может быть, подождать. Неудобно, командир роты и замполит полка имеют ко мне претензии, да и трудно ориентироваться, кто бы смог в полку дать мне вторую рекомендацию. Одну мне дал коммунист из штаба округа.

Чумак надеялся, что Мякинин предложит свою рекомендацию, так как тот знал его немного раньше, чем другие коммунисты полка. Но словоохотливый до этой минуты, Мякинин почему-то молчал. Он покуривал, глядя через окно за палисадник, в сторону сбежавшихся у дороги белоногих березок, и, наконец, скупно сказал:

— Вопрос серьезный. Следует подумать.

В затянувшейся тишине необычно громким показался сигнал автомобиля.

— Приехали! — сказал Мякинин и вышел навстречу гостям.

На мелкой гальке возле крыльца зашуршали шины затормозившего автомобиля. Переплелись голоса Мякинина и гостей, восторгавшихся новым домиком.

Чумак подумал, что он поступил невероятно глупо, сказав, что замполит полка имеет к нему претензии. И вообще, зачем было в гостях затевать разговор о переводе в члены партии.

— Петр оставил вас одного? — зазвенел за спиной голос хозяйки.

Обернувшись, Чумак мгновенно забыл о неудачном конце беседы с полковником. На него тепло, ему казалось, даже нежно, смотрели голубые глаза Зинаиды Степановны.

«Какая она красивая», — подумал Чумак.

Незадолго до окончания очередных сборов заочников Академии бронетанковых и механизированных войск капитан Киреев выступил на научной конференции. Он высказал свои соображения, как лучше использовать мелкие танковые подразделения в современном бою, особенно ночном. Профессор, руководитель кафедры тактики, посоветовал Кирееву продолжать обобщение таких жизненных для армии проблем и к выпускным экзаменам подготовить научную работу. «Перечитайте наши источники, поройтесь в иностранной литературе, а главное, делайте свои выводы и проверяйте их на практике. Я уверен, ваш труд будет высоко оценен».

Киреев пообещал профессору к следующим сборам привезти в Москву черновой вариант будущей работы, а теперь бранил себя за это. Не хватало времени. К тому же он чувствовал, что иные теоретические положения не так уже ясны, как казалось в Академии. «Напишу профессору, — думал не раз Киреев, — что у меня ничего не получается...» Однако писать не стал, а попытался найти время для чтения книг, журналов, и изредка набрасывал тезисы.

В послеобеденный час — время солдатского отдыха — Киреев зашел в библиотеку. Там была одна полнощекая Римма. Изнывая от жары, она проклинала про себя должность библиотекаря и очень обрадовалась появлению Киреева.

— Вы, товарищ капитан, почитаете без меня? Я пойду искупаюсь, — попросила она.

— Дайте мне журналы и закройте библиотеку. Никто до вечера, наверно, не появится.

— В том-то мое несчастье, что сам полковник сказал: «Зайду, приготовьте роман». Ну, а вы же знаете...

— Знаю, ладно. Дайте книгу для Мякинина, я тут под навесом посижу. Купайтесь, Риммочка, и за меня.

— Ох, спасибо, какой вы славный! Только на полчаса. — И маленькая, быстрая, она мигом скрылась за поворотом дорожки.

Киреев мельком взглянул на поданную ему вместе с журналами книгу. Это был «Граф Монте-Кристо». «Вероятно, для жены», — подумал он и мыслями

перенесся за триста километров на юг, к окраине небольшого городка: «Если можно было бы прервать лечение Светы, приехала бы Надя с детьми».

Он разложил журналы, стал читать, попутно делая заметки в прежних записях. Но углубиться в работу не удалось.

Около клуба остановился «газик» Мякинина. Выйдя из машины, полковник увидел, что библиотекаря нет.

— Снова эта девчонка ушла! Предупреждал же ее. Из-под навеса показался Киреев.

— Римма ушла ненадолго, товарищ гвардии полковник. Просила вам передать вот это.

— Что ж, благодарю, — Мякинин взял книгу, осмотрел ее со всех сторон, раскрыл, перелистал, спросил: — Над чем работаете?

— Выполняю задание по тактике.

— Тема?

— Действия мелких танковых подразделений.

— Любопытно.

Прошли под навес. Мякинин остановился около столика с журналами и исписанными листами, поднял их, как бы взвешивая, и проговорил:

— О, написано уже немало!

— Это только выписки, товарищ гвардии полковник, черновые наброски. Закончу и с благодарностью выслушаю ваше мнение.

— Что ж... продолжайте, — Мякинин небрежно кинул листы на стол, поправил перчатку на руке и направился к «газику».

Разговор с Мякининым, корректный и, казалось, безобидный, оставил у Киреева какой-то мутный осадок. Он невольно вспомнил командира полка: «Полковник Целищев, узнав о совете профессора, дал мне книги из личной библиотеки. А этот совершенно равнодушен».

Перед взором Киреева стояли два полковника — оба требовательные, хорошо знающие свое дело. «Но почему к первому идешь с открытым сердцем, чувствуя, что он тебя поддержит, а к другому... Кое-кто считает, что Целищев после окончания Академии больше к нам не вернется и командиром полка станет Мякинин. Видимо, кандидатура достойная».

— Товарищ гвардии полковник!

Не повернув головы, Мякинин остановился.

— Товарищ гвардии полковник, разрешите по личному вопросу, — необычно сдавленным, стеснительным голосом попросил Киреев, приблизившись к машине. — Послезавтра день рождения моей дочери. Можно на сутки?

Мякинин сделал полуоборот к Кирееву.

— Если офицеры захотят праздновать дни рождения всех родственников, службы не будет, товарищ капитан!

— Я около двух месяцев не ездил к семье, с момента прибытия в лагерь.

— Около... По этому вопросу обращайтесь к начальнику штаба. Его я уполномочил распоряжаться выездами.

Мякинин взялся было за ручку дверцы, но отпустил ее.

— Я вас хотел вызвать, капитан. Вы что — вздували танкистов в курортников превращать!

— Не понимаю, о чем речь.

— О том, что вы защищаете солдата, который не хочет служить.

— Заремба, товарищ гвардии полковник, исправляет свою ошибку.

— Исправляет! Как же! Видно по тому, что он отказывается выполнять приказы командира взвода.

Теперь и след простыл от той застенчивости, робости, с которой Киреев обращался по личному вопросу.

— Устав дает право наказывать, а не третировать солдата. Гвардии старший лейтенант Чумак намеревался лишить Зарембу праздника. Это не воспитание, а издевательство.

— Солдат обязан ко всему быть готовым! — сердито отрезал Мякинин. — Молодой офицер Чумак видит дальше вас, капитан. И я приказываю изменить к нему отношение. Ясно?

Неприязненный тон лишил возможности тут же высказать свое мнение — это привело бы к спору с командиром. Но и оставить Мякинина уверенным, что он прав, Киреев не мог. Плотно были сведены его губы. Твердо в упор смотрели глаза. В них было и разочарование и решимость доказать свою правоту —

пусть не здесь, не сейчас, а доказать во что бы то ни стало. Молчание Киреева было красноречивее иных слов, и это взвинтило Мякинина.

— Вечером придете в штаб! — кинул он и хлопнул дверцей «газика».

9

На скате холма, позади щеголеватых, покрытых железом и черепицей домиков, стояла покосившаяся, крытая соломой халупа. Кругом тихо. Но вот раскрылась дверь, порог переступила молодая, стройная, с каштановыми волосами женщина.

Пройдя несколько шагов, она остановилась на расчищенной от буйной травы, посыпанной белым песком площадке. Посредине площадки, на овальной насыпи, красовалась клумба с лиловыми и темно-голубыми колокольчиками, ароматной резедой, многоцветной петуньей. Женщина застегнула поясок простого, пестрого, давно сшитого платья, тонкими быстрыми пальцами заплела косы, закрутила их венком вокруг головы, улыбаясь цветам и солнцу.

— Какой день! И приедет Леша!

Немудреная песенка зяблика в соседнем саду звучала для нее необыкновенно весело и заливисто. Она была уверена: и птица чувствует ее радость.

Мягко ступая на носках по пружинящим шумящим половицам, женщина вернулась в комнату. Дети спали. Мать прислушалась к их тихому дыханию, взяла продуктовую сумку и поспешила на базар.

Еще из парка не вышли автобусы, и до центрального рынка пришлось идти пешком километра четыре. Домой она возвращалась, когда солнцем уже были облиты спуск у излучины реки, гранитная скала, невесть как занесенная сюда в преддверие украинских степей, широкая зеркальная гладь перед плотиной. В воде отражались квадратный корпус небольшой электростанции, кирпичная стена сахарного завода и подбежавшие вплотную к реке, выглядывающие из-за палисадов домиков рабочих завода и электростанции. Миновав один из этих домиков, женщина услышала вдогонку напевный голос:

— Что ж вы мимо, Надежда Павловна?

Надежда Павловна поставила наполненную продуктами сумку на тропку, обернулась, увидела у плетня молодицу в вышитой белой сорочке и цветастой хустке, завязанной крылышками под подбородком.

— Здравствуйте, Марина. С удовольствием зашла бы к вам, да дети, наверно, встали, пора им завтракать.

Марина Сочнева как была с подоткнутым подолом широкой белой юбки, так и выбежала со двора, запылила по дороге босыми, с полными икрами загорелыми ногами.

— Ничего знать не хочу. Заходите ко мне. Завтра до Григория еду. Передать привет Алексею Матвеевичу?

Она забрала сумку, завела Надежду Павловну во двор, усадила ее на скамеечку под развесистой, с зелеными плодами грушей.

— Я жду Алексея домой, — ответила Надежда Павловна. — Сегодня день рождения Светы.

— Как можно! — затараторила молодица, сверкая темными, как переспелые вишни, глазами. — Что же не сказали раньше. Что-нибудь да придумала бы для Светоньки. Минутку!

Марина исчезла в доме и вскоре появилась с девочкой пяти и мальчиком трех лет. У обоих — пухлые ядреные щеки с веселыми ямками, носишки задиристые, как у матери. Оба прижимались к ее загорелым ногам, кося глазками то на нее, то на гостью.

— Подарунок Светоньке! — тоненько пропищала девочка, тряхнув косичками и смело ставя на колени Надежды Павловны маленькую плетеную корзинку, до краев наполненную вишней.

Упитанный карапуз, в штанишках с перекрещенными лямками, смешно надулся, протягивая матери букет крупных разноцветных георгин и отступая от Надежды Павловны. Та подалась к мальчику, взяла из рук букет, уткнулась в соцветия — гладкими нежными пальцами они закрыли все ее лицо.

— От всего сердца дякую! — поблагодарила Надежда Павловна, забавно выговаривая украинское слово и целуя детей. — Приходите к Светлане на день рождения.

Провожая Надежду Павловну до перекрестка, Марина успела рассказать, что директор сахарного завода премировал ее как лучшего бригадира отрезом шелка, но она не знает, какой фасон платья выбрать; что только вчера ей дали отпуск и она не успела даже сложиться, подумать, какие вещи взять с собой в лагерь.

— Не сердитесь, Надежда Павловна, если не приду. Поздравьте Светоньку от меня и детей. Пусть здоровенькой будет!

Нагруженная сумкой, корзинкой и букетом георгинов, Надежда Павловна подходила к хатке на окраине. Не успела раскрыть калитку, как слышала переливчатый беспечный детский смех. Внезапно что-то зазвенело и смех мгновенно оборвался. Испугавшись за детей, Надежда Павловна вбежала во двор.

— Опять нашкодили!

— Это я разбил... банку одну. — Белокурая головка мальчика поднялась из высокой травы у завалинки. Передвигаясь на четвереньках, он собирал осколки.

— Встань, пока не порезал руки и колени, помощник!

Подобрав под себя ножки, девочка съежилась в углу на завалинке. Острые карие глазенки настороженно смотрели на мать.

— Не ругай Сашу, мамочка. Вон сколько он вчера тебе сработал, — просила девочка, тыкая пальцем в покрашенные ставни и новую ступеньку крыльца. — Это я его попросила поиграть со мной.

— Ладно, защитница. — Надежда Павловна подошла к дочке, подняла ее на ноги, поцеловала крутой лоб и пухлую бледную щечку. — Поздравляю тебя, Светонька, с днем рождения. Это тебе цветы от Сочневых, а мой подарок получишь позднее.

— Я знаю, голубое платье с оборками! — весело воскликнула девочка.

Надежда Павловна приготовила праздничный обед, нарядила Светлану в новое голубое платье, а себе погладила белое, шелковое: «Леша любит это платье».

То и дело девочка заводила разговор об отце.

— Папочка обязательно приедет?

— Обещал, Светонька.

— Обещал, а его все нет. Может быть, на самолете прилетит?

— Нет, он поедет на пароходе, а потом на поезде.

— А какой подарок он мне привезет?

— Самый лучший.

— Сашок не спутает поезда?

— Не волнуйся. Он встретит папу, — отвечала Надежда Павловна, а сама который раз подходила к накрытому столу, машинально передвигала тарелки, все чаще поглядывала на часы.

Светлане не терпелось. Она хотела скорее показать папе свое новое платье, узнать, что же он ей подарит, и зачастила в переулочек, смотрела вдаль, не покажется ли папа.

Уже перевалило за полдень, когда Светлана вбежала в комнату с телеграммой.

— Почтальон принес! От дедушки, наверно.

Мать надорвала бланк, прочитала телеграмму, побледнела.

— Папа поздравляет тебя с днем рождения, Светонька. Горячо целует. Он не может приехать.

— Почему не может? Отчего не может? — девочка заплакала. — Я так хотела видеть папу, а он опять не может...

— Ты же знаешь, моя умница, папа тебя очень любит. — Надежда Павловна прижала к себе дочку. — Только ему нельзя теперь уезжать из лагеря...

Детское сердчишко отходчиво, особенно, если рядом мать. Не прошло и получаса, как Светлана забылась, пошла к соседям в садик играть с подружкой. Надежда Павловна осталась одна со своими беспокойными думами.

Она вспомнила, как приехала в этот городок три года назад, как долго искала квартиру. Стоило обмолвиться, что в семье двое детей, как хозяева находили повод для отказа: то ожидают приезда родственников, то решили дом отремонтировать. Пришлось пока занять небольшую комнатку в надежде на то, что полк вскоре предоставит квартиру. Однако новые дома строились медленно, нуждающихся офицеров в

гарнизоне было много, и остался один выход — капитально отремонтировать за свои средства комнату и из временной превратить ее в постоянную.

Готовясь ко дню рождения дочери и к приезду мужа, Надежда Павловна неделями украшала тесный, неудобный для жизни уголок. Все в домике и на дворе дышало праздником. Семья ждала отца и мужа. И оттого, что он не приехал, сделанное потеряло смысл. Зачем она заново мазала глиной и белила стены, высаживала цветы, ночами вышивала салфетки и коврики? Зачем все это, если никто не удивится, не похвалит, не оценит... Надежда Павловна ощутила изнуряющую пустоту. В голове гулко забились тревога: почему не приехал?

Уже по второму разу приезжали домой офицеры, семьи которых не могли выехать в лагерь. Алексей писал, что будет проситься на побывку домой накануне дня рождения Светы. «Неужто не пустили? Не может этого быть. Значит, заболел... Надо самой ехать... Справится ли Саша со Светой?».

И словно в подтверждение того, что детей еще нельзя оставлять одних, дверь дрогнула, в комнату вошел Саша.

— Так ты встречал папу?!

Новая шелковая рубашка была в грязи, ворот растегнут, ни одной пуговицы на месте. На подбородке и щеке — свежие царапины.

— Честное слово, я все поезда встречал. Папа не приехал. А это, — светлые глаза смотрели на мать искренне и прямо, — это я за тебя и за себя заступился, мамочка.

— Не понимаю: за меня, за себя...

Саша быстрым шепотом проговорил:

— Я тебе не могу сказать... Не спрашивай. Потом... Когда-нибудь...

Она пересилила желание узнать, что случилось, не стала его расспрашивать.

Молчаливый и мрачный, Саша умылся, переоделся, вышел с лопатой поработать на огороде. Увидев брата в будничной серой рубашке, Светлана побежала от подружки к нему:

— Зачем снял шелковую? Разве мой день рождения кончился?..

Как ни старалась Надежда Павловна, она не могла вернуть детям праздничного настроения. Они ходили опечаленные и, чуть смерклось, легли спать.

В домике все стихло. Надежда Павловна прилегла на кушетку, задумалась о том, что завтра с утра ей нужно перебрать и пересушить зимние вещи, днем отвести Светлану в город, к врачу, который проверял ее три раза в месяц, да еще зайти в школу за учебниками для Саши. А еще?.. Сон одолевал, не давая вспомнить нечто важное.

Проспала она недолго. Ее словно толкнули, заставили вскочить: «Что это? Или мне показалось?» Она подошла к Свете. Девочка дышала ровно. Но Надежда Павловна снова услышала стон, который разбудил ее. Стон доносился из кухни. Она выбежала туда.

— Сашок, милый, ты плачешь? Заболел? Поднимись, сядь рядом. Тебя кто-нибудь обидел?

Мальчик приподнялся, обхватил руками ее шею.

— Мама! Мамочка! Папа... Это не мой папа?..

— Что ты говоришь, Сашок? Кто тебе сказал такое?

Он уткнул мокрое лицо в ее грудь:

— Я шел со станции... На улице было много ребят. А Ванька сказал о тебе такое, нехорошее... Я с ним подрался. Зачем, зачем он лжет?

Похолодевшими пальцами Надежда Павловна гладила мягкие волосы Саши и молчала, не решаясь рассказать ему о давно ушедшем дне, о котором вспоминать и то было страшно.

* * *

Произошло это в начале сентября 1943 года, юго-западнее Брянска, вблизи железнодорожной станции Локоть. В густых зарослях Монастырской рощи прятались жители окрестных селений. Среди них была восемнадцатилетняя Надя и ее старшая сестра. В июне 1941 года девушка приехала к ней погостить, да так и осталась на оккупированной территории, не решаясь покинуть заболевшую одинокую сестру. Теперь, когда советские войска были совсем близко, гитлеровцы обнаружили людей, отказавшихся ехать на запад, в Германию. В это время в лесу разнесся гул моторов

и лязг гусениц. Это были танки Уральского добровольческого танкового корпуса. Пришло спасение.

Многим не суждено было встретить освободителей. Среди убитых, лицом вверх лежала молодая, с раскрытыми остекленевшими глазами женщина. Около нее ползал двухлетний полуголый мальчик. Он заглядывал в лицо матери, тыкал пальчиком в посиневшую щеку и звал:

— Ма... стань...

Пожилой танкист поднял ребенка, хотел успокоить, но мальчик, видимо, испугался усатого лица, откинулся, соскользнул на землю и снова стал ползать около матери, голоса охрипшим голоском.

Спазмы подступили к горлу Нади. Она подошла, хотела взять ребенка, но в это время молодой офицер присел к мальчику и, будто взрослого, попросил: «Помоги мне поднять маму. Сумеешь? Мы маму на танк положим, домой отвезем». Перестав голосить, мальчуган большими голубыми глазами уставился на офицера, шмыгнул носом и неожиданно для всех, обхватив худую загорелую шею лейтенанта, доверчиво припал к его груди.

— Он к тебе, Киреев, вроде к родному пошел, — заметил усатый танкист и, повернувшись к Наде, спросил: — Вы не знаете, у мальчугана есть отец?

— Нет. Погиб... В партизанском отряде был, — рассказывала она. — А нынче всех родных Сашеньки расстреляли.

— Всех? — не то переспросил, не то повторил для себя лейтенант и крепче прижал малыша, который грязными пухлыми пальчиками трогал его медали.

Киреев приказал танкистам своего взвода помочь жителям убрать трупы, а сам поспешил отойти с мальчиком подальше. Надя пошла вслед — она понимала, что офицер долго не сможет оставаться с ребенком. Когда танкистам подошло время трогаться в путь, Сашенька ни к кому не захотел пойти от лейтенанта, только к ней. Обняв мальчика, Киреев обратился к Наде:

— Я хочу попросить вас. Если вы можете... Возьмите его к себе. На время. Я буду помогать.

— Возьму, — решила она.

Надежда Павловна вспомнила, как приехала с Сашей в свой родной приволжский город. Сколько ночей она не спала, когда мальчик заболел воспалением легких! Пустяковый синяк на теле, и тот приводил ее в трепет... В первый раз в жизни взялась она шить мальчику штанишки из своей поношенной шерстяной юбки. Отец не мог спокойно смотреть, как она мучилась над кройкой и принялся помогать — все равно одна штанина оказалась короче другой. Надя чуть не расплакалась, надев штанишки на Сашеньку, но мальчик так забавно захлопал в ладоши, что они с отцом рассмеялись.

Лейтенант Киреев ежемесячно присылал деньги на воспитание ребенка. Однажды он вложил в письмо свою фотокарточку с надписью: «Дорогому сыну Саше». Надя приколотла фотографию к коврику над кроватью и говорила мальчику, что это его папа и его надо крепко любить. Когда кто-нибудь спрашивал, что это за дядя, Саша гордо отвечал: «Мой папа, дядишь», — так он выговаривал слово «танкист». Надя писала Кирееву, как Саша лепечет, растет, и ничего — о себе. Киреев попросил фотокарточку Саши. Надя повела мальчика в фотографию. Он никак не хотел сидеть один перед аппаратом, и ей пришлось взять его на руки. Киреев сердечно благодарил за снимок. «Я теперь не один, со мною вы и сын».

В своих письмах он был очень сдержан. Лишь раз позволил себе написать: «Часто мечтаю, как буду жить после войны с Сашей, и мне хотелось бы, чтобы у него была мама, похожая на вас, Надюша». Ей были приятны эти строки. Вместе с тем письмо обеспокоило девушку. Она боялась: Киреев приедет, заберет Сашу. И она подбирала самые убедительные слова, чтобы при встрече уговорить лейтенанта навсегда оставить мальчика у нее.

Через год они встретились.

Проездом из госпиталя на фронт Алексей Киреев сделал остановку в городе на Волге, чтобы повидать Сашеньку и Надю.

С трепетом поднимался он по лестнице, робко дотронулся до кнопки звонка. Ему открыл низенький, с клиновидной бородкой старик — отец Надежды.

— Я узнал, узнал вас, — растерялся тот, думая, что Киреев пришел забрать Сашу. — Ни дочери, ни Сашеньки дома нету...

Алексей понял, что старику не по душе его посещение. Он постоял минуту, размышляя, где лучше подождать Надю, здесь, на лестнице, или на улице. «На улице», — сказал он себе и стал спускаться с лестницы.

— Подождите, зайдите в комнату! — спохватился старик. — Надя скоро вернется.

Постепенно разговорились. Алексей успокоил отца Нади, что он хочет только посмотреть мальчика перед возвращением на фронт. На вопросы о его родных Алексей рассказал, что мать, воспитавшую его без отца, он по выходе из госпиталя в живых не застал.

— Так, стало быть, вы совсем одиноки, — сказал старик.

В эту минуту вошли Надя и Саша. Алексей побледнел, поднялся, — тревога и радость были в его взгляде. Надя прикрыла рукой рот, чтобы не крикнуть. Мальчик насупил бровки, деловито прошелся вокруг лейтенанта, дважды заглянул в его исхудавшее, измененное болезнью лицо и вдруг бросился к нему с протянутыми ручонками:

— Па-па!

Смущенный, счастливый, Алексей подхватил мальчика. Потом они присели к чемодану, и Алексей стал доставать коробочки с игрушками, кульки конфет. Саша прыгал от радости. Надя глядела на возмужавшее, с ранними морщинами лицо офицера, не веря, что это тот самый юноша, с которым она встретилась в Монастырской роще.

Остаток дня и вечер мальчик ни на минуту не отпускал от себя Алексея. Они рисовали, а потом лепили из пластилина танки, самолеты, разыгрывали на полу бои. Когда подошло время ложиться спать, Сашок потребовал, чтобы его укладывал только папа. Алексей беспомощно развел руками: он не знал, как раздевать ребенка. Надя стала помогать.

— Хочу с тобой. Спи тут, — капризничал Саша, не отпуская от себя Киреева.

— Я с тобой, Сашенька.

— Па-па... — лепетал сквозь сон Саша.

...Алексей и Надя думали обо всем рассказать мальчику, когда он подрастет, окончит школу, сумеет все правильно понять. А тут он узнал сам, и в каком виде!.. И не с кем посоветоваться, нет Алексея, нет его поддержки.

Надежда Павловна обняла ладонями лицо Саши, чуть отстранила его голову от себя и, глядя в заплаканные, полные горя и ожидания глаза, стала рассказывать о Монастырской роще.

11

Во время очередного дежурства Чумаку передали пакет для Мякинина.

Час был поздний, Мякинин давно ушел из штаба, и Чумак направился в его домик.

Там ярко горел свет, окно было не занавешено, и Чумак, проходя мимо, невольно заглянул в комнату.

Мякинин сидел за письменным столом. Согнутая спина, опущенная голова с широким, густо заросшим затылком были неподвижны. Зинаида Степановна стояла за спиной мужа, в полуоборот к окну. Рот капризно полуоткрыт, во всей фигуре, в выражении лица — грусть и огорчение. Не нужно было быть психологом, чтобы по одним позам четы Мякининых понять, что между ними произошел по меньшей мере неприятный разговор, а возможно, была ссора. Эта немая семейная сцена в другом свете представила Чумаку то, что происходило с Зинаидой Степановной в последнее время.

После воскресного дня, проведенного у Мякининых, Чумак часто встречал Зинаиду Степановну в кино. Несколько раз полковник, заметив Чумака, подзывал его, предлагал место, расспрашивал, что пишет жена, как ее здоровье. Когда завязывался разговор о кинокартине, Чумак с любопытством следил за словесным поединком Зинаиды Степановны с мужем. Тот любил, чтобы герой становился ясным с первых же кадров, она, наоборот, осуждала сценариста и режиссера за примитив и схематичность. Иногда Чумак высказывал свое мнение и был доволен, если Зинаида Степановна соглашалась с ним. Она была покровительственно ласкова, и это ничуть не задевало его мужского самолю-

бия. Чумаку было приятно сидеть рядом, глядеть на Зинаиду Степановну, слушать ее суждения, видеть ее горячность и непримиримость в споре.

Бывало и так. Встретит Зинаида Степановна неожиданно Чумака и смущается, казалось, даже робеет, прячет глаза, словно они могут раскрыть ему какую-то тайну. «Я, кажется, нравлюсь ей», — говорил себе в таких случаях Чумак и старался встретить Зинаиду Степановну одну, без мужа. Теперь, увидев ее в освещенном окне, Чумак подумал, что если он предстанет перед ней в эту минуту, и она смутится, растеряется, значит, он ей не безразличен, и, возможно, ее грусть связана с мыслями о нем.

Он быстро взошел на крыльцо, постучал и, услышав голос Мякинина, решительно толкнул плотную дверь. Зинаида Степановна обернулась. Густой румянец опалил ее лицо, стер с него грусть. Но в тот же миг Чумак увидел обычную улыбку гостеприимной хозяйки и услышал спокойную, даже слишком спокойную фразу:

— Что же вы остановились? Войдите, пожалуйста.

— Присядьте, Валерий Константинович, пока я прочитаю, — предложил Мякинин.

Чумак присел на край стула и снова стал смотреть на Зинаиду Степановну. Если бы она засуетилась или, наоборот, продолжала стоять, по-прежнему удивленная, он еще мог бы надеяться, что ему не просто показалось, а что она действительно растеряна, обрадована его приходом. Но Зинаида Степановна, как ни в чем не бывало, взялась убирать посуду и, любезности ради, спросила:

— Может, хотите чаю с клубничным вареньем?

— Спасибо, только что из столовой. К тому же я на дежурстве, — он показал красную повязку на рукаве, — спешить надо.

— Тогда расскажите новости, пока Петр читает. Я два дня не выходила.

— К нам, говорят, едут артисты музкомедии.

— Это чудесно. Петр, да послушай ты минутку!

Мякинин кончил читать, наискосок, размашисто написал что-то, встал, передал бумагу Чумаку и только тогда спросил:

— Ты что хотела мне сказать?

- У нас будет концерт, не забудь взять билеты.
— Когда?
— Назначен на субботу, товарищ гвардии полковник.
— На субботу? Жаль, я буду занят.
— Мы с тобой давно не слушали хороших актеров. Может быть, ты сможешь пойти, — настойчиво просила Зинаида Степановна.
— Нельзя, никак нельзя.
— Как же мне? Одной пойти?
— Что ж, я тебя отведу, и с концерта встречу, — примирительно сказал Мякинин. — Согласна?
Зинаида Степановна не ответила. Она стала такой же замкнутой, какой была несколько минут назад.

* * *

Высохшая трава звонко шуршала под ногами. Ешорох раздражал, вызывал неприятные думы: «Выдастся же такой день. С утра не везет»... Душный воздух сушил горло. Чумак ускорил шаг, выбирая дорожки среди густых зарослей, но и тень не давала желанной прохлады. Палящий воздух звенел и в лесу и на дороге, куда он снова выбрался. Машинальным движением Чумак расстегнул ворот гимнастерки. Он с надеждой всматривался в горизонт — не надвигаются ли тучи. Небо было прозрачным, чистым, — его цвет напоминал глаза Зиңаиды Степановны.

В последние два дня Чумак настойчиво искал встречи с Зинаидой Степановной, но нигде не мог ее увидеть. Это его злило так же, как и неожиданная командировка, расстроившая его планы на субботу, и он бубнил про себя: «Трясись в таком зное на грузовике несколько десятков километров до станции, а там душный вагон».

Зампотех полка приказал капитану Кирееву послать командира взвода на зимние квартиры, чтобы отгрузить в лагерь запасные части. Учитывая, что по пути находится город, где живет жена Чумака, Киреев направил в командировку именно его.

Из полка шла машина до станции, и Чумак договорился, что его подождут на контрольном пункте. Но здесь лишь кузнечики стрекотали в кустах, да

дежурный сержант скучал на пороге глинобитного домика.

— Машина из части Мякинина не проходила? — спросил Чумак.

— Прошла. Стояла здесь минут двадцать.

— Вот неприятность, добирайся теперь на перекладных! — в сердцах проговорил Чумак.

В это время подъехал и затормозил у закрытого шлагбаума легковой, крытый тентом «газик».

— Валерий Константинович! — раздался женский голос из машины. Рядом с шофером сидела Зинаида Степановна. — Вы куда едете?

— Я... У меня командировка на зимние, — стучивался он.

— Садитесь! — почти повелительно сказала Зинаида Степановна.

Шофер открыл дверцу, Чумак сел на заднее сиденье, и «газик» сорвался с места.

— Вы надолго уезжаете, Валерий Константинович?

— На два-три дня.

— Значит, не встречу вас на концерте, — с сожалением проговорила она.

— Все вышло не так, как я хотел. Мне приказали немедленно выехать на зимние. А вы, Зинаида Степановна, куда?

— Вчера обнаружила, что у меня в лагере нет черного платья для концерта. Да еще получила письмо от своей портнихи: демисезонное пальто готово к примерке. Решила поехать на зимние. Да что вы так удивленно смотрите?

— Так и вы туда? — воскликнул Чумак, близко наклоняясь к Зинаиде Степановне. — И мне можно ехать с вами?

Она насмешливо скосила на него глаза, обращаясь при этом не к нему, а к шоферу:

— Может, Коля, посадим старшего лейтенанта? Поглядим, какой он спортсмен, сумеет ли пробежать вслед за нами триста километров...

Отвечая на ее шутки, Чумак глядел на округлые плечи, веселую светлую прядь, выбившуюся из-под шляпки на шею. «Газик» оставил позади супесчаную измельченную в пыль полевую дорогу с серыми столбами и мелким хвойным лесом по бокам. Колеса

отбрасывали назад километры асфальтового шоссе. Чаще замелькали желтые треугольники дорожных знаков. Мелколистную акацию на обочинах шоссе сменяли дуплистые вербы, горделивые осоки, тонкие саженцы. Убегали назад деревни с белыми хатами и плакучими ивами на ставках, приземистые, длинные, крытые черепицей здания машинно-тракторных станций и колхозных ферм. Одни только светло-зеленые, начинающие переливаться золотом хлеба никак не хотели удалиться, исчезнуть, да кукуруза на крепких ножках подбегала к шоссе, мчалась наперегонки с «газиком», распутив по ветру рыжие тонкие косички.

Незаметно для Зинаиды Степановны и Чумака проходили часы, и вот показались излучина реки, радуга мостов и на противоположном скалистом берегу — здания большого города. Проскочив широкий мост и оказавшись на шумных, полных машин и людей улицах, «газик» сбавил ход. И тут только Чумак оторвал глаза от Зинаиды Степановны, посмотрел сквозь боковое стекло, вспомнил о своей квартире, находящейся в трех кварталах от этого угла, о жене, которая давно ждет его. «Могу сойти здесь, могу сойти и через квартал, — торговался он со своей совестью. — А может быть, лучше заехать на обратном пути? До зимних квартир осталось меньше ста километров, доберусь до склада к вечеру, быстро выполню задание и тогда сумею не день, а два дня пробыть с Верой. Да, да, это будет, пожалуй, лучше...» Так говорил себе Чумак, хотя прекрасно знал, что это только отговорки, что на самом деле он просто не хочет, не может оставить Зинаиду Степановну.

— Я очень пить хочу, Валерий Константинович. Кафе напротив. Проводите меня.

Шофер остановил машину. Зинаида Степановна и Чумак пересекли улицу, вошли в кафе. Шустрая официантка принесла шоколадное мороженое, лимонад. Сколько раз Чумак подносил к губам ложечку с мороженым, столько раз менялось его решение. То он думал: «Останусь», то снова отступал: «Поеду дальше».

— Что вы приуныли? Чем-то недовольны, я вижу. Не спутницей ли?

— Собою недоволен, — силился улыбнуться Чумак, но улыбка получилась кислой.

— Я уважаю людей, способных критиковать себя. Для этого тоже надо обладать мужеством. — Зинаида Степановна поднялась, подождала, пока Чумак расплатился с официанткой.

По асфальтовой мостовой непрерывно шли автомобили; Чумак взял под руку Зинаиду Степановну, и они пошли через дорогу по направлению к «газику». Последние несколько метров она пробежала и, неловко ступив на край тротуара, подвернула ногу. Чтобы не дать ей упасть, Чумак обхватил талию, ощутил теплое упругое тело.

— Может быть, сядете позади, там просторней, — сказал он, раскрывая дверцу и не замечая, что продолжает держать ее за талию.

— Как же я сяду, когда вы не отпускаете? — она покраснела, в замешательстве глядя на Чумака.

Набирая скорость, «газик» вырвался из городской сутолоки, полетел по гладкой шоссейной дороге.

Вечером, освещаемая частыми ослепительными молниями, машина подъезжала к районному городку. Вскоре она остановилась у четырехэтажного дома. Утомленная дорогой Зинаида Степановна расслабленным голосом сказала Чумаку:

— Вас Коля отвезет, куда вам нужно. Значит, завтра не сможете ехать обратно?

— Едва ли сумею справиться, да и вы рано выедете, — Чумак помог Зинаиде Степановне выйти из машины. — Как нога, болит?

— Боли нет, в голове только стучит, устала. Если успеете завтра закончить свои дела, позвоните мне, вместе поедem.

Чумак взял чемоданчик Зинаиды Степановны, хотел проводить ее до квартиры.

— Не надо, я уже дома. Вы должны добраться до места, пока нет дождя, — и она заставила его сесть в машину.

* * *

Минуту назад сон смыкал веки Зинаиды Степановны, теперь его как не бывало. Она думала о чем-то расплывчатом, неопределенном, пока мысли не сосредоточились на том, что нужно встать, заняться делами

и поспешить обратно в лагерь. Глаза заскользили по спальне, остановились на трельяже. В трехстворчатом зеркале отражались овальные, с инкрустацией, дубовые спинки кроватей, ковер на стене, полочки с дорогими безделушками из слоновой кости и стекла. Но от всего этого на Зинаиду Степановну повеяло холодом — все было блестящим и лишним.

Дольше, чем на других предметах, взор задержался на портрете мужа. Он смотрел на нее с надменным видом. «Так смотрит он и в жизни», — подумала Зинаида Степановна и перевела взгляд на портрет рядом. Заразительно улыбалась девушка. Широко раскрытые шаловливые глаза притягивали к себе, как бы говорили: «Посмотрите, я хороша?»

Зинаида Степановна вспомнила время, когда она была такой, как на портрете, институт, который она так глупо бросила, недавнее письмо подруги по институту. Подруга писала, что ее снова повысили по работе, коллектив уважает ее, муж и дети любят. «И я могла кончить институт, могла бы работать, — думала Зинаида Степановна. — И зачем вышла замуж за Мякинина!..»

Она восстановила в памяти дни, когда с ним познакомилась. Ей — студентке второго курса института иностранных языков — льстило ухаживание представительного подполковника. Он был такой внимательный, возил ее на машине, увлекательно говорил о будущем. Косые взгляды подруг она тогда объясняла завистью. И ни с кем не хотела считаться. Мать и отец умоляли отказаться от предложения Мякинина, который был чуть ли не вдвое старше ее. «Что же я? Отметала все доводы, зачем-то доказывала, что детей у Мякинина не было, а жена умерла. Учеба? Обещала отцу и матери заочно кончить институт. А что вышло!...»

Десять лет прожила Зинаида Степановна с Мякининым. В первые годы замужества, увлеченная нарядами и прогулками, которые отнимали у нее много времени, Зина занималась лениво и скоро с молчаливого согласия мужа забросила учебу. Новые друзья любовались ею, говорили комплименты. Некоторые жены офицеров перед ней заискивали. Зине было приятно, когда их мужья вытягивались перед подполковником,

а потом — полковником Мякининым, и она еще больше гордилась собой и мужем. Почему же она не вспомнит из жизни с Мякининым ни дня, ни даже часа, который хотелось бы снова пережить?

Соскочив с кровати и подбирая шпильками рассыпавшиеся волосы, Зинаида Степановна подошла к раскрытому окну.

На низенькой скамейке детской площадки сидела молодая, в простеньком ситцевом сарафане, женщина. За ее спиной прятался курчавый шалунишка. Его румяное личико появлялось то с левой, то с правой стороны, внезапным выкриком он старался напугать мать. Она принимала игру всерьез, отшатывалась от его визга, и мальчик безудержно смеялся, хлопал ладошками по плечам матери. Женщина ловила ручки сына, трепала его кудри, и игра опять повторялась.

Зинаида Степановна не могла оторвать глаз от улыбающегося лица матери. Как бы и ей хотелось ловить ручки такого же малыша, своего малыша, прижимать к груди, осыпать поцелуями его головку.

Зазвенел на столике телефон. Зинаида Степановна отпрянула от окна, схватила трубку.

— Добрый день, Зинаида Степановна. Как здоровье? Нога болит? — донесся до нее голос Чумака.

— Я совершенно здорова. В лагерь выеду после обеда. Если вы к этому времени управитесь, приходите ко мне, пообедаем и вместе поедем.

Чумак поблагодарил, сказал: «До скорой встречи», — и повесил трубку. А она с разгоревшимся лицом стояла неподвижно, не выпуская трубки из руки. Ее охватило то чувство, которое она испытала вчера, когда она оступилась и Чумак помог дойти до машины. «Неужели?.. А Петра я никогда не любила. Но теперь поздно, поздно...» Она уже сожалела, что пригласила Чумака.

До обеда Зинаида Степановна управилась с делами, стала поспешно собирать вещи. Решила уехать до прихода Чумака, да не успела. Раздался настойчивый звонок. И от того, что сердце гулко забилося, она поняла, что не от него, а от самой себя хотела бежать.

— Пришел, Зинаида Степановна, вас проводить, я должен остаться еще на день, — сказал Чумак с сожалением.

Пряча глаза, она поздоровалась, подала к столу салат из свежих помидоров, стала разливать холодную окрошку.

— Плохая я хозяйка, не умею угощать, главное-то для гостя и не подала, — Зинаида Степановна направилась к буфету, достала рюмку и маленький графин с водкой.

— Я один никогда не пью, — проговорил Чумак, заметив, что для себя она рюмку не поставила.

— А сегодня придется. Я не пью водки.

— Одну минуту, — Чумак торопливо вышел в коридор, возвратился с бутылкой красного вина. — Вы не обидитесь?

— Обижусь и серьезно.

Он поспешил оправдаться тем, что вино у него оказалось случайно.

Говорил больше Чумак. Он видел, что Зинаида Степановна рассеяна, отвечает невпопад. Теряясь в догадках, старался развеселить хозяйку.

К концу обеда Зинаида Степановна несколько раз взглянула на часики.

— Вы торопитесь? Все равно на концерт сегодня не успеете: в лагерь приедете поздно ночью.

— О концерте я давно забыла, Валерий Константинович, — натянутая улыбка появилась на ее лице.

— Я вам советовал бы выехать завтра утром, мало ли что может случиться в дороге с машиной.

— Я этого не боюсь. Если случится какая беда, да еще недалеко от вашей квартиры, я от вашего имени попрошу жену приютить меня, — насмешливые огоньки заблестели в ее глазах.

Заметив, что ему не понравились ее слова, не без грусти сказала:

— Валерий Константинович, вы могли вчера не ехать сюда, а задержаться у жены, она ведь ждет.

Его брови дрогнули, сомкнулись на переносице.

— Возможно... Вы правы. Но я не мог отпустить вас, хотелось побыть с вами! — он поднялся, подошел к побледневшей Зинаиде Степановне, — весь подался к ней.

— Отойдите, что вы делаете! — с силой оттолкнув его, она встала. Глаза ее удивленно смотрели на распаленного Чумака.

В комнату донесся с улицы продолжительный сигнал автомобиля.

— Машина... Мне нужно ехать! — Зинаида Степановна суетливо стала укладывать в чемодан вещи.

«Ну, чего ты трусишь, как мальчишка!» — обругал себя Чумак и снова шагнул к ней.

— Зина, милая, не надо уезжать. Вы мне... Вы мне очень нравитесь.

Она отшатнулась:

— Не смейте! Никогда, слышите, никогда не приходите ко мне!

12

Штаб полка проверял в роте Киреева огневую подготовку. Утром стреляли офицеры. Как и полагалось в таких случаях, первым вел огонь командир роты. Его экипаж выиграл время при посадке в машину, слаженно работал на огневом рубеже, и Киреев сумел поразить все цели первыми снарядами и очередями из пулемета. Это было хорошее начало, и лишь один Чумак не разделял радости танкистов роты.

Накануне он обратился к Кирееву за рекомендацией в партию. Но Киреев отказал. Если бы Киреев сослался только на малый срок совместной службы, было бы не так обидно. Но он напомнил Чумаку все, что говорили о нем коммунисты на партийной группе после ареста Зарембы, да еще случайно разбередил самое чувствительное, неприятное для Чумака.

— Мне не понятно, почему вы не обратились за рекомендацией к полковнику Мякинину? Он, кажется, единственный, кто знает вас по службе в штабе округа.

Что было ответить Чумаку? Не мог же он сказать, что неудачно обратился к Мякинину, а сейчас и вовсе избегает его, боясь, что Зинаида Степановна рассказала мужу о происшедшем на зимних квартирах!

И то, что Киреев еще больше пошатнул его душевное равновесие, его уверенность в себе, озлобило Чумака. Он злился на Киреева за прямоту суждений, и даже за то, что тот отлично стрелял в это утро.

Ослабить гнетущее чувство неудовлетворенности собой мог успех в стрельбе, успех, превосходящий киреевский. «Я его обставляю... Пусть не кичится...» —

нервничал Чумак и, взвинчивая себя и подчиненных, терял возможности, которые были у него, как у отличного огневика.

Больше всего перепало Зарембе. То Чумак придирался за плохую маскировку, то посылал его смотреть из-за опушки леса, не приближается ли кто из начальства. Противоречивые приказания, беготня по мелочам не позволяли Зарембе полностью отдаваться обязанностям заряжающего, и, когда он пошел получать боеприпасы, у него и времени уже не хватило, чтобы не спеша наполнить патронами магазины и тщательно проверить их.

Наконец, танк покинул укрытие, выдвинулся на исходную линию. Экипаж спешил. С вышки, где стояло штабное начальство, раздался протяжный сигнал горниста.

— Слу-шай-те все! Слу-шай-те все!

Погрузив боеприпасы, экипаж выстроился на исходной линии и по второму сигналу устремился на посадку. Первым бежал Джавахадзе. Двумя прыжками он вскочил на башню и молниеносно исчез в люке. При всем желании Заремба не мог поспеть за ним: один шаг Джавахадзе равнялся двум его шагам. К тому же Заремба коленкой ударился о гусеницу, больно ушиб ногу. Он с трудом поднялся на башню и, тяжело дыша, спустился в боевое отделение. В этот раз затратил на посадку еще больше времени, чем на прошедших стрельбах.

— Пентюх! Растяпа! — гневно кричал Чумак.

Заремба до боли в челюстях стиснул зубы. «А я-то надеялся — кончилось...»

После того как подполковник Донцов посетил гауптвахту, Заремба надеялся, что его тут же выпустят. Ждал напрасно и все больше приходил к выводу, что Донцов не станет защищать его. Но, возвратившись с гауптвахты в роту, Заремба понял, что самоуправство Чумака не прошло для него бесследно: он явно притих, не выискивал работы сверх службы. И вдруг на полигоне снова прорвалась его грубость.

Возмущенный Заремба еле сдержался, чтобы не ответить Чумаку.

— Вперед! — передали по радио с вышки.

Услышав в шлемофоне команду, Чумак повторил

ее по внутреннему переговорному устройству, и машина, качнув длинным стволом орудия, пошла к огневому рубежу. Плавно раскачиваясь, танк двигался по болотистому участку, через бугры и ямы. Сочнев вел его без рывков. Когда машина достигла огневого рубежа, водитель стал еще пристальнее глядеть в смотровую щель и только заметил бугристый отрезок поля, как по переговорному устройству до Чумака долетело ожидаемое слово:

— Дорожка!

В ту же минуту Заремба, державший снаряд в руках, услышал команду Чумака:

— Осколочным, заряжай!

Стараясь быть хладнокровным, не суетиться, Заремба дослал осколочный в канал ствола.

— Готово!

Грубой наводкой Чумак успел поймать макет противотанкового орудия «противника». Мишень с трудом удерживалась в поле зрения. То перед взором возникала земля, то небо, и между ними появлялся и исчезал макет орудия, который надо было поразить в какую-то долю секунды. Уловив момент, Чумак выстрелил. Сквозь смотровые щели Джавахадзе и Сочнев увидели, что попадание оказалось прямым: макет противотанкового орудия разлетелся в щепки.

— Цель уничтожена! — воскликнул Джавахадзе, и Чумак скомандовал:

— Пулемет заряжай!

— Пулемет готов! — ответил Заремба.

Чумак прицелился, нажал на спуск, но выстрелы не последовали.

— Пулемет, говорю! Пулемет! — Чумак даже забыл об уставных командах, а Заремба стоял обалдевший, не понимая, почему офицер кричит, если пулемет давно заряжен.

Танк миновал намеченный для ведения огня рубеж, а из пулемета не вылетела ни одна пуля.

Еще не успел Сочнев остановить машину, как Чумак спрыгнул с места наводчика вниз, к Зарембе, оттиснул его в сторону, выхватил из пулемета магазин. Оказалось, зарядив его патронами, Заремба не обратил внимание на слабую пружину — она не подавала патронов.

— Извозчиком быть вам — не танкистом! — разъярился Чумака.

Все словно сговорились против Чумака. Надо же было, чтобы в тот же вечер за ним пришел посыльный от Мякинина, встреча с которым так пугала Чумака. «Пропал... Зинаида Степановна, наверное, пожаловалась... Этого Мякинин не простит...» Он шел по коридору штаба к Мякинину, как отягощенный преступлением человек идет впервые к прокурору. Когда он вошел в кабинет, то долго не мог закрыть за собой дверь, отойти от нее. Мякинин поднялся, обогнул стол.

— За стрельбы переживаете? Что и говорить, стреляли неважно, но...

Пауза затянулась. Она таила в себе опасность, как камень, сдвинутый с вершины горы.

— Вы как-то обращались ко мне, помните? — Мякинин приблизился, крепко взял Чумака под локоть, повел его к столу. — Помните, просили рекомендацию в партию. Что же — дать или не дать?

Улыбка на крупном лице Мякинина показалась Чумаку наигранной, двусмысленной, фальшивой.

13

Над лесом, над полигоном и танкодромом низко висели сплошные, во все небо, тучи. На несколько дней заладил густой холодный дождь, какой лишь изредка бывает на Украине в середине лета. Болотистые места стали труднопроходимыми для танков. Ночами солдаты в палатках жались друг к другу, накрывались поверх одеял шинелями.

Сложнее стал уход за танками. Катки, гусеницы, броня после выездов покрывались толстым слоем грязи. Заремба бурчал, сердясь на непогоду и на самого себя.

В один из таких дождливых дней Заремба возвратился из танкового парка в палатку мрачный и недовольный. Другие танкисты живо поснимали комбинезоны, собирались в ленинскую комнату на беседу, а Заремба высчитывал, сколько часов осталось до ужина и сколько до отбоя. Ему хотелось лечь, забыть-ся, уйти от всего, что угнетало.

За маленьким столиком, справа от входа в палатку, секретарь комсомольского бюро роты старший сержант Солянин копался в немудреном хозяйстве организации, состоящем из двух папок с протоколами и блокнотом записей массовых мероприятий. За спиной Солянина кряхтел Заремба, безуспешно пытаясь снять с себя насквозь промокшие кирзовые сапоги. Сложив папки в железный ящик под столиком, Солянин как сидел на табурете, так и повернулся всем массивным туловищем к Зарембе, тряхнул волнистой светлой шевелюрой.

— Держись за перекладину, помогу снять.

— Комсомольцам помогай, они тебе взносы платят, — не поворачивая головы, отказался Заремба.

Едва успел он ответить Солянину, как тот, громко смеясь, приподнял его до скоса полотна палатки, уложил на нары, снял сапоги так быстро и ловко, что лишь мокрые голенища да портянки чавкнули.

— Теперь ты мой должник, — сказал Солянин, ставя сапоги возле нар. — Придется в комсомол вступать и взносы платить...

Заремба рассмеялся вместе с другими танкистами. Ему понравились и грубоватая приятельская выходка, и шутка, и добродушная, во все круглое румяное лицо, улыбка могучего Солянина.

— Меняй портянки, пошли на беседу.

— Обязательно? — снова насутился Заремба.

— Тягачом не тащим; гвардии капитан Киреев будет рассказывать о боях — здорово интересно.

— А мне интересно отдохнуть от бесед, — и Заремба отвернулся от Солянина.

Оставшись один, Заремба прислушался к удаляющимся шагам танкистов, протянул руку за газетой на солянинском столике, но читать не смог. То ему казалось, что лучше всего оставаться в стороне от шума и людей, то хотелось бежать от наступившей тишины. Она еще сильнее угнетала, и Заремба, наскоро одевшись, вышел из палатки.

Он вошел в ленинскую комнату — легкую, высокую постройку, красующуюся позади палаточных шеренг, — когда танкисты уже заняли места за столиками и дневальные притащили две длинные скамьи. Заремба сел на край последней, в самом углу комнаты.

Он вертелся на необструганной скамье, поглядывал через слезливые стекла на косые прерывчатые нити дождя, на качающиеся верхушки сосен, и упустил момент начала беседы Киреева.

— Мне говорили — молодые солдаты сомневаются: можно ли в такие ненастные дни провести танки по топким местам? Кто давно служит, кто участвовал в боях, знает: можно!

Окающий голос Киреева звучал со сдержанной силой и задушевностью.

— Вспоминаю весну тысяча девятьсот сорок четвертого года. Уральский добровольческий танковый корпус, в котором я служил, получил приказ глубоким фланговым ударом зайти в тыл немецкой группировке, находящейся в районе Винница — Проскуров. Гитлеровцы были уверены, что после нашего успешного зимнего наступления, после окружения и разгрома Корсунь-Шевченковской группировки немцев, Первому Украинскому фронту потребуется по меньшей мере два-три месяца, чтобы подтянуть резервы и продолжать наступление. К тому же вражеское командование считало, что в условиях небывалой распутицы советские войска лишены возможности двигаться по бездорожью и наносить фланговые удары.

Враг ошибся! В начале марта наши танковые части оказались в ста пятидесяти километрах западнее Винницы и перерезали важнейшую железнодорожную магистраль — Проскуров — Тернополь.

Дежурный по роте пододвинул от стены к трибуне большую, четырехугольную, туго обтянутую белым холстом деревянную раму и зажег в тыльной стороне рамы электролампочки. Синие контуры на холсте обозначали район сосредоточения немецких войск у Винницы и Проскурова, а западнее их, с севера на юг, тянулась красная стрела. Острие упиралось в кружок с надписью: Подволочисск.

— Сюда наш танковый корпус направил главный удар, — указка Киреева коснулась острия стрелы. — Мы совершили многокилометровый марш-бросок прямо по полям, по проселочным дорогам. Двигались ночами и в такую распутицу, что не только автомашины, иной раз и танки застревали.

Из своего угла Заремба не видел электрифицированной карты и не мог простить себе, что занял такое неудачное место.

— Вот эта узловая станция, — продолжал Киреев, — была свидетелем ожесточенных боев. Наш мотострелковый батальон, шедший со взводом танков в передовом отряде, внезапной атакой ворвался на окраину Подволочиска. Гитлеровцы бросили по железной дороге из Тернополя пехоту и танки. На измотанных в бою людей обрушилась лавина автоматчиков и восемь «тигров». Но после дня непрерывных атак противник потерял четыре «тигра», сотни солдат. И у нас были немалые потери, два танка были сожжены. Лишь единственная «тридцатьчетверка» оставалась в строю, а в ней только механик-водитель. Один человек! Но это был советский танкист — уралец, доброволец, коммунист. Это был рядовой Григорий Игнатьевич Сочнев.

Взоры танкистов устремились влево, где крайним у окна сидел старшина Сочнев. Едва Киреев заговорил о нем, лицо его вспыхнуло. Зарембе показалось, что торчащий светлый ус Сочнева и тот вспламенился.

— Представьте себя, товарищи, на месте Сочнева. Всю ночь гитлеровцы бросались на его танк, на обескровленный батальон. Что же делал Сочнев? Пользуясь темнотой, обходил «тигры» с тыла, оставлял рычаги управления, заряжал пушку, посылал снаряды во вражескую броню. На рассвете подошла помощь. Сочнев был ранен, но не оставил танк. Вместе с товарищами он выбил немцев из Подволочиска.

Заремба смотрел на мужественный профиль Сочнева и думал: «Обо мне такое бы сказали, не стал бы голову вешать». Выходя из ленинской комнаты, он пожалел, что беседа так быстро закончилась, прислушался к разговору танкистов.

— И нам нужно так, — говорил Солянин, — и водить, как Сочнев, и за наводчика уметь стрелять.

Невдалеке, под навесом буфета, солдаты окружили Сочнева.

— Орден Красного Знамени у вас за тот бой, товарищ гвардии старшина?

— Сколько «тигров» подбили?

Сочнев теребил усы, отвечал совсем не то, что от него ожидали:

— У нас в экипаже и наводчик, и заряжающий умели водить машину. В том, что я стрелял в бою, ничего особенного нет... Как Абай,— обратился он вдруг к заряжающему ефрейтору Абаю Киримову,— скоро будете водить машину?

— Третий класс скоро получим, товарищ гвардии старшина. Рекорды ставить будем!

Заремба протиснулся ближе к Сочневу. Ему хотелось больше узнать о нем, а Сочнев все говорил о других.

— А вы, товарищ Заремба, не желали бы ставить рекорды по вождению, как Абай Киримов? — обратился к нему Сочнев.

— Куда мне с ним тягаться...

Не раз уж Сочнев предлагал Зарембе сесть за рычаги. Тот уклонялся, думал, Сочнев ставит ему ловушку, чтобы не мог уйти из роты, когда осенью станет возможным перевод в другую часть. И теперь Заремба отделался бы шуткой, да Киримов затронул за живое:

— Она, товарищ гвардии старшина, машина не любит. Она боится, — лукаво блеснул он узкими глазами.

— Я боюсь?! — возмутился Заремба.

— Не совсем так, Киримов, — вступился Сочнев. — Заремба отличный шофер. Захочет — мастером вождения станет.

— Она не хочет, она не станет, — продолжал подзадоривать Киримов, но Заремба больше не отвечал ему. Он вдруг почувствовал, что симпатии танкистов на стороне маленького пробойного Киримова, который с таким невероятным трудом овладел и русским языком, и танковой пушкой, а сейчас упорно постигает вождение. «Он, наверно, до армии меньше видел моторов, чем я руками перебрал, — промелькнула мысль, — а надо мной посмеивается. Заслужил, значит. Выходит, сдрейфил, боюсь потягаться с ним...»

Когда Сочнев вышел из-под навеса и направился к фанерному домику, где жил с семьей, Заремба нагнал его. Никто не слышал, о чем он говорил со старшиной.

В перерыве между занятиями танкисты узнали, что картина старшего сержанта Солянина «Красноармейцы преподносят подарок Владимиру Ильичу Ленину» вывешена в клубе. Заремба давно видел, как с эскизов, сделанных карандашом, Солянин переносит фигуры на холст. Жирные разноцветные пятна вызывали недоумение, не верилось, что из разбросанных мазков получится что-нибудь цельное. И сейчас Заремба скептически воспринял хвалебные отзывы. Но после занятий и его потянуло в клуб.

Там никого не было. Шагая мимо почерневшей от дождя кинобудки и скамеек, Заремба увидел в глубине сцены большую, почти в полстены, туго натянутую раму и освещенную электрическим светом картину. «Неужели Солянин? Неужели то самое, что я видел раньше?» Заремба застыл на месте, долго глядел на Ленина.

Солянин изобразил Владимира Ильича таким простым, близким, что верилось — подойдешь, и он непременно заговорит с тобой. И красноармейцы будто сейчас только вышли на сцену, к Ильичу. Они бережно подносят ему буденновку с большой красной звездой и солдатскую шинель. Они смущены, им неловко: слишком обыденным они считают свой подарок. А Ильич обрадован, он счастлив, словно бойцы преподносят ему самое дорогое, бесценное. Любящим ласковым отцовским взглядом смотрит он на красноармейцев. И сам воздух между ними и Лениным насыщен сердечной теплотой, будто красноармейцы всегда были возле Ильича, делили с ним его заботы и думы, а он всегда и везде был рядом с ними в жарких боях.

— Нравится? — услышал Заремба позади себя, обернулся, увидел Киреева.

— Очень, товарищ гвардии капитан.

— Мне тоже. Мысли вызывает хорошие.

Несколько минут они смотрели на творение рук солдата.

— Курить хотите, товарищ Заремба?

— Признаться, да, товарищ гвардии капитан.

— Пройдемте в курилку. И от дождя укроемся.

Возле клуба была оборудована курительная пло-

щадка со скамейками, поставленными четырехугольником. Киреев сел под грибком, вынул портсигар.

— Садитесь. Кажется, Василием Тимофеевичем звать?

То, что командир роты знает его по имени-отчеству, пригласил сесть и по-дружески протянул раскрытый портсигар, расположило к Кирееву. Василий бочком пристроился под грибком, прикурил.

— Скоро мы с вами расстанемся, товарищ Заремба, — непринужденно, словно продолжая давно начатый разговор, сказал Киреев. — А мне почему-то хочется знать о вас больше, чем известно из солдатской карточки и отзывов некоторых командиров.

— К чему это, товарищ гвардии капитан? — Василий смутился, провел рукой по гладко выбритому подбородку. — Моя биография ничем не блещет: к войне не поспел, ничем не отличился.

— А родные, близкие ваши были на фронте?

— Были. Брат воевал. Погиб.

— И у вас в то время уже не было родителей?

— Нет.

Василий не любил рассказывать о своем детстве — в нем было мало радости. А тут захотелось поделиться с командиром. Но он все еще сдерживал себя. Между тем офицер глядел на него с сочувствием, и Василий переборол былое недоверие.

— Отец умер, когда мне исполнился год, и мать я почти не помню. Брат меня воспитывал. У него я жил до зимы сорок четвертого... Он долго не писал, а потом пришло извещение о смерти, и я бежал.

— Почему?

— Там слишком скоро забыли брата...

Должно быть, Василию нелегко было вспоминать. Он долго молчал. Киреев не мешал его размышлениям.

— Скажите, можно ли выяснить, в какой части воевал, как погиб мой брат? — спросил, наконец, Василий.

Киреев задумался. Он словно обнаружил заросшую сорняком, когда-то чистую тропу, которую близкий человек проложил много лет назад к детскому, открытому и отзывчивому сердцу Василия.

— Попробуем узнать, товарищ Заремба. Вы никогда не запрашивали о брате?

— Нет, я не надеялся.

— Завтра направим письмо в Москву.

Николай Кузьмич Донцов шел из третьей роты в штаб. До начала полкового партийного собрания осталось минут сорок, и он, утомленный, но довольный проведенным с танкистами днем, шел медленно, напрямик через густой молодой лесок. В памяти возникло удрученное лицо Валентина Щеглова, когда товарищи по роте отчитывали его за плохое отношение к матери.

После пьянки Щеглова в день годовщины полка Николай Кузьмич написал его матери — работнице консервного комбината южного портового города. Ее ответ взбудоражил роту. Танкисты узнали, что отец оставил мать с тремя малыми детьми. Валентину было тогда восемь лет. Мать надеялась на него, как на старшего, думала, что он будет ей помощником и отрадой в старости, а он пошел по стопам отца — в двенадцать лет бросил школу, убежал из родного города. Через три года явился в лохмотьях, больной. Мать придела его, определила в ремесленное училище, но и оттуда он сбежал. Долгие годы не писал, и только перед призывом в армию мать случайно узнала, что Валентина судили за кражу, что он отбывал наказание. «Все мои надежды на командиров, — писала мать. — Умоляю вас, сделайте из него честного человека».

Николай Кузьмич прочитал это письмо танкистам третьей роты. По-солдатски сурово поговорили они со Щегловым, не щадили его, но и не оттолкнули от себя, поверили его обещанию исправиться.

«С ним тяжелее, чем с Зарембой, — думал Донцов. — Сорняки пустили глубокие корни. Как помочь Щеглову?»

Недалеко от штаба встретился почтальон, вручил пачку газет и письмо. Письмо было от Елены Васильевны. Николай Кузьмич посмотрел на часы, до

собрания оставалось пятнадцать минут. Он свернул с линейки, сел на пенек и стал читать.

«Коля, дорогой! Хочу поделиться пока еще неполной, но все же радостью: получается, слышишь?! Получается, так, как ты хотел, как я мечтала. Правда, иногда автоматика еще бунтует, не хочет раз за разом подчиняться. И в такие напряженные часы я ищу тебя глазами и в цехе, и возле колонны, где мы впервые увидели друг друга, и дома, где милая Танюша все больше напоминает тебя. Когда я занята расчетами, она ходит на цыпочках, так же, как ты ходил, и так же, как ты, от излишнего усердия, непременно что-нибудь зацепит, что-нибудь уронит... Скучаю, нуждаюсь в твоём совете, в твоём одобрении — они мне нужны, как и твоя ласка.

Если спросишь, кто меня поддерживает в эти многотрудные недели, отвечу: все. Конструкторы моей группы, Борис Семенович, все сборщики и, прежде всего, Шурочка и Павел Иванович.

Случился у меня невероятно тяжелый день — силы иссякли. Поздно вечером я бежала с работы домой, думала, Танюша не поужинала без меня, заснула голодная. И вдруг — из всех окон свет и музыка. Застала Павла Ивановича и Шурочку. Танюша угощала их картофелем с маринованными груздями и... Чайковским. Она так хорошо играла в тот вечер.

Павел Иванович отозвал меня в сторону и сказал сердито и беззлобно, как он умеет говорить:

— Для меня, старика, нет хуже — в человеке ошибиться. Вы что — решили покинуть машину?

Я сказала, что завтра вся группа конструкторов будет на участке, и наш добрый сосед успокоился.

В ту ночь я не отпустила Шуру в общежитие, предложила ей поселиться у меня и жить до тех пор, пока ей не дадут комнату, пока ты не приедешь. И ей легче готовиться к занятиям в техникуме — в общежитии толчея, шум. И для Танюши Шура словно родная сестра.

Ой, как сумбурно пишу, да все о себе.

В твоих письмах ты умудряешься ничего не говорить о своей жизни, о здоровье. Маскируешься общими фразами, лирикой. Знаю, какие-то неприятности у тебя, если ты лириком становишься.

Конец письма пришлось дочитать на ходу. Нужно было торопиться на собрание.

* * *

Прием в партию начался с разбора заявления старшего сержанта Солянина. Он стоял перед коммунистами, большой, застенчивый, с виноватым лицом, словно говорящим: «И как я осмелился...» Ему было неловко из-за высокого роста — приходилось смотреть сверху-вниз на людей, из-за биографии, уместившейся на странице школьной тетради. К восьми классам десятилетки он мог лишь добавить год работы горновым на домне и год учебы в художественном училище, что казалось ему крайне малым и незначительным. О службе в армии Солянин не стал говорить — она прошла на глазах коммунистов полка. А, оказалось, их интересует больше всего именно это: и сколько отличников он как командир танка воспитал в экипаже, и почему имеются нарушения дисциплины среди танкистов роты, и насколько выросла комсомольская организация с тех пор, как его избрали секретарем.

Спрашивали коммунисты строго. Даже Киреев, давший рекомендацию Солянину, и тот выступил жестче, чем когда бы то ни было, и критиковал его за недостатки комсомольской работы.

«Не примут», — решил Солянин и вздрогнул, услышав слово: «единогласно».

«Гладко прошел, мне бы так», — завидовал Чумак, но волновался он куда меньше, чем Солянин.

Разговор с Мякининым после стрельб, которого Чумак так боялся, неожиданно оказался для него благоприятным. Зинаида Степановна ничего плохого не говорила мужу о поездке. Мякинин вызвал, чтобы дать рекомендацию, и Чумак торжествовал. Он относил заботу Мякинина о нем за счет своих способностей, что еще больше возвеличивало его в собственных глазах, давало повод считать себя в полку неуязвимым. Но когда Чумаку предложили рассказать биографию и он умолчал о причине ухода из штаба округа, вопрос Донцова именно об этом поколебал его уверенность. Он стусеивался, и, с трудом

овладев собой, постарался повернуть вопрос в свою пользу.

— Я, товарищи коммунисты, считал и считаю полк наиболее ценной и необходимой школой для молодого офицера.

Донцов больше вопросов не задавал. Он искал глазами Сочнева, голосовавшего на партийном бюро против приема Чумака в члены партии, и, не найдя его, пригнулся вправо, к сидящему за соседним столиком Кирееву.

— Заболел Сочнев?

— Нет. За полчаса до собрания назначили в караул. Сказали — кого-то срочно заменить надо. Я вам звонил, найти не мог.

Коммунисты задали Чумаку еще несколько вопросов, а высказываться не спешили. Они знали его мало и, естественно, думали, что выступят товарищи, которые рекомендовали его, служат с ним в одной роте. Киреев тоже медлил. Он выступал, когда принимали Солянина, и неудобно было снова выходить первым. Мякинин хотел, чтобы другие коммунисты высказались раньше его. Так и ждали все, пока не поднялся Донцов.

— Такое дружное молчание при решении судьбы кандидата партии — признак плохой, очень плохой, — стал он говорить, проходя между рядами. — Может быть, отложим разбор заявления? В этом есть смысл хотя бы потому, что единственного члена бюро старшину Сочнева, который предлагал воздержаться от приема товарища Чумака, за полчаса до собрания срочно послали в караул, будто мало в полку старшин не коммунистов.

Мякинин отрицательно покачал головой. Заметив это быстрое движение, председательствующий тотчас использовал свои права.

— О доводах старшины Сочнева я позднее скажу. Они не серьезны и партийное бюро их отмело. Переносить вопрос о приеме нет надобности. Но раз поступило предложение, требуется голосовать. Кто за то, чтобы обсуждать утвержденный нами в повестке дня вопрос о приеме в члены партии товарища Чумака, прошу поднять руки! Большинство. Как вы, товарищ Донцов, будете продолжать?

— Буду.

Николай Кузьмич заговорил, делая заметные паузы после каждой фразы.

— О чем говорили коммунисты на партийной группе и парторг /Сочнев на бюро? О грубости товарища Чумака с подчиненными, о том, что он унижает их человеческое достоинство, держит солдат в состоянии постоянного болезненного напряжения. Коммунисты правильно критиковали вас, товарищ Чумака. Негодным лекалом пользуетесь, не подходит оно к человеку. Окриком, пренебрежением вы не найдете дороги к сердцу солдата. А дорогу эту нужно находить, ох, как нужно!

Я обращаю особенное внимание на отношения с подчиненными потому, что и некоторые другие офицеры поступают подобно Чумаку. Они рассуждают примерно так: раз ты мой подчиненный, значит, меньше меня умеешь и знаешь, значит, человек ты более низких по сравнению со мной мыслительных способностей... Вредное барское высокомерие! Оно противно советской морали, духу нашей армии. Оно способно вызвать лишь боль в душе у подчиненного, оттолкнуть его от подобных офицеров.

Вспомним, как Владимир Ильич Ленин возмущался теми, кто действовал по барской прихоти, допускал произвол, беззакония. Ленин считал гнусным, недостойным советского руководителя и коммуниста быть грубым с человеком, который стоит ниже по положению и потому не смеет ответить.

Пока речь шла об ошибках, свойственных и другим командирам, Чумаку было как-то легче. Но вот Донцов снова заговорил о нем:

— Предлагаю воздержаться от приема товарища Чумака. Он должен учесть критику на партийной группе и на этом собрании и делом доказать, что достоин быть членом партии.

Сразу же после Донцова выступил Мякинин.

— Я дал рекомендацию гвардии старшему лейтенанту Чумаку и считаю его достойным быть членом нашей великой партии, — начал он, выйдя на трибуну. — Я знаю Валерия Константиновича Чумака по работе в полку, в штабе округа, а также по отзывам его бывшего начальника — генерала и других авто-

ритетных во всем округе коммунистов, один из них дал Чумаку рекомендацию. Вы что же, Николай Кузьмич, прикажете собранию не доверять ни им, ни мне?!

Взгляд Мякинина нашел в середине комнаты Донцова, уперся в него.

— У вас, Николай Кузьмич, ограниченное, если не сказать больше, понимание требовательности. Вы его разрываете с воспитанием, и потому неправильно оцениваете молодого офицера. Я уважаю товарища Чумака как взыскательного, перспективного командира, отличного строевика, мастера меткого огня. За что капитан Киреев и старшина Сочнев ополчились в роте на нового командира взвода? За его твердость, желание крепкой рукой поддержать уставной порядок. Капитан Киреев хотел бы, чтобы командиры взводов, отдавая приказ, упрашивали солдат его выполнить. Забыли в первой роте, что приказ — дело святое и выполнять его надо безоговорочно. Метод убеждения, о котором вы, Николай Кузьмич, долго и красочно говорили, не отрицает наказания. Убеждать вовсе не значит увещевать, уговаривать солдата. Беда будет, если мы станем либеральничать с нарушителями воинской дисциплины.

Наконец, о вашей ссылке на Владимира Ильича. Ленин имел в виду не военную, а гражданскую службу. От армии же он требовал железной, строжайшей дисциплины. Без нее, говорил Ленин, армия превратится в сброд.

Коммунистам было над чем задуматься: и Донцов говорил правильно, и Мякинин... Они как будто лишь с разных сторон подходили к работе кандидата партии, молодого офицера, каждый выпячивая то, что казалось ему хорошим или плохим. «Кто же более объективен? Почему настолько противоположна оценка Чумака у двух умных, опытных командиров, — думал Солянин. — Если проголосуют против Чумака, не будет ли это выражением недоверия к командиру полка, к его рекомендации, не будет ли это подрывом единоначалия?»

И не только Солянин размышлял так. Коммунисты чувствовали, что далеко не все высказано на собрании, и ожидали выступления Киреева, чтобы

представить себе, почему Мякинин горячо ратует за Чумака, а Киреев, как и Донцов, осуждает его. Но Киреев после выступления Мякинина решил не брать слова. «Буду выглядеть склочником, если стану оправдываться. Мякинин касался вопросов службы. Противоречить ему — значит, затронуть авторитет командира полка. Имею ли я на это право? Нет. А молчать, когда ты против приема Чумака, имеешь право?..»

Пока Киреев выбирал, как ему лучше поступить, председательствующий сказал несколько слов в поддержку Мякинина и поставил предложение партийного бюро на голосование.

За прием Чумака в члены партии голосовали три четверти присутствующих на собрании коммунистов. Донцов, Киреев и еще несколько человек подняли руки против.

15

Подполковник Донцов поручил Григорию Сочневу поделиться опытом на семинаре партторгов. С наброском плана своего выступления Сочнев направился к Кирееву, и узнав, что капитан уехал на рекогносцировку местности к ночным занятиям, завернул в палатку Чумака.

Чумаку было приятно, что его механик-водитель будет делиться опытом на партийном совещании. Он одобрил план, предлагал дополнить его еще несколькими положительными примерами, но высказался против того, чтобы партторг назвал Зарембу среди танкистов, овладевающих смежными специальностями.

— Давно ли Заремба приносил нам одни неприятности, а вы зачем-то решили похвалить его. Не думаете ли вы, что он действительно намерен стать механиком-водителем?

— Я в этом уверен, товарищ гвардии старший лейтенант! Заремба был шофером. Он хорошо водит танк, а в теории разбирается, как опытный механик. Он просит взять его на танкодром вместе с молодыми водителями. Разрешите. Ему вполне можно доверить повести танк через препятствия.

— К чему возиться с заряжающим? — сухо об-
резал Чумак. — Вы, видимо, забыли свои обязанно-
сти инструктора по вождению. Вам предстоит заня-
тия с молодыми механиками, вы отвечаете за их под-
готовку перед командиром полка, а для заряжающих
нет в программе часов для вождения. Достаточно то-
го, что они знают.

Сочнев не стал бы возражать офицеру, но он поду-
мал, что поступит неправильно, если как парторг не
объяснит только что принятому в члены партии Чу-
маку, как важно пойти навстречу желанию солдата.
И старшина тактично напомнил:

— Заремба все больше увлекается вождением, я с
ним занимаюсь в свободное время, и на танкодром
мы выедем до начала общих тренировок. На плановых
занятиях это никак не отразится, товарищ гвардии
старший лейтенант.

— Я уже сказал: не могу позволить!

— Тогда разрешите обратиться к капитану Кире-
еву. Он не раз требовал добиваться взаимозаменяе-
мости в экипаже.

— Обращайтесь хоть в округ! — вспылil Чумак
и, поднявшись из-за стола, взял фуражку.

Сочневу оставалось лишь откозырнуть и удалиться.

Занятия на семинаре парторгов не давали Сочне-
ву возможности поговорить с Киреевым о Зарембе.
Возвращаясь в роту во время перерыва на обед и ве-
чером, Сочнев первым долгом спрашивал у дежурно-
го, где находится капитан, и неизменно слышал, что
тот выехал на танкодром, на стрельбы или находится
в штабе полка.

Встретился он с Киреевым в штабе после семина-
ра, когда тот выходил из офицерского класса. Киреев
первым заметил Сочнева и пошел ему навстречу.

— Расскажите, как прошло ваше выступление. Не
раскритиковали? — Киреев был весел, возбужден. Он
крепко пожал руку Сочнева.

— Наоборот, товарищ гвардии капитан. Подпол-
ковник Донцов похвалил. Даже слишком. Ума не
приложу, зачем понадобились в образцы меня вытас-
кивать. Неловко чувствую себя, будто сам на хвальбу
напросился.

— Значит, поделом и хвалит. Или вам легче, когда поругивают?

— Не скажу, чтобы легче, — улыбнулся Сочнев, — но для дела полезнее.

Киреев рассмеялся.

— Если критика вам приятнее, то не ждите от меня доброго слова. Шерстить буду беспощадно!

— Приятного мало, — засмеялся и Сочнев. — Когда я начал по вашему примеру в морозные дни подставлять голую спину под ледяную воду, меня даже оторопь брала. Не сразу привык. Вот и пытаюсь постепенно привыкнуть к критике, как к ледяной воде, — закаляет.

Киреев уже слышал от Донцова, как хорошо выступил Сочнев на семинаре, и то, что парторг воспринял хвалебную оценку, не поддаваясь восторгам, было по душе командиру роты.

Миновали широкую, ровную, как стрела, штабную линейку. По ней убегали вдаль желтовато-белые столбы новой электролинии. Сочнев спросил:

— Можно с вами поговорить по щекотливому делу.

— Пожалуйста, зайдите ко мне.

Они вошли в палатку.

— У меня получился спор со старшим лейтенантом Чумаком.

— Спор? С командиром? Что-то не похоже на вас.

— Да, не то это слово, конечно. Я попросил разрешить мне без ущерба для обучения других водителей заняться с Зарембой на танкодроме. Старший лейтенант не дал согласия. Единственное, чего я добился, это разрешения обратиться к вам.

— Вы могли и без спора обратиться ко мне по поводу Зарембы. Немало вопросов мы с вами как с парторгом решаем, а этот не так уж сложен.

Сочнев вздохнул:

— Видно, опыта нет у меня руководить партийной группой. Да и неудобно бывает мне, старшине, поправлять офицера. Не авторитетен я для него...

— Жалуетесь, парторг? Напрасно. Вот и с Зарембой своего добились. Не только я, но и Чумака вас поддержит. А насчет опыта, тут дело, Григорий

Игнатьевич, больше всего в партийной душе — в том, как вы людей сумеете повести за собой и в учебе и, особенно, если придется, в бою.

* * *

Волнующее чувство охватывает молодых солдат перед вождением. Много часов они изучают материальную часть машины, не раз с завистью глядят, как мастерски управляют танком командиры и механики, и часто мечтают о том дне, когда будут самостоятельно водить боевую машину, преодолевать на ней препятствия и заграждения. Но если в программе нет плановых занятий по вождению с наводчиками и заряжающими, то редко кому из них удастся выехать на танкодром с механиками-водителями.

В то утро, когда Заремба прибыл на танкодром, он все еще боялся, чтобы кто-нибудь не изменил решения командира роты, все еще не мог поверить, что ему поручили выполнить упражнение по вождению танка.

К радости Зарембы, все шло хорошо. На наблюдательной вышке он видел Киреева и Чумака, а на опушке леса — группу механиков-водителей роты. И только он да старшина Сочнев стояли у машины на исходной линии.

Скуластый, худощавый, ростом чуть выше приземистого Зарембы и еще более широкий, чем он, в плечах, Григорий Сочнев выглядел в глазах молодого танкиста единственным и всесильным хозяином огромного танкодрома. Разве, обращаясь с просьбой к Сочневу обучить его вождению, Заремба мог рассчитывать на такую терпеливость лучшего механика-водителя полка, парторга роты! Сочнев даже от семьи отрывал часы, чтобы заниматься с ним. А теперь вывел его, единственного из всех заряжающих роты, на большой круг танкодрома.

— Вы будете преодолевать препятствия с открытым люком, — сказал Сочнев. — Проведете танк через ограниченный проход, болотистый участок, противотанковый ров и эскарп. Приступить к контрольному осмотру!

Придирчиво смотрел он, как Заремба проверял заправку танка, крепление деталей. Заняв место

водителя, Заремба запустил двигатель, убедился, что приборы и рычаги действуют безотказно.

— Машина исправна, к выходу готова! — доложил он.

Красные флажки просигналили: «По местам!» Пропустив вперед Сочнева, Заремба нырнул в люк. Он заставлял себя все делать спокойно, как учил его механик-водитель. Но тот сидел сейчас не за рычагами управления, а справа от них, и это нервировало. Казалось, что после команды «вперед!» он слишком торопливо нажал ногой на педаль топлива, а рукой на кнопку стартера.

Машина тронулась. Подпрыгивая на буграх, она приближалась к столбам, где надо было сделать несколько крутых поворотов. У солдата напряглись мускулы. Когда-то на автомобиле он через чистое, сплошное, во всю кабину стекло мог заметить каждый камешек впереди себя, в боковом зеркале отражалась дорога позади машины. А здесь даже через раскрытый люк были видны лишь квадраты поля в ямах и буграх да черный бруствер перед рвом неизвестной глубины и ширины.

Перед посадкой в танк Сочнев предупредил Зарембу, чтобы он ко рву подошел на пониженной скорости. Но разве упомнишь все, когда через раскрытый люк ветер полными пригоршнями бросает в глаза игольчатые крупинки песка, от обильного пота подкладка шлемофона прилипла ко лбу, к шее и что-то словно подступает к горлу и давит... Заремба забыл в этот момент, что он может рассчитывать на Сочнева, что за 10—15 метров до рва ему надо перейти на низшую передачу. Растерявшись, сильнее нажал на педаль. И тут же почувствовал, что педаль сопротивляется, не идет ниже, а нажимает вверх на его подошву. Это Сочнев вовремя подставил под педаль носок сапога. Он предупреждал ошибку — единственно возможным в этом шуме и грохоте способом приказывая сбавить газ.

Заремба притормозил, посмотрел вправо. Сочнев держал кверху два пальца. «Значит, вторую», — догадался солдат и включил передачу.

Чем ближе ров, тем Сочнев, подавшись влево, пристальнее смотрел через люк. Он не вмешивался

в действия солдата. И только на самом препятствии был момент, когда Сочнев чуть не схватился за рычаги. Машина стала клевать, передние траки гусениц крутились вхолостую, нависая над рвом. Заремба сжался, но нашел силы подчинить себе танк. Как только гусеницы коснулись противоположного края, он увеличил обороты двигателя, и машина плавно вышла из рва.

Последнее препятствие было преодолено. Сочнев тронул его за плечо. Зарембе показалось, что рядом находится его родной, не возвратившийся с войны брат, что это его жесткие мозолистые пальцы с мужской лаской коснулись плеча.

Сочнев откинулся на спинку сиденья. Он решил сделать приятное солдату и подумал, что самым приятным будет — перестать опекать его, дать свободу действий. Заремба ощутил это. Он повернул голову к Сочневу, и тот увидел раскрасневшееся лицо, благодарный взгляд. Зарембе хотелось запеть. Еще один поворот, и он увидит алый флаг на наблюдательной вышке. Там ожидают его возвращения Киреев и Чумак. Заметив приближающуюся машину, Киреев, наверное, скажет: «Видали такого заряжающего!» А через несколько минут офицеры услышат доклад о том, как он удачно брал преграды. И кто знает, может быть, Киреев прикажет сфотографировать его при развернутом знамени части и...

Что будет после фотографирования, Заремба не успел додумать. Перед его глазами появился изгиб дороги с глубоким песком. Ему надо было сделать побольше круг, а он внезапно, рывком, потянул на себя рычаг, танк круто развернулся вправо, и не успел Сочнев исправить ошибку, как песок заполнил пространство между гусеницей и ведущим колесом, и гусеница порвалась.

Если бы Сочнев ругал его, Зарембе было бы легче. Но старшина только пальцем показал в сторону мотора: «Заглушить», молча вышел из танка, принялся заменять трак, у которого лопнули проушины. Заремба помогал Сочневу, не смея поднять глаз. Стыд и обида мучили его и, чем дольше не разговаривал с ним Сочнев, тем больнее было, тем беспощаднее осуждал он себя: «Никчемный человек, Обещал

быть осторожным, а сделал поломку в таком месте».

Глядя со стороны, можно было предположить, что ни о чем Сочнев больше не думает, как лишь о замене трака. На самом деле он переживал не меньше заряжающего, считая себя виновным в поломке — себя, потому что перестал контролировать новичка, не учел, что после преодоления полосы препятствий тот ослаблен, что в нем может притупиться наблюдательность.

Сочнев и Заремба не заметили, как к ним приблизились офицеры.

— Кого из вас поздравить с успехом? — насмешливо спросил Чумак.

Еще не спускаясь с наблюдательной вышки, офицеры догадались, по какой причине мог так оглушительно, надрываясь, зарычать мотор, почему танкисты вышли из машины и стали возиться с гусеницей. Чумак насупленно смотрел на подчиненных, а во взгляде Киреева были сожаление и укор.

— Товарищ гвардии капитан! — Сочнев стоял перед командиром роты, как всегда, подтянутый и спокойный. — Поломка произошла по моей вине. Я перед занятиями не предупредил Зарембу, как надо правильно развернуть машину в глубоком песке. Он хорошо провел танк через все препятствия и заслуживает поощрения.

«Это неправда!» — хотелось крикнуть Зарембе. Он удивленно глядел на Сочнева и подался было к Кирееву, но тут заговорил Чумак:

— Или вы растеряли свой опыт лучшего в полку инструктора вождения, товарищ гвардии старшина, или пытаетесь выгородить Зарембу. Я склонен думать второе. Чужой груз взваливаете на свои плечи, благо, они у вас широкие.

— Я никогда не кривил душой, товарищ гвардии старший лейтенант, — ответил Сочнев.

Заремба вовсе растерялся. Пальцы его машинально сгибались и разгибались, взгляд бежал по сторонам, не будучи в состоянии остановиться на чем-либо. Слова Сочнева пошатнули появившуюся в нем только что решимость. Он не был уверен теперь, правильно ли разбирается в происходящем или горячность тол-

кает его на необдуманный шаг. «Сочнев не может сказать неправду офицерам. Он честный человек, коммунист, фронтовик. Но ведь я разорвал гусеницу, а не он».

— Это я виноват, я один! Мне нельзя доверять машину. Мне ничего нельзя доверять!

Киреев строго посмотрел на Зарембу, потом повернулся к Чумаку:

— Возвращайтесь на вышку. Я займусь ремонтом.

16

В большом четырехэтажном доме, выстроенном в районном центре, где дислоцировался полк, три квартиры выделили для офицерских семей. Сообщив об этом Кирееву, Донцов посоветовал:

— Подайте Мякинину рапорт, — и увидев, как поморщился Киреев, добавил: — Помню, писали, резолюции были, но нужно, сегодня же!

Два года знал Киреев Донцова по совместной службе в полку, знал, что тот давно поддерживает его ходатайство о квартире, и если он рекомендует писать новый рапорт, значит, есть на это серьезные причины.

Киреев писал рапорт и думал о семье — он не мог к ней приехать и после дня рождения Светланы. Надежда Павловна описала ему события тех суток, особенно подробно то, что случилось с Сашей. «Признаюсь, Алексей, боялась я откровенного разговора с сыном и рада, что все осталось позади. Саша, мне кажется, повзрослел за последнее время. В ту ночь он не мог уснуть, взял твой фронтовой снимок и долго смотрел на него, о чем-то тихо, одними губами беседовал с тобой...»

Позднее стали приходить менее утешительные письма, а последнее вызвало острое беспокойство за детей. Надежда Павловна сообщила: ливни размыли завалинку, сырость пронизала стены и Светлана подозрительно кашляет. «Если ты по-прежнему любишь детей, — заканчивала письмо Надежда Павловна, — то добьешься сносного жилища. Может быть, я не права, но иногда мне кажется, что ты забываешь о детях».

В штабе, куда Киреев пришел с рапортом, ему сказали, что Мякинин после обеда не появлялся и, наверно, вечером тоже не придет. Пришлось идти в лагерьный домик полковника.

Киреев застал его полулежащим на тахте, с папирсой в зубах. Было ясно, что Мякинин недоволен посещением. Он не ответил на приветствие, бросил слово «слушаю» и даже руки не поднял, когда Киреев подошел, протянул рапорт. Пришлось положить бумагу на край стола, рассказывать о мытарствах семьи в плохой квартире. Необычайно трудно было говорить. Киреев не любил жаловаться, а тут еще нервировало выражение скуки и досады на тщательно выбранном лице Мякинина.

— Ничего, к сожалению, не смогу для вас сделать. Терпеть придется еще какое-то время, — сказал Мякинин и стал тушить в пепельнице окурки. — Мне нужно улучшить бытовые условия многих офицеров, а в новом доме дают для полка лишь три квартиры. Так что наши желания расходятся с возможностями. — Мякинин встал, его взор был устремлен на стол, он читал рапорт.

Неотрывно следил Киреев за полковником, надеялся: он обдумает, как правильное распределить жилье. «Остро нуждающихся не так уж много. Большинство офицеров обеспечено лучше, чем я. Почему же отказ?.. Может, вспоминает разговор с Донцовым. Николай Кузьмич, конечно, хлопотал, доказывал, что моя семья больше других нуждается. Возможно, полковник все-таки изменит решение, подпишет рапорт».

Но как ни хотел уловить Киреев признаки благожелательности в глазах полковника, их не было. Они выражали лишь недовольство и нетерпение.

Киреев не мог больше оставаться у полковника.

— Разрешите идти? — прикладывая руку к козырьку, спросил Киреев.

— Нет, останьтесь!

Должно быть, перехватив негодующий взор офицера, Мякинин решил, как можно дольше держать подчиненного в положении «смирно», чтобы тот не смел дерзить даже в мыслях, даже взглядом.

— Продолжаете идти по скользкому пути, выгораживаете солдата, который допустил поломку танка.

Как вы смели не доложить мне об этом? Почему не наказали Зарембу?

— На танкодроме был начальник штаба полка, и я ему докладывал, товарищ гвардии полковник. Неисправность была незначительная и устранена за час. Наказывать солдата я считал несправедливым: он неумышленно сломал трак.

— Вы ждете, чтобы умышленно! Что ж, ваш подопечный и на такое способен. Мне надоело слушать о его проделках, немедленно посадите его на пять суток строгого ареста, а сами вы, капитан...

Стук в дверь прервал Мякинина. Он недовольно повернулся, крикнул: «Войдите!»

В комнату вошел Донцов.

— Я по срочному делу, товарищ гвардии полковник. Прошу освободить гвардии капитана.

Мякинин кивнул Кирееву: «Можете идти!»— и, проводив его строгим взглядом, сказал Донцову:

— Если с таким же срочным делом, как капитан, то...

Заметив рапорт, сиротливо лежащий на краю стола, Донцов понял, что Мякинин отклонил просьбу Киреева.

— Я вижу, отказали. Это несправедливо.

— Нечего меня укорять. Достаточно сегодня говорили с тобой об этом. Садись и выкладывай, с чем пришел.

Донцов мысленно ругал себя за то, что не догадался с Целищевым, до передачи дел Мякинину, оформить приказом распределение квартир в строящемся доме. «Даст ли что-нибудь повторный разговор о квартире. Пожалуй, нет»,— решил Донцов, сел и заговорил о другом.

— Хочу с вами посоветоваться о повестке дня партийного бюро. Мне кажется, надо обсудить поведение капитана Осадчего.

— Что произошло?

— Он странно воспринял ваши указания о подготовке к приезду комиссии: заводит на нарушителей новые карточки взысканий и поощрений, не вписывая в них прежних взысканий.

— Ты его, надеюсь, по головке не погладил, — бесстрастно произнес Мякинин и начал прохаживаться по комнате от тахты к письменному столу и обратно.

— Я его предупредил, но дело не в административных мерах. У Осадчего и прежде замечались попытки очковтирательства. Помните, на стрельбище?

— Предупредил, и ладно. Я еще с ним поговорю. А вот Киреева, того действительно следует обсудить на бюро.

— За какую провинность?

— Хотя бы за укрывательство поломок боевых машин и потворство разгильдяям, которых надо гнать из армии. Он мне скоро роту развалит.

— У Киреева лучшие результаты по боевой и политической подготовке, товарищ гвардии полковник. Как понять ваше отношение к опытному растущему офицеру?

— Растущий?! Да я и забыл, что вы друзья и что тебе не хочется видеть его недостатки. Допускаю, капитан — умный человек, но он мягкотел. Ему больше подходит какая-нибудь узкоштабная работа, он ведь любит пописывать... Между прочим, вакансия в штабе полка для него есть, и на место Киреева имеется хороший офицер.

— Чумак?!

Мякинин воспринял восклицание Донцова как признак обыкновенного удивления...

— Ты, однако, догадлив, Кузьмич. Это действительно растущий офицер, и прислали его к нам из штаба округа, конечно, не за тем, чтобы он засиделся командиром взвода.

— Выходит, это ваше решение! — Донцов поднялся, отрывистой стала его речь. — Я буду категорически возражать. Старший лейтенант еще не проявил себя, чтобы доверить ему роту. И Киреева нельзя переводить в штаб. Я знаю, что там за вакансия — скоро солдата-писаря посадят на то место.

Самообладание покинуло Мякинина. Он повысил голос:

— Забываетесь! Ваш долг укреплять единоначалие, а не подкапываться под меня, товарищ подполковник! Задумывался я, почему мне так трудно работать в последнее время в полку. Теперь понимаю — из-за вас. Выступили против меня на партийном собрании — я все хорошо тогда понял. Поддерживать меня не желаете, а случись незначительное проис-

шествие — бежите даже в обком, которому и знать не положено, что в армии делается.

— Не положено! Вы оговорились, товарищ гвардии полковник, или действительно так думаете?

— Говорю, что думаю.

— Значит, считаете, что армия — что-то вроде государства в государстве, что мы, армейские коммунисты, даже в обком не можем обращаться! Вы прекрасно знаете, что я ездил туда договариваться о воскреснике танкистов на уборке урожая. И если возражаете против поездки политработников в обком даже один раз в год, то как отнесетесь к партийному руководству в крупных делах?

— Опять мне мораль вздумали читать? Хватит, надоело.

Шрам на густо покрасневшем лице Донцова сделался гипсово-белым. Донцов уже не пытался сдерживать себя.

— Мы с вами, к сожалению, стоим на противоположных позициях. Я вижу серьезные недостатки в полку и не могу вам доказать, не могу помочь исправить их. Поэтому говорю вам заранее: о положении в полку и наших взаимоотношениях доложу начальнику Политуправления округа, а если потребуется, дойду до Военного совета, до Центрального Комитета партии.

Мякинин отошел к окну. И прежде у него были разногласия с замполитом, и прежде тот был неуступчив в принципиальных вопросах, но все же спор был неожиданным. «Некстати я погорячился. Теперь нужно с ним миром, а не спорами», — подумал Мякинин.

С его лица исчезла начальническая суровость.

— Не ожидал я, Кузьмич, что ты так превратно поймешь меня, ей-ей, не ожидал. Нас с тобой свели, дорогой, вовсе не для того, чтобы мы ссорились. Считаешь ненужным перемещение Киреева, что ж, пусть будет по-твоему.

Зинаида Степановна возвратилась из клуба в поздний вечерний час. Мякинин встретил жену необычно мягкий и словоохотливый.

— Понравилась самодеятельность? — Он поцеловал жену в висок, предупредительно снял пальто, взял из рук шляпку, понес одежду в другую комнату и, возвратившись, попросил: — Рассказывай, милая.

— Что тебе, Петр, рассказывать. — Она отвечала неохотно, как очень усталый человек. — Кое-что поправилось, но надоело одной ходить.

Она вздохнула. Мякинин стал убеждать жену:

— Сочувствую тебе. Я все занят, а ты скучаешь. Повремени, дорогая. Сама понимаешь: мне необходимо сейчас многое сделать, раз обстановка складывается в мою пользу. Пока Целищев учится, пока он побудет в отпуску после Академии, я сумею показать, на что пригоден Мякинин, сумею свободно постучать в те двери, которые за эти месяцы должны передо мной открыться, обязательно должны!

— Ты никогда со мной не был столь откровенным, Петр. Я нахожу в тебе какие-то новые качества.

— Это потому, что я все больше тебя люблю и доверяю, потому, что ты поможешь мне.

— В чем же? — нижняя губка оттопырилась, по-детски наивным сделался взгляд. — Не понимаю. Каждый вечер на самодеятельности просиживать?

— Что ты, дорогая, это грустное занятие. Мы с тобой завтра совершим замечательную поездку в округ. Приготовь свои наряды, пригодятся.

— Наконец-то, — и Зинаида Степановна прижалась к мужу. — Только, прошу тебя, не оставляй меня там одну на целые дни.

— Нет, Зинуля, план совсем иной. Он тебе очень понравится.

— Какой же?

— С нами поедет старший лейтенант Чумак. Мы посетим генерала Жезлова.

Она отстранилась от мужа, сбросила с плеч его руку.

— Зачем они тебе нужны?!

Восковым стало ее лицо, глаза лихорадочно заблистали. Мякинин не мог понять волнения жены. Прежде она с удовольствием принимала Чумака, а в последнее время перестала о нем спрашивать. Зна-

чит, у нее к Чумаку был мимолетный интерес. Из-за чего же возмутилась? Неужто трудно пойти к Жезлову, повлиять на его дочь, а через нее и на отца? Зина ведь знает, что Жезлов тесть Чумака...

Зинаида Степановна долго молчала. Это обидело Мякинина. Он нахохлился, не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Ты, милая моя, не притворяйся, что тебе с Валерием Чумаком неприятно вместе ехать. Я кое-что понимаю в женском сердце.

Она медленно пошла к дверям спальни и, приподнимая портьеру, обернулась:

— Если считаешь себя знатоком женского сердца, поступай, как тебе угодно.

Прошло несколько минут, и Мякинин уже терзался тем, что не выяснил причин непонятного поведения жены, не успокоил ее. Вошел в спальню, увидел ее возле окна с опущенной головой.

— Зиночка, извини меня, если обидел. Может быть, тебе неприятно приходиться в чужой дом, но все же прошу тебя посетить со мной Жезлова. От этого зависит и мое, и твое будущее.

— У меня нет будущего.

— Что за речи? Я, кажется, имею право сказать жене: «Мы едем, это необходимо!»

Зинаида Степановна обернулась:

— Хорошо. Я выполню твой приказ.

В другой раз, возможно, Мякинин уловил бы в голосе жены безразличие, близкое к отчаянию, но он был настолько рад ее решению, что ничего не заметил и поспешил в другую комнату.

Зинаида Степановна слышала, как муж крутил ручку полевого телефона, велел вызвать к аппарату Чумака.

— Старший лейтенант Чумак? Скажите капитану Кирееву, что штаб посылает вас в трехдневную командировку... Проездных? Не выписывайте. Вы поедете на рассвете со мной и Зинаидой Степановной в моей машине... Дела? Надеюсь, найдется у нас с вами время и в театрах побывать, и к вам на квартиру заглянуть. Вы обещали познакомить меня с женой... Вот и хорошо. Значит, в шесть утра подойдите ко мне.

В последние перед поездкой в округ дни Валерий Чумак перестал надеяться на встречу с Зинаидой Степановной — встречу наедине, когда он мог бы объясниться, оправдать в какой-то мере свое поведение. Чаще всего казалось, что он не найдет необходимых слов, что услышит от нее ту же фразу: «Никогда, слышите, не приходите ко мне!» До той ошеломившей его минуты Зинаида Степановна правила ему, как нравились другие красивые женщины. Льстило, что он ей приятен, что лицо ее при встрече вспыхивает. Теперь же, когда она оттолкнула его, он стал думать о ней совсем не так, как о других: «Почему отшатнулась от меня? Что ее остановило? Ведь она не любит Мякинина».

Мог ли Чумак найти ответы на эти вопросы, если он не дал себе труда заглянуть в душу Зинаиды Степановны, разобраться в ее запутанной жизни?

Временами оскорбленное мужское самолюбие подсказывало, что надо забыть о Зинаиде Степановне. Но чем чаще он внушал себе такие мысли, тем больше думал о ней и скучал.

Не удивительно, что, получив приглашение полковника поехать вместе с ним и Зинаидой Степановной в округ, Чумак почти всю ночь не спал, придумывая десятки фраз, которыми можно было бы восстановить прежние отношения. Но утром, как только приблизился к дому Мякининых и увидел Зинаиду Степановну, все приготовленные слова улетучились. А она стояла возле машины одна и ожидала чего-то от него, может быть, простого удивления, легкой шутки, которая сняла бы напряженность...

Через минуту с чемоданом выбежал шофер, следом вышел Мякинин. Чумак даже обрадовался, что он, наконец, не один возле Зинаиды Степановны, что можно сесть в машину рядом с полковником.

Несколько раз Мякинин безуспешно пытался вовлечь жену в общий разговор. Он был в дороге весел, балагурил, и ему была неприятна молчаливость жены. Она изредка односложно отвечала, ни разу не повернув головы.

Накануне вечером, после того, как Зинаида Сте-

пановна убедилась, что муж не изменит своего решения и возьмет с собой Чумака, она больше ни слова не проронила. Собрала, как велел Мякинин, свои лучшие выходные платья, перегладила их, но мысли ее были далеки от нарядов, от театров, которые давно мечтала посетить: «Он любит лишь себя, ценит лишь то, что может украсить его жизнь, удовлетворить его тщеславие, прихоти». После всех переживаний, после того, как подсознательно она уже отрешилась от мужа, презрение к Мякинину перерастало в презрение к Чумаку. Встретив офицера сейчас и чувствуя на себе его взгляд, она думала о Чумаке почти с такой же неприязнью, как и о муже.

Зинаида Степановна тронула за руку шофера, глазами попросила остановить машину. Она вышла, пошатнулась, но ее поддержали сильные, ласковые руки:

— Что с вами, Зинаида Степановна? Вы так бледны.

В словах Чумака слышалось неподдельное волнение. «Может, я несправедлива к нему? Может, он искренне любит меня...»

— Дорогая моя, ты устала. Пойдем, подкрепишься, — предложил муж.

Они пошли к опушке леса. Шофер расстелил на траве коврик, принес вино и закуску. Мякинин старался угодить жене, много говорил, а она ловила редкие слова Чумака.

Чумак терпеливо ждал минуты, когда они останутся вдвоем. Наконец, полковник отошел с шофером к машине, и Чумак взволнованно заговорил:

— Простите мою дерзость, Зинаида Степановна. Я никогда по-настоящему не любил. Вы первая, единственная, и ваше безразличие хуже пытки. Скажите, что мне сделать, чтобы вернуть вашу дружбу.

Ей все же приятно было слышать эти признания, но внезапная мысль остановила готовые сорваться с языка слова, и Зинаида Степановна произнесла с равнодушием, которое стоило ей невероятных усилий:

— Через час вы будете нежно разговаривать с женой. Приберегите красивые фразы для нее.

Поднялась навстречу мужу, пошла к машине. Остаток пути все молчали. Только шофер изредка напевал что-то под нос.

Мякинину не повезло. В то утро, когда он выехал из лагеря, генерал Жезлов срочно вылетел в дальний гарнизон и в штабе округа его ожидали через пять-шесть дней. Мякинину пришлось пробыть три дня на скучном, как он считал, совещании и отложить осуществление своих планов на неопределенный срок.

На второй день во время перерыва он наскоро закусил в буфете, забрался в безлюдную аллею сада, прилегающего к зданию штаба, и, раздраженный неудачей, вышагивал один, вдали от оживленных групп участников совещания.

Здесь его и нашел Чумак. Насколько у Мякинина было дурное настроение, настолько хорошим оно оказалось у Чумака. Пройдясь с утра по приемным штаба и побалагурив со своими друзьями-адъютантами, он был набит новостями, как полностью заряженный патронами автоматный магазин.

— Вы, товарищ гвардии полковник, уже, наверно, знаете...

И начал рассказывать о выдвижении двух генералов из округа в Министерство обороны, о качествах прибывших им на смену, о большом влиянии молодого полковника, нового начальника отдела кадров, с семьей которого он, Чумак, уже сумел вчера близко познакомиться.

— Славная семья, товарищ гвардии полковник, соседи по дому. Весь вечер с женой пробыл у них. Жаль, не мог до вас дозвониться.

Заметив, как у Мякинина загорелись потухшие было глаза, Чумак понял, насколько тот заинтересован в знакомстве, и поспешил добавить:

— Вы не возражаете, я завтра устрою вам встречу, пожалуй, лучше на нашей квартире. А сегодня прошу вас и Зинаиду Степановну поужинать со мной и моей женой в ресторане.

С новыми планами, навеянными рассказом Чумака, Мякинин пришел в гостиницу, где нетерпеливо

дождалась Зинаида Степановна. Она не дала ему высказаться, настаивала, чтобы он велел шоферу на рассвете отвезти ее обратно в лагерь.

— Ты говорил, что едем к генералу Жезлову, что он тебе нужен. Его нет. Для чего же ты меня держишь?

Если бы не разговор с Чумаком, Мякинин на следующее утро отправил бы, пожалуй, Зинаиду Степановну. Но теперь она ему нужна была больше, чем прежде, чтобы придать знакомству с начальником отдела кадров ту теплоту, которая как-то незаметно сближает людей.

Второй и третий раз звонил Чумака. Зинаида Степановна никак не соглашалась идти в ресторан. Мякинин упрашивал, требовал, пока она не начала одеваться. Не столько настояния мужа, сколько неприкрытая дерзость Чумака заставили ее согласиться пойти знакомиться с его женой. «Зачем ему сводить меня с ней? — размышляла Зинаида Степановна. — Или она старая или глупая... Может быть, Валерий хочет показать мне, что нельзя любить такую...»

Летний ресторан живописно разбросал огни на скальном выступе крутого берега. Чумака с женой давно дожидались Мякининых в примыкающей к ресторану каштановой аллее парка. Выходя из машины, Зинаида Степановна вскинула глаза на Веру Чумака и не заметила никаких признаков увядания или глупой заносчивости. Перед ней стояла стройненькая, худощавая, лет двадцати четырех, женщина, с забавным мальчишеским носом и удивительно большими, доверчиво-грустными глазами. Одета она была скромнее Зинаиды Степановны, в летний костюм, сшитый элегантно, но строго. Держала себя непринужденно, просто. Зинаида Степановна заметила, что Вере Чумака неловко за развязность мужа, успевшего в одну минуту расхвалить и ресторан, и отдельную, приготовленную для них кабинку с лучшим видом на реку, и теплый ароматный вечер, словно и вечер был предоставлен чете Мякининых по его личному заказу.

Стол был сервирован со вкусом. Чумака не поспешил на дорогие вина и закуски. Мякинин, восприняв эти старания как благодарность лично ему, по-дружески обнял Чумака.

— Размах столичный... Уважаю!

Прежде чем сесть за стол, Вера и Зинаида Степановна подошли к парапету, за которым зиял обрыв. Внизу текла широкая, тихая, черная река. В ней, как и в густом черном небе, ярко мерцали звезды. Вдали поверхность реки походила на чешуйчатую спину гигантской рыбы — в воде отражались огни города.

— Так бы всю ночь глядела, — сказала Вера таким тоном, что Зинаида Степановна почувствовала: не рада она этой встрече с незнакомыми людьми, беспокойно на душе молодой женщины.

Подошел Мякинин, взял жену и Веру под руки, повел к столу. Рюмки мужчин были уже наполнены столичной, рюмки женщин мускатом. Мякинин, чтобы сделать приятное Вере, провозгласил тост за здоровье ее отца, генерала Жезлова, за любимых жен. Длинные тонкие пальцы Веры, державшие рюмку, вздрогнули, капля муската опалила белую скатерть. «Она несчастна с Валерием, — мелькнуло у Зинаиды Степановны, — иначе эти сильные белые пальцы, пальцы хирурга, не дрогнули бы».

Джаз-оркестр заиграл медленный танец. Мякинин пригласил Веру.

— Вы пойдете танцевать? — спросил Чумак, подойдя к Зинаиде Степановне.

— С вами? Нет... Почему вы так холодны с женой?

— Вы знаете, почему.

— Она, по-моему, очень хорошая, преданная, и любит вас.

— Меня это не радует, — зашептал Чумак, наклонившись к Зинаиде Степановне — Я люблю вас.

— Замолчите, а то сейчас же уйду!

— Замолчу. Только запомните: у вас есть друг. Он любит вас.

* * *

О предстоящей поездке на завод за боевыми машинами Донцов узнал после возвращения Мякинина из округа. Рассказывая о том, что в штабе округа советовали послать с группой танкистов политработника, Мякинин представил все в таком виде, словно ему

не по душе накануне приезда инспекторской комиссии расстаться с замполитом.

— Трудно будет без тебя, Кузьмич,— жаловался Мякинин. — Но я учел, что ты долгое время в разлуке с семьей. Грешно пропустить такой редкий случай побыть с женой и дочерью.

В иных обстоятельствах Донцов обрадовался бы, а тут решил не ехать. Как можно оставить полк, если вот-вот должна приехать комиссия из округа, если за словами Мякинина так и слышится затаенная мысль: «Я тебя все равно сплавлю».

Причин для этого у Мякинина прибавилось. Когда он отсутствовал, партийное бюро по настоянию Донцова вызвало командира третьей роты капитана Осадчего. Молодой коммунист, признав свою ошибку, заявил, что переписать карточки на нерадивых солдат и оставить незаполненной страницу взысканий ему велел лично полковник Мякинин. Секретарь партбюро, который был против вызова Осадчего, передал обо всем Мякинину, как только тот приехал. Между тем, Мякинин вел себя так, будто ни о чем не знает, и это еще больше усилило подозрение Донцова. «Он с умыслом не ругает Осадчего. Хочет от меня тихо избавиться, чтобы никто не посмел перед комиссией раскопать эту грязную историю с карточками. Позднее разделается и с Осадчим».

— Я сейчас поехать не могу, товарищ гвардии полковник,— категорически отказался Донцов. — Прошу предложить округу кандидатуру другого офицера.

— Не имею оснований предлагать и не имею права отменять приказ. Могу только разрешить взять танкистов по твоему выбору. Отчего не поехать, не пойму?

Донцов не поддавался уговорам Мякинина.

— Танкистов для поездки подберу, а сам останусь. Вы не хотите меня понять, и я вынужден обратиться с рапортом в Политуправление округа. Надеюсь, там разберутся, почему я не могу оставить полк.

— Рапортом навлечешь неприятности на всех,— попытался Мякинин остановить Донцова.

— Наоборот, отведу неприятности.

Чем жарче доказывал Мякинин, тем яснее было Донцову, что без рапорта на этот раз не обойтись.

Лучи заходящего солнца облили бронзой скуластое лицо и мускулистое тело Абая Киримова. Он сидел на нарах без рубахи, в одних трусах, поджав под себя ноги и положив на колени объемистую книгу, а поверх нее раскрытую школьную тетрадь и конверт.

Не спеша, радуясь тому, как это у него здорово получается, Абай выводил буквы и строчки. Закончив третий лист, написал на конверте адрес, с тыловой стороны нарисовал цветными карандашами дорожку и по ней надпись: «Жди, родной Мамлакат».

Он широко, белозубо улыбался, словно видел не буквы, а свою любимую жену здесь, в солдатской палатке. Другам по роте понятна была радость Киримова: в первые дни службы он не мог ни написать, ни произнести по-русски даже несколько слов!

Поближе к выходу оседлал табурет Шота Джавахадзе. Он подшивал подворотничок, почти не глядя на ворот, и уговаривал Зарембу, который стоял в углу у тумбочки, не зная, что делать.

— Пойдем, Васа, телевизор посмотрим.

— Будет праздничный передача, — добавил Киримов, отложил разрисованный конверт и стал натягивать брюки.

Заремба уже склонялся к тому, чтобы идти с товарищами, как крыло у входа откинулось, и со ступеньки в палатку прыгнул Валентин Щеглов. Пилотка и рыжий чуб раздались в стороны — пилотка над левым ухом, чуб над правым. К удивлению, гимнастерка на Щеглове была аккуратно заправлена, и весь он, от выбритого лица до начищенных сапог, был праздничный и словно приутюженный.

— С освобождением тебя, дружище Василий! — воскликнул он весело. — Зачем скучаешь после гауптвахты? Пошли, разговор имею.

— Ищи друга свой рота! — раздраженно заметил Киримов, недовольный приходом Щеглова. — Знаем твой дружба,

— Это твоя запела, солдат малого калибра? — передразнил Щеглов своеобразный говор Киримова. — Как ни гнишь, поясницу не поцелуешь.

— Я тебе такую поясницу покажу — по-пластунски из палатки выползешь! — возмутился Джавахадзе.

— А, еще ефрейтор нашелся... Неспроста говорят: ефрейтор — испорченный солдат, от рядовых отбился, к сержантам не прибился.

Шота поднялся, угрожающе взглянул на болтливого Щеглова, но, увидев, что к нему подходит Заремба, обратился к последнему, кивая с сожалением головой:

— Эх, генацвали, генацвали...

Заремба вышел из палатки первым. Не оглядываясь на Щеглова, пересек переднюю линейку, спортивную площадку и направился к причудливо освещенному вечерней зарей сосновому бору. Ему мерещилось, что стволы охвачены светло-вишневым пламенем, что у них, как и у него, огонь идет изнутри. Щеглов, догоняя, что-то тараторил — смысл его слов до сознания Зарембы не доходил.

От быстрой ходьбы Заремба несколько успокоился. На опушке остановился.

— Почему ты молчишь, Василий? В пятый раз тебя спрашиваю, за что над тобой измываются? Из-за чего страдаешь?

— Виноват, потому страдаю.

— Ерунду городишь! Ты почти до механика-водителя поднялся, а они тебя за это на гауптвахту. Старайся для них после этого.

— Для себя старался.

— Конечно, для себя, я и говорю, — вмиг перестроился Щеглов. — Но ты хотел пользу роте принести, а они тебе в награду — строгий арест. Как ты это терпишь?

Заремба отошел в сторонку, оперся спиной о шершавый ствол сосны.

— Поделом терплю. Замолчи.

С момента поломки трака Заремба не переставал считать себя виноватым.

— Иные косточки перемалывают, аж до печенки доходит — критикой называется, — сказал Щеглов.

— Тебя-то в роте за дело, говорят, критиковали. И не офицеры вовсе — солдаты.

— До тебя дошло? И ты поверил, Вася?

— Раньше не верилось, сегодня подробности узнал. Неужели мать забросил?

В узких глазах Щеглова забежали шельмоватые зрачки. Он хотел оправдаться, но не выдержал настойчивого вопросительного взгляда.

— Не брешут, значит! Бросил, выходит! — тяжело выговорил Заремба, прижимаясь спиной и локтями к дереву.

Разговор с подполковником Донцовым на гауптвахте заставил усомниться в искренности Щеглова. Заремба стал меньше встречаться с ним, но изредка все же тянуло к приятелю, который проще, чем другие солдаты, смотрел на свои обязанности и продолжал вести себя так, словно армейская дисциплина его не касалась. И вдруг он узнал о прошлой жизни Щеглова, увидел приятеля мелким и нечестным.

— Так вот ты какой — мать обманул!

Память Зарембы сохранила еле уловимые черты материнского лица. Они нередко расплывались, теряли определенность, исчезали, и тогда было очень больно. Он закрывал глаза, пытался перенестись мыслями назад, в раннее детство, но четко мог вспомнить лишь угасающий, ласковый голос матери. Думая о своем исковерканном судьбой детстве, о том, что, если бы мать была жива, он не знал бы ни голода в дни войны, ни обид от злых людей, Заремба увидел в поступке Щеглова что-то кощунственное.

— Эх, если бы у меня была мать...

— Не сердись, Вася, — Щеглов поник. — Я же на собрании признал: произошла у меня осечка.

— Осечка?! И совесть позволяет так говорить о твоём отношении к матери!

Заремба оттолкнулся от сосны и, не отзываясь на причитания тянувшегося за ним Щеглова, крупно зашагал к палаткам.

Достаточно было в любой военной среде обмолвиться о генерале «Ветре», как всем ясно было — речь идет о Фроле Петровиче Жезлове. Это прозвище при-

стало к нему еще в годы Отечественной войны, когда он командовал танковым корпусом уральцев, и осталось за ним на будущее.

Да и как было не остаться, если в свои без малого шестьдесят лет Фрол Петрович был более подвижен и напорист, чем иные молодые офицеры. В стужу, под проливным дождем, под палящим солнцем находился он в поле с танкистами. В дни тактических учений часто садился в танк, часами, а то и сутками трясся в машине с закрытыми люками, вместе с солдатами и офицерами переносил невзгоды походной жизни.

Правда, сердце Фрола Петровича начинало сдавать и иной раз пошаливало. Вот и сегодня Вера уложила отца в постель, запретив даже ходить по квартире. Но разве улежит он!

Жезлов, сидя в кресле, вполголоса читал американский журнал, иногда повторяя одно и то же английское слово. Тот, кто не знал близко Фрола Петровича, принял бы сейчас этого грузного мужчину в ворсистой теплой пижаме за сугубо гражданского человека, имеющего отношение к какой угодно деятельности, только не к военной. Между тем он сорок лет отдал службе в армии. В апреле семнадцатого года солдат Петроградского бронедивизиона Фрол Жезлов, не страшась военного суда, вывел броневик к Финляндскому вокзалу встречать Владимира Ильича Ленина. Жезлов был в боевой машине и в июльские дни, и при штурме Зимнего дворца, и в первом бронеотряде конной армии Буденного. Хотя двенадцать старых броневичков, входящих в отряд, никак нельзя было считать бронетанковыми силами, но их зародышем они явились, и не без основания Жезлов с тех пор считал себя танкистом.

Изредка Фрол Петрович протягивал руку за словарем, листал его и, морща лоб, переводил, произнося слова вслух.

— С кем это ты разговариваешь, Петрович?

Жезлов прикрыл журнал, оставив вместо закладки палец, увидел в дверях члена Военного совета генерал-лейтенанта Зорина.

— Статью читаю. С приездом. Садись,

Высокий, худой, с узким лицом и быстрым взглядом горячих глаз, Андрей Михайлович Зорин энергичным шагом прошел к креслу, пожал волосатую, с обрубком большого пальца, руку Жезлова, взял журнал, вслух прочитал подчеркнутое красным карандашом место:

— «Разрабатывается новый тип танка, запас хода которого будет в четыре раза больше чем у нынешних танков». Нашли чем хвастать, запасом хода!

— Они имеют в виду, мне кажется, не то, сколько можно взять на машину горючего, а общий гарантийный километражный пробег. Тут нечего отмахиваться. Надо реально оценивать технику американской армии! — непримиримо отрубил Жезлов.

— Не отстанем, не кипятись, — тонкие губы Зорина раздались в улыбке. — Ты бы, друг мой, посмотрел на наш новый танк — враз бы помолодел!

— Вам показали? Как противопожарное устройство? Автоматика? Действительно, как задумали?

— Лучше, Петрович, лучше. Светлая голова у этой Донцовой. Молодцы конструкторы! Испытания автоматики прошли блестяще. Да разве только танк! Показывали нам на сборах и ракетную технику, и новые самолеты, и орудия. Я, знаешь, за себя побоялся: охвачу ли, не устарел? А ты, Фрол Петрович, — Зорин подмигнул, полусмущливо-полусерьезно спросил, — отстать не боишься?

— От тебя — нет. А от молодежи? — задумался, покачал сдой головой. — Не знаю. По крайней мере, стараюсь не отстать. Говори, что было на сборах? Ты меня восклицательными знаками не насытишь.

— Много неожиданного, прямо-таки чудесного, честное слово!

И Зорин рассказал, как прошли в Министерстве обороны сборы командующих округов и членов Военных советов.

— Дел прибавилось, поспевай только! — заключил он весело. — Ну, а ты, как себя чувствуешь?

— Завтра-послезавтра буду в штабе.

— Что?! — вскочил Зорин. — Запомни: если ослушаешься врачей, командующий накажет. Он так и велел передать.

— Ну, хорошо-хорошо. Все пугаете... Ты, я вижу, не просто пришел навестить — портфель за собой тащишь. Срочное что-нибудь?

— Не скажу, чтобы очень... — Зорин вынул из портфеля несколько исписанных листов, подал Жезлову. — Почитай, пожалуйста, рапорт подполковника Донцова. Хочу знать твое мнение. Мякинин-то твой выдвиженец.

— Почему мой? Я порекомендовал, Военный совет согласился послать его к Целищеву. И теперь верю, что из него хороший командир полка выйдет.

— А все же придется, видать, посмотреть на него с тыла, как он выглядит. Я, правда, не люблю, когда политработники жалуются на командиров, но ты почитай, почитай.

Фрол Петрович начал читать без особого интереса, но когда дошел до описания высокомерия и грубости Мякинина, узнал об указаниях Осадчему заменить солдатские карточки, о попытке снять Киреева и поставить на роту Чумака, тяжело задышал: «Зачем Мякинин так печется о Валерии?» Фрол Петрович вспомнил, что говорила ему Вера о приезде к ней Валерия, как муж знакомил ее с Мякининым и его женой, как лестно отзывался о чуткости Мякинина. «До чего ты доверчива, Верочка, и к этому полковнику и к своему Балерию. Ведь он за лето один лишь раз приезжал...»

Зорин заметил, как заволновался Жезлов, отнял у него рапорт, спрятал в портфель.

— Думаю, Донцов не писал бы без оснований. Возможно, чуть преувеличил только с Чумаком.

— Вряд ли, — Жезлов насупился, жестко сказал: — Я знаю Киреева по боям — Чумака с ним ни в какое сравнение не идет. Скажи, пожалуйста, командующему, что я хочу возглавить комиссию. Надо немедленно поехать, разобраться.

— Командующий решил комиссию к Мякинину сейчас не посылать. К нему придут новые танки, их до учений освоить надо. Вредно отрывать людей от важного дела. Я мыслю так — вскоре туда поеду, присмотрюсь, потом ты на учениях с полком побудешь — ясней станет картина.

— Вот так маневр, Андрей Михайлович! — недовольно заговорил Жезлов. — То считаешь — Донцов

правду пишет, то склонен оттянуть разбор рапорта. Я бы не стал ждать. Виноват Мякинин — сместить. Не виноват — накажите Донцова, чтобы не мучил воду!

— Ты сегодня, как сверхчувствительная мина, чуть притронулся — взорвется, — отшутился Зорин. — После поездки в Москву дел по горло и, хочешь не хочешь, придется повременить.

Зорин ушел. Фрол Петрович лег в постель. От неприятных дум сердце опять защемило, жаркая боль отзывалась в лопатке и в левой руке. Начало темнеть на улице, а Веры все не было. Фрол Петрович дождался, пока часы пробили девять, и стал одеваться, чтобы вернуться в кабинет, позвонить Вере по телефону. В это время послышались шаги дочери — быстрые, нервные, насторожившие Фрола Петровича.

Она внесла в спальню лекарства, поставила их на ночной столик, отошла, отворачивая лицо от отца.

— Погляди на меня, Верочка!

Она приподняла худые плечи, словно хотела спрятать в них коротко остриженную голову; теперь Вера совсем походила на курносого мальчишку.

— Я жду.

Вера боком приблизилась к изголовью. Отец заметил слезы на глазах.

— Что случилось?

— Мне сейчас рассказали... Валерий был в кафе... С молодой женщиной. Он с ней сел в военную машину и...

Вера задыхалась, кусала губы, он легонько гладил ее волосы.

— Когда это было?

— Месяц назад. Он даже не писал, что проезжал мимо, скрыл от меня. Значит...

— Объясни толком, кто тебе говорил?

— Медсестра. Она однажды видела меня на улице с Валерием.

— Однажды? Очень возможно, что она обозналась, даже определенно, обозналась. А ты, как маленькая. Нельзя же так, Верочка!

Фрол Петрович успокаивал дочь, вытирал, как в детстве, ее слезы, а сам чувствовал, что опасения ее не напрасны.

Фрол Петрович не хотел, чтобы Вера вышла замуж

за Чумака. Тот не понравился ему с первой встречи. Чумак много распространялся о своих успехах в училище, заискивающе расспрашивал о том, где лучше служить молодому офицеру. Фрол Петрович высказывал свои сомнения дочери, но она ему отвечала, что он не знает, какой Валерий хороший. Она не говорила, как его любит, но это было видно и без ее уверений.

Какой отец не хочет счастья дочери, да еще единственной! Он надеялся, что Вера будет всегда и везде возле него, а тут молодого офицера должны были для пользы службы и, как генерал считал, для его личной пользы, послать встрой в далекий гарнизон. Фрол Петрович долго колебался. Но когда Вера попросила его помочь Валерию остаться в штабе округа, он пошел на этот раз против своих убеждений и, поддаваясь эгоистическому желанию не отпускать от себя дочь, дал согласие.

Со временем Фрол Петрович увидел, что худшие его опасения сбываются. Старший лейтенант Чумак — адъютант начальника одного из управлений округа — возомнил себя большим военным специалистом, задрал нос. Он раздобыл в свои двадцать четыре года, обрюзг. К Вере стал относиться холодно. Да и были ли у него к ней прежде хотя бы привязанность? Когда отец понял это, он, ничего не говоря, попросил начальника штаба послать Чумака командовать взводом. И тогда Чумак уехал к Мякинину. «Мог ли он быть около дома, так близко от жены, и не зайти? — спрашивал себя Фрол Петрович. — Да, способен. Но где доказательство, что он это сделал? Зачем зря растривать Верочку?»

— Дай мне, пожалуйста, лекарство, — попросил он.

Продолжая всхлипывать, Вера дрожащей рукой наливала лекарство в ложку. «Неужели Валерий мог так?.. А может, медсестра обозналась?»

От писарей штаба — этих наиболее осведомленных солдат — танкисты узнали, как строго подходят к отбору людей для посылки за новыми танками. Прежде всего принимали во внимание дисциплинированность

танкистов. Поведи себя хотя бы один из них недостойно на заводе, об этом стало бы известно в штабе округа, а возможно, и в Министерстве обороны. К тому же вместо Донцова руководителем группы был назначен зампотех полка — опытный военный инженер, но излишне мягкий человек. Это еще больше повысило требования к отбору людей. И вдруг по полку распространилась сенсационная новость: Киреев предложил, а Донцов поддержал кандидатуру Зарембы, и, что особенно поразило, Мякинин подписал приказ, не вычеркнув его фамилии.

Тут даже писари, при всей их склонности прихвастнуть, удивленно пожимали плечами. Что за разговор произошел между генералом Зориным и Мякининым по телефону, они, конечно, не могли знать. Зорин был на этот раз необычайно резок, сказал, что в полк придет не комиссия, что ожидалось прежде, а он сам, и чтобы Мякинин не смел отсылать на завод Донцова, прекратил с ним споры и дразги.

Не спорить — броситься с кулаками хотел бы Мякинин на Донцова, который стал на его пути в такой момент, когда с помощью Чумака удалось близко познакомиться с начальником отдела кадров штаба округа и, казалось, вот-вот станут реальными надежды прочно получить полк. Теперь эти надежды могли рухнуть из-за одного неловкого шага.

И Мякинин, чтобы переждать грозу, изменил тактику.

Рассматривая предложенный Донцовым список танкистов, намеченных к посылке на завод, он читал его лишь формы ради, не видя за фамилиями людей. Полистав список, сказал, что никаких замечаний не имеет, похвалил Донцова за хороший выбор и в тот же день подписал приказ.

Больше других танкистов был озадачен Василий Заремба. Немного времени прошло, как он сидел в одиночной камере гауптвахты, размышляя о том, что поломка трака закрыла ему дорогу к вождению. И вдруг такое решение — послать на завод вместе с лучшими танкистами. Василий сидел в группе счастливых в палатке Николая Кузьмича Донцова, слушал его напутственное слово, и все не мог себе представить, что действительно поедет.

Ответив на вопросы танкистов, Николай Кузьмич попрощался с ними, а Василия попросил задержаться. «Не пошлет! — тоскливо подумал Василий. — Боится, что подведет», — и уткнулся взглядом в стопку книг на столе.

— Я вижу, вы удивлены, что мы вас посылаем на завод. Скажу начистоту, вы человек умный, поймете.

Обычным, неторопливым был голос Николая Кузьмича.

— Когда капитан Киреев предложил вашу кандидатуру, я спросил: «У вас нет сомнений? Заремба ведь человек с норовом». Киреев ответил, что он верит в вас и что вам будет полезно изучить на месте новый танк. Мне понравился ответ капитана. Я давно знаю коллектив завода, знаю, сколько может любознательный человек почерпнуть там полезного, если, конечно, захочет. Вы когда-нибудь бывали на большом заводе?

— Нет. Одни трубы видел, да и те издалека.

— Значит, для вас тем более важна поездка. Узнаете, как трудятся, живут рабочие, и лучше поймете значение нашей службы. Завидую вам, Заремба.

— Почему бы вам не поехать с нами, товарищ гвардии подполковник?

— Нельзя. Посылают, да вот бывает же так, хочешь и не можешь. Поэтому и завидую — у меня ведь семья на том заводе.

— Семья? И не едете?! — Василий был искренне изумлен.

Николай Кузьмич подошел к этажерке, пригласил Василия посмотреть фотографии.

— Это моя жена, а это дочь — Танюша. Хотите к ним зайти? Они у меня хорошие.

— С удовольствием.

— Рады будут. — И, взяв блокнот, на листке написал адрес, протянул блокнот Василию. — А если дам небольшой сверток — не затруднит? Кое-что купил жене и дочери.

— Передам, конечно, — отвечал Василий, довольный, что сможет оказать хотя бы малую услугу офицеру.

Он уносил с собой сверток с гордостью, будто это был драгоценный, лично ему преподнесенный подарок.

* * *

В третью ночь пути Василий дежурил по вагону. Он стоял у раскрытого окна, лицом к прохладному упругому ветру, смотрел на мелькавшие огоньки и вспоминал.

По этой дороге, ведущей из Москвы на восток, его в военное время везли в детский дом. Поезд больше стоял, чем двигался, пропуская на Запад звенящие железом и суровыми песнями составы. На платформах Василий видел накрытые брезентом танки и пушки, в товарных вагонах — людей в шинелях. Он искал среди них и не мог найти своего брата Степана. Не доезжая до Уральского хребта, Василий забрался под вагон встречного поезда, шедшего в Москву, но там с ним повторилось прежнее: его нашли, привели в чистую комнату, помыли, накормили, и с такими же, как он, сиротами повезли в другом направлении, в другой детский дом.

И теперь на его глазах мчались на Запад поезда, звеня железом, но были на них иные машины, иного времени и смысла.

Днем на большегрузных платформах Василий заметил узлы шагающего экскаватора с выпуклым ромбиком из четырех букв «УЗТМ». Не успел Солянин объяснить, что это марка знаменитого Уралмашзавода, как промелькнули огромные ящики с надписями на русском и английском языках — «Свердловск — Бхилаи (Индия). Через Одесса-порт».

«Восток! Не только медь и алюминий, тракторы и сталь, — он шлет стране и нашим далеким друзьям целые заводы, которые сами будут плавить сталь и медь, выпускать машины», — размышлял Василий, провожая взглядом идущие друг за другом составы.

На носках, чтобы не потревожить спящих, обходил Василий вагон. Он — дневальный, друг этих людей. Они, лучшие танкисты полка, считают его равным, они верят ему.

Василий натягивал на одних сползшие одеяла, на других просто смотрел и чувствовал, что все они близки и дороги ему, как был близок и дорог единственный, погибший на войне брат.

В последний перед выездом день прибыл из Москвы ответ на запрос Киреева. Сообщали, что Степан Тимофеевич Заремба был парашютистом-десантником, погиб смертью храбрых в Восточной Пруссии. Никто из танкистов ни в лагере, ни в пути не произносил громких фраз, но в рассказах товарищей о героизме фронтовиков, в их простом и сердечном обращении к нему Василий ощущал теплоту дружеского участия.

Тихо возвратился Василий к раскрытому окну. Ему показалось, что и ночи не было, словно поезд, летя на Восток, приблизил зарю. Посветлела синева неба, обрисовалась на горизонте трепетная алая полоска, — зарождался новый день.

Кто-то подошел, встал за спиной. Василий скосил взгляд, увидел энергичный профиль Солянина.

— Вы что не спите, товарищ гвардии старший сержант? — спросил Василий, незаметно для себя перейдя на «вы». — Я, наверно, разбудил вас?

— Нет. Люблю вставать рано, наблюдать рас-свет.

— Хотите такую картину рисовать?

— Желание, правда, есть, да пейзажи, к сожалению, не получаются.

Солянин уперся высокой грудью на перекладину окна, подставил голову ветру.

— Человека мне как-то легче писать. Когда я был в первом классе, отец взял меня с собой на домну. «Гляди, играет как! Поет чугуны!» — крикнул он мне в минуту выпуска плавки. Я смотрел на падающую в ковш плотную струю металла, на жаркие лица горновых, и они мне показались самыми сильными, самыми красивыми людьми на земле. Побежал домой, схватил краски, стал рисовать. Люди получились больше домны, с такими красными ручищами. Отец пришел, посмеялся, а мать спрятала рисунок — до сих пор хранит.

Детская восторженность пробивалась и сейчас в крупном, с мягкими чертами лице Солянина.

— Жаль, сам-то мало поработал горновым,— продолжал Солянин вполголоса, чтобы не разбудить товарищей.— Потянуло в художественное училище. После армии поступлю иначе. Буду работать и учиться, чугуны плавить и доменщиков рисовать. Хорошо?

Василию приятно было, что Солянин не просто делится с ним, а интересуется его мнением.

— Должно быть...

Словно боясь вспугнуть робкий рассвет, они молчали несколько минут. Потом Солянин спросил:

— Почему не вступаете в комсомол? Сколько нас едет — все, кроме вас, комсомольцы.

Не раз Сочнев и Солянин приглашали Василия на комсомольские беседы, он считал это обычным — приглашали многих из роты. Тут же Солянин обратился к нему с прямым вопросом, обратился тоже на «вы», подчеркивая тоном уважение к собеседнику:

— Плохой из меня комсомолец,— помедлив, произнес Василий.— Две гауптвахты... Два пятна в солдатской карточке, на биографии, можно сказать.

— А пятая благодарность, которую вы получили за стрельбу из автомата! Страшна, Заремба, не гауптвахта, плохо, если человек своих недостатков не видит. Надумаете заявление подать, я за вас поручусь.

— Подождать бы надо,— упирался Василий, а самому так и хотелось поблагодарить Солянина и тут же, в поезде, написать и отдать ему заявление.

— Вольному воля... Смотрите — горы!

Поезд огибал гряды лесистых холмов, впереди виднелись склоны гор.

В общежитии рабочей молодежи армейцам отвели две комнаты. В большой разместились рядовые и сержанты, в маленькой — трое офицеров.

Хотя и легли танкисты поздно ночью, по привычке встали в шесть утра, сделали зарядку, начали бриться.

Зампотех договорился с руководителями завода, что в течение двух недель, до начала отгрузки боевых машин, танкисты будут в сборочном цехе и на танко-

дроме знакомиться с новой техникой. К занятиям решили приступить со следующего дня, а в оставшееся до вечера время походить по заводу как экскурсанты.

Инженер-экскурсовод показал гвардейцам сложный процесс рождения машин — от литейного до сборочного. В сборочный стекались из соседних цехов и далеких предприятий агрегаты и детали, сгустки мысли и энергии конструкторов, инженеров и рабочих многих отраслей промышленности. Металлурги отливали сверхстойкую броню, моторостроители создавали мощный двигатель, творцы артиллерийских систем и прицельных приспособлений сделали меткую пушку и необычные всевидящие прицелы. Но главное оставалось создать танкостроителям. Они сконструировали новый танк, сделали большинство его узлов и деталей, собрали могучую машину. И вот танкисты облепили ее со всех сторон. Они спускались в башню, забирались на место механика-водителя, орудовали рычагами управления, осматривали зоркие прицелы и небывалую в танках автоматическую противопожарную систему.

— Разрешите включить автоматику,— попросил Солянин инженера.

— Попробую уговорить мастера, он здесь всему голова,— ответил инженер и направился к Павлу Ивановичу Крайнову.

Пока танкисты слушали рассказ инженера-экскурсовода о технических и боевых возможностях машины, Павел Иванович стоял по другую сторону пролета с Шурой Богатыревой и с любопытством следил за оживленной группой танкистов.

— Не гости они — хозяева. Гляди, как придирчивы,— говорил он, подняв ершистые брови.

Когда инженер передал просьбу танкистов, Павел Иванович кивнул Шуре «пойдем», приосанился.

Танкисты взяли мастера в плотное кольцо, наперебой расспрашивали о танке. Павел Иванович отвечал сдержанно, не выходил за рамки вопросов, хотя было желание говорить подробно о пережитом в последние месяцы. Он мог бы рассказать, сколько сил отняли у сборщиков и конструкторов дни неудач с автомати-

кой, как каждый старался помочь Елене Васильевне, как недосыпали, нередко ругали технологов, электриков, конструкторов за то, что вновь ускользает зыбкое мгновение, единственно пригодное для включения автоматического противопожарного устройства. Но Павел Иванович ничего о пережитом не сказал. Услышав просьбу танкистов запустить противопожарную систему, он выбрался из кольца, посмотрел на то место, где оставил Шуру. Ее там не оказалось.

— Куда девалась зеленоглазая? — удивился Павел Иванович.

Василий видел, как девушка, приотстав от Павла Ивановича, подняла тонкий шланг, лежавший возле гусеницы, и, пока мастер разговаривал с танкистами, по-хозяйски свертывала шланг в кольцо. Кого-то напоминала ему эта кудрявая девушка с острыми плечиками. Он напрягал память и никак не мог припомнить, где он ее видел и действительно ли видел когда-нибудь. А она, кинув свернутый шланг в угол, ловко прыгнула на крыло танка, с крыла на башню, и скрылась в люке.

— В танк спустилась, товарищ мастер, — ответил Василий Павлу Ивановичу, который стал забираться на машину. Очень хотелось, чтобы мастер разрешил ему быть в танке во время испытаний противопожарной системы, но тот позвал Солянина, и крышки за ними захлопнулись.

Когда автоматику выключили, и сияющий Солянин стал делиться с товарищами тем, что видел в танке, Василия прижали к машине и он упустил возможность еще раз посмотреть на девушку. Она исчезла с участка, будто ее и не было.

Вечером, попросив разрешение у зампотеха, Василий взял сверток и направился на квартиру семьи Донцова. Он шел по незнакомым улицам заводского поселка, замедляя шаг у красочно оформленных витрин магазинов, а на площади, откуда веером расходились несколько улиц, остановился. Возле чугунной оградки сквера стояли женщины с букетами цветов. Его удивило, что на земле, о которой кое-кто на Украине отзывался, как о бесплодной, люди сумели вырастить такие крупные ароматные цветы. Словоохотливые старушки, довольные, что солдат не обошел их,

скромно хвалили свои букеты, ненавязчиво предлагали пурпурные, розовые, белые георгины и розы, нежные, с длинными стеблями гладиолусы. Эти цветы больше всего понравились Василию. Они нагибались к нему множеством раскрывающихся бутонов, поражали мягкими переливами цвета и, не зная для кого и зачем, Василий купил два гладиолуса. Уже у подъезда трехэтажного дома, сверяя по блокноту адрес, Василий надумал сказать Донцовой, что муж хотел послать ей и дочери цветы, да они бы повяли в дороге — вот он и поручил купить цветы на месте.

Василий позвонил, дверь открыли, и он чуть не уронил сверток и цветы. Перед ним в кухонном переднике и белой косынке, завязанной концами под подбородком, стояла та самая зеленоглазая девушка, которую он днем встретил на сборке. Теперь он вспомнил, где ее прежде видел, — в палатке Донцова, на фотографии вместе с его дочкой.

— Вы, вероятно, от Николая Кузьмича? — На ее круглых щеках обозначились ямочки. Она старалась не замечать его неловкости.

— Так точно. К Елене Васильевне Донцовой! — отчеканил Василий, вытянув по швам руки и забыв, что держит цветы. Должно быть, он выглядел комичным в положении «смирно», с опущенными вниз и достающими до пола гладиолусами. Девушка открыто и дружески рассмеялась.

— Вы рапортуете, как перед генералом.

Он смутился, поднял руку с качающимися растопыренными цветами, а она, застыдившись своего смеха, заторопилась пригласить гостя:

— Заходите. Елена Васильевна с Танюшей вот-вот придут. А меня извините, — пельмени разварятся...

В передней от входной до раскрытой кухонной двери лежала солнечная тропка. Василий затоптался на месте, не решаясь ступить на блестящий, зеркально чистый и гладкий линолеум.

— Сапоги у меня пыльные, — оправдывался он.

— Что вы! В сапоги ваши хоть посмотрись. — Она раскрыла дверь в столовую. — Входите.

— Разрешите подождать на кухне.

— Если хотите... — и пожала худыми покатыми плечиками.

Оставив пилотку и сверток на вешалке и пригладив ладонью короткий ежик на голове, Василий вошел вслед за девушкой на кухню. Небольшая, квадратная, недавно побеленная, она вся купалась в ярком свете, выставляя напоказ полочки шкафа с блестящими доньшками алюминиевой посуды. Крышка кастрюли, стоявшей на включенной электроплитке, словно отбивала чечетку. С шипением вырывался пар, разнося аппетитный запах. Девушка сняла крышку, вынула готовые пельмешки, опустила в кипяток новую порцию.

Хозяйничала она ловко, с увлечением. От горячего пара порозовели щеки, прилипло ко лбу непослушное колечко волос. Василий подумал, что она очень мила и, должно быть, непомерно горда этим.

Девушка повернулась к нему.

— Присядьте, товарищ... Не знаю, как вас по фамилии.

— Простите, что я не представился. Василий Заремба.

— Меня зовут Шурой.

Она взяла из шкафа вазу, налила в нее воду из-под крана.

— Ставьте цветы. Будете уходить — возьмете. Девушке, наверно?

— Нет... Николай Кузьмич просил... купить для семьи...

Ему было не по себе, что приходится говорить неправду, и, поставив гладиолусы в вазу, сел так, чтобы Шура видела лишь его профиль.

Шура поставила вазу с цветами на столик, опять взялась за пельмени. Она раскатывала и резала тесто, ленила пельмешки до того быстро, искусно, что белые тонкие пальцы лишь мелькали перед глазами.

— Пельмени-малютки, — прервал тишину Василий. — Пожалуй, пять их поместится в один украинский вареник.

— Маленькие да вкусные, — охотно отозвалась Шура, — особенно с уксусом. В столовой вам не готовят таких?

— Нужна была бы рота поваров, чтобы полк накормить, — и Василий рассказал, как Шота Джавахадзе, впервые попав в наряд на кухню, задумал при-

готовить себе шашлык на штыке карабина и заработал три наряда вне очереди.

— Больше он шашлыка не захотел?

Оба рассмеялись и не расслышали, как в замке забрякал ключ и в переднюю вошли Елена Васильевна с Танюшей. Девочка вбежала на кухню и, увидев военного, позвала:

— Мама! От папы приехали!

Рослая для своих тринадцати лет, с таким же, как у Николая Кузьмича, высоким лбом и веселыми глазами, Танюша уставилась на Василия. Заметив, что дядя в мундире и погонах отворачивает от нее побавровевшее курносое лицо, она фыркнула, тыльной стороной ладошки прикрыла рот, чтобы не расхохотаться.

— Скорее же, мамочка!

Елена Васильевна вошла на кухню, обрадованно протянула руку Василию.

— Николай Кузьмич писал, что вы зайдете. Василий Заремба, кажется? Если можно, буду звать вас по имени.

Она так просто и ласково обратилась к нему, что он сразу же оправился от смущения, вручил ей посылочку.

— И цветы папа прислал? — спрашивала Танюша. — Какие славные!

— Здесь купил... Папа велел купить.

— Как вы узнали, что нам нравятся гладнолусы? Особенно их обожает Шура. Ах, Шура, — слегка пожурела Елена Васильевна, — как ты могла? Гостя — и на кухню! Таня, води дядю Васю в столовую, ужинать будем.

— Простите, Елена Васильевна, я должен уйти, — попытался Василий найти повод для отказа от ужина.

— Ни за что не отпустим. Если нужно, позвоню, объясню вашему начальнику, почему задерживаетесь. Идемте в столовую.

Ужин проходил в непринужденном разговоре. Василий отвечал Елене Васильевне на вопросы о муже, о том, как ему, Василию, нравится завод. Потом Таня села за пианино. Елена Васильевна стояла возле нее, положив по-девичьи тонкие руки на спинку стула.

Глаза были грустными, должно быть, оттого, что нет рядом мужа.

— Сыграй, Таня, что-нибудь из того, что папа любит, — сказала Елена Васильевна.

Василий не знал, что играет Таня, не мог бы сказать, хорошо ли она играет, но ему были по душе переливы звуков. Они волновали, как и редкие в его сторону взгляды Шуры — задумчивые и теплые.

23

Пригож ранним утром заводской поселок. Прохладный, как всегда на исходе лета, воздух чист и светел. Поблескивали росой чуть схваченные желтизной листья ясеня и тополя. Оранжевыми глазками смотрели они на людской поток, устремившийся к проходной завода.

Чем ближе к заводу, тем шире и гуще поток, преодолеет его движение. Подхваченный могучим течением, Василий чувствовал себя частицей рабочего коллектива. Подобно тысячам людей, он шел на трудовую вахту, как на праздник.

Неделя всего минула со дня приезда на завод, а сборочный цех все больше притягивал Василия, точно он вырос в нем. Как приятно взбежать по железной лестнице в бытовое помещение, отпереть свой шкафчик, облачиться в спецовку и доложить Павлу Ивановичу Крайнову, что готов к любой работе.

— Что тебе сегодня придумать? — обычно спрашивал Павел Иванович, и чаще всего посылал Василия в бригаду электриков Шуры Богатыревой.

Шура не скрывала, что довольна учеником, учила его охотно, но и требовала от Василия ничуть не меньше, чем от других ребят и девушек бригады.

А в этот день электриков разбросали по разным участкам, и Павел Иванович, действительно, затруднялся, куда поставить Василия.

— Ну, походи, погляди, не каждый же день работать, — уговаривал он.

— Я слышал — слесарь заболел, — не отставал Василий. — Могу заменить.

— Смотри, парень, под днищем работать придется — муторно и сложно.

— Справлюсь, Павел Иванович, — уверял Василий.

К обеду он так намаялся возле десантного люка, что и есть не хотелось. Шел по участку, на котором продолжал, несмотря на перерыв, гудеть станок фрезеровщика Сени. Движения его были настолько непринужденны и расчетливы, что Василий залюбовался.

— Почему рабочий класс перерыв не соблюдает? — спросил он.

— Деньги нужны, жениться надумал! — и улыбочиво сверкнув глазами, фрезеровщик похвалился. — А тут сам директор наведалься: «Выручай, Сеня, план», говорит. Вот и жму — за четыре часа две дневные нормы. Неплохо?

— Здорово! — восхитился Василий.

Довольный, что танкист с завистью смотрит на него, Сеня игриво поднял новую заготовку, переброесил ее из одной руки в другую, закрепил на станке, дал полные обороты фрезе.

— За полгода освоил бы? — хвастливо спросил Сеня.

— Такие детали? За месяц, наверно.

— Артист! — Сеня надменно поглядел на собеседника. — Это тебе не девчонка — познакомился, на танцы сводил и голову вскружил.

— Наоборот, чтобы хорошей девушке понравиться и года мало.

— Смотря кто ухаживает, — Сеня стал влажной ветошью протирать руки. — Пожалуй, тебя допустили бы к станку. Одно только условие.

— Какое?

— Отстань от Шуры.

Василий усмехнулся:

— Я к ней не приставал.

— Не притворяйся. Вижу, все вокруг вертишься. Даже в столовой — за одним столиком.

— Вроде я и гостем у вас, товарищ Сеня, но вы мне в таких делах не указ.

— Подумай, не оставишь Шуру, может случиться неприятность.

Василий сощурился, вплотную подошел к фрезеровщику.

— Я тоже однажды вздумал угрожать и в дураках остался.

— Пожалуешься?

— Нет. Сам управлюсь.

Наскоро пообедав, Василий возвратился на участок, и тут, наедине с работой и с самим собой, мысли о Шуре стали и вовсе неотступными. «Какой я наивный,— думал он.— Помогает мне в цехе, учит — что из того? И Павел Иванович, и другие сборщики тоже учат... Сходила со мной в кино — в тот вечер немало девушек сидели рядом с танкистами... Улыбается мне, а кому она не улыбается — одному Сене! Может быть, этим она его и отличает от других. Говорят, они поссорились, перестали встречаться... Такое бывает между влюбленными. Он парень красивый, отлично работает, — разве такой не понравится девушке!..»

Кончилась смена. Рабочие ушли в душевую, некоторые уже возвращались переодетые, а Василий все еще копался под танком, убеждая себя, что делает это, чтобы выполнить норму слесаря, а на самом деле хотел переждать, ему казалось — стоит выйти как ему встретится Сеня обязательно с Шурой. И вдруг Василий увидел из-под танка босоножки на высоком каблуке, с потертым лаком и сетчатым ремешковым носком. Босоножки замерли возле колонны, повертелись, подошли к его танку, опять сделали полукруг. «Шура! — узнал он по обуви, — Кого она ищет?» Близкие шаги заставили скосить глаза — справа приближались желтые полуботинки и узкие модные брюки Сени.

— Не меня ли потеряла? — слышался его задиристый голос.

— Пржеде не отчитывалась перед тобой, тем более теперь, — ответила Шура и шагнула вбок, видимо, хотела уйти.

Полуботинки преградили дорогу.

— Догадаться нетрудно — курного танкиста ищешь...

— Если еще хотя бы словом обидишь гостя, вторую пощечину получишь — на этот раз при всех, в цехе!

Босоножки круто повернулись, быстро потопали в глубь цеха. Полуботинки удалились в другую сторону.

Послышался привычный шум, рабочие второй смены начали запускать станки. Василий ощутил в себе такую силу, что, казалось, стоит ему приподняться под днищем, и подымет огромную машину. Он выбрался из-под танка, сел на крыло корпуса, ликующий. «Я ей небезразличен!» — думал он, забыв о товарищах, которые искали его, и не заметил, как к нему подошли Павел Иванович Крайнов и Елена Васильевна.

— Почему немытый? Зампотех тебя спрашивал, товарищи ждут, — сказал мастер, и стал проверять сделанное Василием за день. Он приседал с одной стороны танка, с другой, и, наконец, развел руками.

— Хотел придрататься, да не к чему. Толково, толково! Ну, иди, отдыхай, воин-слесарь!

Глядя вслед плотному, широкоплечему, чуть покачивающемуся на ходу Василию, Павел Иванович с удовольствием поглаживал иссеченный глубокими бороздками подбородок:

— Бойкий! Слесаря-сборщика заменил, и не хуже того сработал. Не попросить ли нам, Елена Васильевна, директора премировать лучших танкистов. Надо бы, а?

— Поговорю, Павел Иванович. Они заслужили.

Два дня подряд танкисты выезжали с Еленой Васильевной на танкодром, и Василий не видел Шуру. К концу второго дня он надеялся встретить ее, когда она пойдет после смены в техникум, но вождение затянулось, и танкисты возвратились в общежитие к ужину. После ужина Василий, получив разрешение у офицера, направился в техникум.

В вестибюле четырехэтажного здания стояла та напряженная тишина, которая в любой момент готова прорваться хлопаньем дверей, гулом сотен голосов. За перегородкой гардероба стояла дородная женщина в темном платье. Услышав шаги, она подняла голову, вышла из-за перегородки.

— Добрый вечер, сыночек! — ответила она Василию, неторопко оглядывая его лицо, мундир, погоны с эмблемами танков. По ее скуластому крупному

отечному лицу пробежала тень. Она вздохнула, но тут же упрятала в себе что-то горестное, заговорила ласково:

— Тебе кого — директора? Немножко запоздал. Его не всегда застать можно. Он туда, сюда — везде. Когда уходил, сказал: ты, тетя Оля, как мой заместитель по чистоте и порядку скажи, ежели кто спрашивать будет, пошел во Дворец культуры. А ты по какому делу? Демобилизованный? Наверно, учиться желательно?

— В будущем году демобилизуюсь, а учиться кто не хочет!

— Видно, человек ты с понятием. Только дурачкам в наше время не образовываться...

— Это верно вы сказали, извините, не знаю вашего имени-отчества.

— В поселке тетей Олей зовут. Зови и ты так.

— На какой же вы должности, тетя Оля?

— Должность моя простая — гардеробщица. Но я выборное лицо — депутат районного Совета. Детскими делами занимаемся, еще озеленением. Молодежь очень много помогает.

По этажам, по коридорам покатился звонок. Его заглушил скрип дверей, топот, шум голосов. Василий решил подождать Шуру в подъезде.

— До свиданья, тетя Оля. Скажите директору, что завербовали будущего студента.

— Ко мне заходи, сыночек, — заторопилась она высказать, может быть, главное из того, что ей хотелось сказать с самого начала. — Мичурина, номер шесть, запомнишь?

— Запомню, тетя Оля.

Он прикрыл за собою дверь, встал в тени подъезда так, чтобы видеть всех выходящих, а самому быть незаметным. Ждать пришлось долго. Наконец, промелькнула знакомая головка со светлыми завитушками, подобранными позади лентой, синяя вязаная кофточка. Василий пошел вслед.

— Шура!

Она чуть укоротила шаг, не ответила на его приветствие, сказала, словно они уже давно были вместе:

— Я бы хотела пройти через сквер, голова разболелась.

— Вы устали, мало, наверно, спите.

— Не проспать же полжизни, она и без того короткая...

Безразличный тон озадачил Василия. После двух дней, что они не виделись, он надеялся если не на особенную радость с ее стороны, то на теплое слово. Кажется, не было минуты в прошедшие дни, чтобы он не думал о ней, не рисовал себе их разговоры и свидания. Порой его угнетала мысль, что Шура предпочитает рабочего парня. Зачем ей знакомство с солдатом — сегодня он здесь, завтра — в другом конце страны и, гляди, никогда не встретятся.

Молчание стало тягостным, и она спросила, возможно, только потому, что неудобно было больше молчать.

— У вас какое образование, Василий?

— Из седьмого класса ушел на производство, потом — армия.

— Разве в полку нельзя получить среднее образование?

— Армия не десятилетка.

— Жаль. У нас почти вся молодежь или в вечерних школах, или в техникуме, а то и в институте. А после армии?

— Пойду учиться. Тетя Оля обещала меня принять... Вы бы хотели, чтобы я приехал в будущем году? — спросил он неожиданно.

Она пожала плечами.

Пересекли мостовую, вошли в сквер. Рядом с акацией были высажены редкие в этих местах липы. Посредине площадок, окруженных мелколистным кустарником, красовались различных форм и рисунков клумбы. Белый табак издали давал о себе знать острым запахом.

— Представьте себе на этом месте свалку, горы камней, — заговорила Шура. — А теперь — какая прелесть!

— Да, тетя Оля мне рассказывала, молодежь все хвалила.

Шура оживилась.

— Всегда тетя Оля молодежь хвалит, а сама сколько для нас делает. Вы не знаете, Василий, что это за человек!

— Вроде заместителя директора...

— Не смейтесь! — голос стал взволнованным. — Трех сыновей вырастила без мужа — его в этом же поселке расстреляли белогвардейцы. Сыновья были один лучше другого — умные, гордость завода. Ушли в армию, довоевали почти до самого конца. Тетя Оля ждала уже не писем, а сыновей, и вдруг — три извещения. Старший погиб под Берлином, средний — в Югославии, младший — в Праге, в последний час войны. Думали, тетя Оля тронулась умом. Утреннюю смену, как и всю войну, работала в инструментальном, а потом до поздней ночи стояла возле станков в механическом и у вагранки литейного цеха, где сыновья когда-то работали. Не говоря ни слова, убирала стружку возле станков, подбирала мусор у вагранки, и только изредка уставится на человека и зовет его именем одного из сыновей... Позднее ее уговорили пойти в техникум.

Василий вспомнил, как дрожали руки тети Оли, когда она коснулась его мундира, и понял, почему она с такой неподдельной лаской называла его сыночком.

У выхода из сквера, возле бассейна, стояли пьяные парни. Один — рослый, стройный, в чесучевом костюме и шляпе, надвинутой на лоб, пошел навстречу:

— Вечер добрый, царица сборки! — проговорил он заплетающимся языком. Василий узнал Сеню. — Друзья! Искупаем ухажера?

Трое загоготали, подошли ближе, им понравилось, должно быть, предложение. Василий измерил глазами расстояние до Сени и его друзей, прикидывая — обороняться или самому начать кидать их в воду, но Шура взяла его под руку и пошла прямо на Сеню.

— Прочь, мокрицы! — сказала она гневно, и парни раздались в стороны. Пройдя мимо, Шура в упор посмотрела на Сеню:

— Им, бездельникам, лишь бы шлаться по ночам. А тебе завтра на работу. Иди выспись!

Василий уловил в ее голосе и тревогу и жалость. «Не любила бы Сеню, не говорила бы с ним так», — с ревностью и обидой подумал он.

В воскресенье сборщики с семьями выехали по грибы, взяли они в лес и танкистов. Когда сошли с грузовиков, Павел Иванович предложил девушкам:

— Заставьте их, девчата, наполнить ведра и плетенки. Иначе на ужин не зовите.

Шура пригласила Василия. А он застыл в нерешимости, раздумывая, отказаться или пойти с ней.

Накануне Василий был у тети Оли, у Елены Васильевны, но встретить Шуру так и не смог.

Уже в общежитии Шота Джавахадзе рассказал, что он видел Шуру вечером. Девушка, которую Шота провожал, сказала, что Шура зашла в подъезд, где живет фрезеровщик Сеня.

— Зачем зеленый стал, как незрелый баклажан? — спрашивал Джавахадзе. — Зачем себя казнить? Не беспокойся. Она тебя уважает, может, любит.

Василий тревожно спал этой ночью. То Шура являлась в мыслях такой же, как при первой встрече, то под руку с Сеней, и ему слышались голоса: «Какая красивая пара...» До службы в армии Василию нравилась Зоя, работница гаража. Ему казалось иногда, что он любит ее. Но расставание прошло легко. Василий немного поскучал и забыл свою приятельницу. Теперь все было по-другому, и сама Шура была иной. Возле нее хотелось быть сдержанней, лучше. Он и не подумал искать в ней недостатков. И вдруг она не сдержала слова — не пришла к тете Оле, побежала к пьянице и пижону...

По дороге в лес Василий не видел Шуру, она приехала на последнем грузовике, и ее приглашение застало его врасплох.

— Не хотите со мной грибы собирать? — спросила она.

Он словно очнулся: «Может быть, она не к Сене шла, ведь в подъезде десяток квартир. Надо выяснить...» Он взял у нее сумку-плетенку, пошел по левую руку, в полушаге позади девушки.

Некоторое время они шли молча. Каждый ждал от другого первых слов, ждал столько, что уже и голосов поблизости не было слышно и редкий лес сменился густыми зарослями.

— Вы, кажется, обижены, что я вчера не пришла? — начала Шура, не поворачивая головы к Василию. — Не лучше ли прежде узнать, а потом обижаться.

Он поднял голову, задышал свободней, надеясь услышать, что она вчера вовсе и не заходила к Сене.

— Заболела сестра Сени, моя подруга по техникуму. Они живут одни, без родителей, а братец даже врача не вызвал. Ночью положили ее в больницу.

— И он был в больнице?

— Прибежал поздно, когда ее уже унесли в палату.

Василий понимал, что Шура не могла не пойти к больной подруге, но в воспаленную голову все же лезли всякие подозрения.

— Ну-ка, смотрите, как надо собирать! — скомандовала Шура и нагнулась за грибом.

Грибы словно сами просились ей в руки. Стоило ей нагнуться, как в плетенку падали красно-желтые подосиновики, щекастые синявки и маслята, желтые лисички.

— Придете к Елене Васильевне на ужин? Маслят и синявок поджарю — объедение!

Он не ответил, будто не расслышал.

Заметив на взгорке оранжево-красную полоску рябинника, Шура пошла вверх. Рябины, выбежавшие на взгорок, словно держали над собой зонты, усеянные множеством пучков румяных спелых ягод. Шура сорвала пучок рябины, закрепила в волосах, над правым маленьким ухом, затянула протяжно и чуть насмешливо:

Вечер тихой песнею
Над рекой плывет,
Дальними зарницами
Светится завод.

Где-то поезд катится
Точками огня,
Где-то под рябинушкой
Парни ждут меня.

Василий слышал в общежитии эту песню. Ему нравилась ее широта и мягкость. А тут он воспринял ее

по-иному. Ему показалось, Шура давала ему понять этой песней, что ему не на что надеяться — вон сколько замечательных ребят на заводе, и его она пригласила лишь потому, что Павел Иванович подсказал.

В цехе и короткие
Встречи горячи,
А сойдемся вечером —
Сядем и молчим.
Смотрят звезды летние
Молча на парней,
И не скажут ясные,
Кто из них милей...

«Когда будет конец этой песне? И зачем я пошел с Шурой?»

Василий приотстал от девушки.

— Вася! Живее! Груздей тут много! — раздался на противоположной стороне взгорка звонкий голос.

Приблизившись, он увидел, как Шура ловко и осторожно отбрасывала напитанную влагой корочку земли, как выглянула из-под бугорка белая мохнатая шляпка груздя.

— Отчего нахохлились? Песня не по душе? Хотите веселую?

— Нет уж, не надо.

— Вот оно что! — зеленые глазки расширились. — Впредь буду вам писать рапорт по форме: товарищу гвардии танкисту Зарембе. Разрешите что-нибудь спеть?

— Не надо, Шура, прошу вас.

— Ой, Вася, какой вы скучный!

Смеясь и расставив руки для равновесия, она пошла по стволу сосны, вырванной с корнем во время грозы. Не дойдя до конца ствола, соскочила, подождала, пока Василий приблизился и, повернув к нему лицо, ставшее вдруг пунцовым, смущенно сказала:

— А ваши гладиолусы вторую неделю цветут. Бутоны все распускаются и распускаются...

Ее неожиданное смущение, эти слова, произнесенные с тихой радостью, сделали и день светлее, и лес еще более прекрасным.

Когда машины возвращались к поселку, солнце

уже шло на закат. Раскаленный диск постепенно остывал, сверкал холодной краснотой, тонул за лесом. Вот уже скрылся и гребень солнца, а облака все еще пылали дивным светом. Василий сидел в кузове рядом с Шурой, смотрел на нее, на облака, и ему казалось, что в них таятся такие же, как и в глубинах гор, самоцветы, что солнце разукрасило и перистые облака, и пестрый платок на худых плечиках Шуры, и ее чистое свежее лицо. Если бы не ребята и девчата кругом, он тут же, наверное, сказал бы ей, что она теперь самый дорогой ему на свете человек.

— Будто год вас знаю, Шура, а не две недели,— прошептал Василий.

— И я... Я тоже,— призналась она.



Часть вторая
ИСПЫТАНИЯ



Р

1

овной линией вытянулись на лагерном поле новые, с покатыми башнями и длинными пушечными стволами, танки. Тот, кто видел их впервые, не мог налюбоваться мягкой округлостью брони, совершенством форм.

По другую сторону поля жались к роще отслужившие свой срок и подготовленные к отправке на переплав «тридцатьчетверки». У них были почти вдвое меньше по размерам орудия и башни, более тонкая, чем у прибывших собратьев, броня. Им, казалось, неловко было глядеть малым пушечным оком на гордые, впервые появившиеся в военном лагере машины. Но при всем различии, может быть, никогда прежде взгляды гвардейцев не ласкали эти получившие отставку танки с такой сердечностью, как теперь.

Старшина Сочнев не мог отойти от «тридцатьчетверки». На таком же танке он начал воевать, горел от прямого попадания снаряда и спас экипаж и машину, на быстром ходу сбив пламя ветром. Сколько раз он шел в атаку на немецкие «пантеры» и «тигры» и побеждал благодаря быстроте, маневренности и огневой мощи «тридцатьчетверки». Он знает ее, как знает свою жизнь, как верного друга, с которым привык делить и радость и горе.

Больно было оторваться от танка и Василию. Он ходил по пятам механика-водителя и так же, как тот, трогал рукой шершавые отметины на броне. Давно ли он считал эту машину чуть ли не первопричиной всех своих бед и неудач, давно ли перестал мечтать о том дне, когда уйдет из полка и получит хотя бы старенький истрепанный «ЗИС», — любой автомобиль ему казался несравненно лучше этой машины. А прошло всего одно лето и он вспоминает свои успехи и ошибки, людей, которые привили ему любовь к танку, вспоминает и по-хорошему волнуется.

Задумчивый стоял у командирской машины Киреев. Два последних дня он сдавал приемщику «тридцатьчетверки» своей роты. Никто от него не требовал многого, а он переживал, если находил в каком-нибудь уголке пыль, будто танки направлялись не на переплав в мартеновскую печь, а на смотр. Киреев вспоминал, как обучался в училище вождению и стрельбе на такой же машине, как прорвался на таком же танке к рейхстагу, а затем совершил на нем в составе Уральского добровольческого танкового корпуса последний стремительный марш-маневр на Прагу.

Словно не с танками прощался Киреев, а со своей в боях проведенной молодостью.

Долго еще стояли бы гвардейцы у старых машин, если бы не команда строиться. Шеренги замерли невдалеке от новых танков. На краю поля показались генерал Зорин и двое незнакомых. Странно было видеть среди парадных мундиров гражданские костюмы. «Кто это?» — тихо спрашивали гвардейцы и те из воинов, которые ездили на завод, отвечали: «Делегаты. Мужчина — сборщик Крайнов, женщина — старший конструктор». — «Говорят, жена замполита?» — «Да, Еленой Васильевной звать».

Полковник Мякинин вышел навстречу генералу Зорину и гостям. Остановился от них в четырех шагах, доложил:

— Товарищ генерал! Танковый полк для получения новой техники построен. Заместитель командира полка гвардии полковник Мякинин.

Зорин поздоровался с гвардейцами и зашагал с гостями к правофланговому танку. Гвардейцы с уважением смотрели на женщину-конструктора, шедшую по

правую руку от генерала. В синем, свободного покроя костюме, светлой шляпке, прикрывающей на затылке высокую прическу, она выделялась среди военных. Улыбалась ее открытое, полное, с приятным загаром лицо. А Николаю Кузьмичу, стоящему в отдалении, на противоположном конце длинных шеренг, виделось худенькое, изжелта-бледное личико девушки, встретившейся ему в сборочном цехе пятнадцать лет назад, и чувства к ней были такими же чистыми и сильными, как тогда после первых встреч.

Зорин наклонил голову в сторону Елены Васильевны:

— Военный совет приглашает вас присутствовать на тактических учениях.

— Благодарю. К сожалению, не смогу столько времени пробыть у вас.

— Так скоро от мужа?

— Ничего не поделаешь, Андрей Михайлович. Сюда завод перевести невозможно, а мы, как вы уже знаете, новую машину задумали. Может быть, она вам не нужна?..

— Очень даже нужна, Елена Васильевна, и как можно скорее.

Зорин легко взбежал по лестничке, подал руку гостье, и через минуту рядом с ним на широкой спине танка, превращенного в трибуну, стояла Елена Васильевна и Крайнов. По полю разнесся резкий, с хрипотой, голос Зорина:

— Товарищи солдаты и сержанты, старшины и офицеры! Славные гвардейцы-танкисты! Вы сейчас получите новые танки. В них — любовь народа к вам, в них — труд создателей, в них — светлый ум и горячее сердце рабочего класса и нашей интеллигенции. Рядом со мной вы видите лучшего сборщика завода Павла Ивановича Крайнова и конструктора Елену Васильевну Донцову. Им, и через них всему славному коллективу танкостроителей от всего солдатского сердца скажем: «Спасибо!»

Неуставное слово. Никто никогда не произносил его в строю. Но оно было подхвачено мгновенно, словно ветром, и понеслось вдаль, звучное, звонкое, в сплетении с многоустым «ура».

Генерал Зорин вместе с представителями завода и Мякининым поехал на полигон — там танкисты готовились к стрельбе с закрытых позиций.

Сошли с машины на бугристом поле, поросшем мелким кустарником.

— Где же огневые позиции?— спросила Елена Васильевна.

— Рядом с вами,— ответил Мякинин.

— Здесь ничего нет,— удивился Крайнов.

Гости прищуривались, напрягали зрение, прошли еще несколько шагов, а все не могли обнаружить ни танкистов, ни их позиций. Зорин же, наблюдая то, что было скрыто от гражданских, поругивал Мякинина:

— Плохо, товарищ гвардии полковник, плохо. Я давно увидел. Хотели старого охотника обмануть — не обманете!

Елена Васильевна внимательно оглядывалась, но, кроме похожих друг на друга кустарников да сухих кочек, ничего не видела.

Вдруг она ахнула. На нее из кустарника в упор глянул дульный срез танковой пушки.

Осматривая огневые позиции, гости поражались. Исключительно быстро танкисты отрыли аппарели для танков, укрытия для экипажей, оборудовали их, искусно замаскировали. Крайнов пролез в укрытие, щупал все руками и, смущенно кашляя, бубнил в усы:

— Вот это трудяги!

Солянин, оставленный старшим на огневых позициях, доложил генералу, что офицерский состав вызван командиром роты на наблюдательный пункт, а танкисты занимаются чуть подальше, в лесочке.

— Чем занимаются, товарищ гвардии старший сержант?

— Тренируются в быстроте выполнения команды «к бою».

— Кто проводит занятия?

— Не знаю.

Зорин бросил острый взгляд на Мякинина, и тот внутренне содрогнулся. Два дня, что Зорин был в полку, он придирчиво проверял, как проводятся политические занятия, был на танкодроме, в парках боевых

машин, беседовал с офицерами, сержантами и солдатами, а с ним, Мякининым, или перебрасывался незначительными словами, или насмешливо окидывал своим колючим взглядом, словно говорившим: «Я тебя, Мякинин, насквозь вижу. От меня не уйдешь».

Порядок в полку не вызвал у Зорина особых замечаний. Танкисты постарались как можно лучше подготовиться к приему новой техники, к встрече представителей завода. Как всегда бывает перед ответственными проверками и перед учениями, офицеры и солдаты подтянулись во всем, занимались с максимальной нагрузкой, небывалым напряжением сил. С момента предупреждения о предстоящем приезде Зорина Мякинин зачастил в роты, появляясь там часто с Донцовым. Тот будто и забыл о спорах с Мякининым. Вечерами встречались, чтобы информировать друг друга, с чем каждый сталкивался за день, собирали, когда требовалось, коммунистов и комсомольцев. Мякинин надеялся, что к приезду генерала Зорина ему удастся склонить Донцова, если не к отказу от рапорта, то хотя бы к признанию его стараний и заслуг в полку. Но и в этом он усомнился, узнав, что Зорин целый час просидел с Донцовым в его палатке.

Услышав ответ Солянина, Мякинин похолодел. Стоит Зорину увидеть, что танкисты занимаются не тем, чем нужно, как порох взорвется.

Полковник стрельнул глазами в Солянина, тот кинулся было вперед, но Зорин заметил и остановил его: «Смотри, сержант, чтобы никакого шума!» — и зашагал в лесок. Он быстро петлял, обходя ели и редкие березки, пока не занял место для наблюдения за широкоствольной сосной, дав знак попутчикам остановиться.

Шагах в двадцати от них, на полянке, большая группа воинов окружила танк. Сочнев, Джавахадзе и Василий Заремба стояли в одном ряду под стволом орудия. Кто-то из танкистов подал команду «к бою». Василий не стал ждать, как это делали все заряжающие, пока наводчик спустится в машину, расстопорит орудие и придаст ему необходимый угол снижения. Он подпрыгнул, схватился за высоко поднятый дульный срез ствола и выжался на руках. Освободив затем левую руку и оставаясь висеть на одной правой,

расстегнул ремешок и снял чехол с дульной части. Все это было сделано так быстро, легко и красиво, что Зорин, не выдержав, вышел из-за укрытия, поманив пальцем гостей. Не успели Сочнев и Джавахадзе скрыться в танке, как Василий тоже оказался на броне и спустился в люк. Башня развернулась на 180 градусов, Джавахадзе установил прицел, и Сочнев доложил:

— Экипаж к бою готов!

Ожидающий бури Мякинин держался подальше от Зорина. Когда же он нашел неудобным быть в стороне и стал подходить к танкистам, то услышал восклицание Зорина:

— Каковы молодцы, а? Вы поняли, Елена Васильевна, поняли, Павел Иванович, что за находка? Вместо того чтобы ждать, пока товарищи опустят ствол, солдат прыгает, снимает чехол и, вероятно, секунд десять выигрывает, а в бою это большое дело.

— Нормативы перекрыты на двадцать секунд, товарищ генерал, — доложил сержант, следивший с часами в руках за исполнением команды.

— Двадцать секунд — это рекорд! Кто придумал?

— Рядовой Заремба, товарищ генерал, — ответил Сочнев, первым вышедший из танка.

— Обрадовал, честное слово. Ну-ка, повтори, — приказал Зорин спрыгнувшему с танка Василию. — Поучи-ка старика. Ведь и я когда-то был неплохим спортсменом.

Встав опять под дульный срез ствола пушки, Василий увидел Елену Васильевну, Павла Ивановича, и ему захотелось повторить прием еще лучше, чем в первый раз. Василий был уверен, что они расскажут Шуре, как он удивил генерала.

Василий повторил прием.

— Кажется, уловил. Смотри и критикуй ошибки. Не бойся, что генерал!

Высокому Зорину сильно подпрыгивать не пришлось и подтянулся он хорошо, сумел удержаться на правой руке. Но левой расстегнуть ремешок никак не удавалось. Он болтал ногами, пока не слетел вниз. Зато вторая попытка вышла удачной — он все же расстегнул ремешок.

— Мой приказ, гвардейцы, — сказал Зорин, спрыгнув и отряхиваясь от мелких комочков земли, — чтобы

все от командира полка до ремонтника умели делать так, как гвардии рядовой Заремба. Вот сейчас и начнем с командира полка. А ну, товарищ гвардии полковник!

Потухли улыбки на лицах танкистов. Им было неудобно за своего командира полка, который как-то сразу увял, робко встал под дульным срезом ствола пушки и, прыгнув, посинел от натуги, а дотянуться до верха не сумел. К счастью Мякинина, в эту минуту прибежал с огневой позиции старший сержант Солянин и отвлек Зорина:

— Товарищ генерал! Командующий срочно вызывает вас к аппарату.

2

Наблюдательный пункт был выдвинут далеко вперед от огневых позиций и еще надежней, чем они, скрыт под землей. Новейшие приборы наблюдения незаметно выглядывали в просветы между замаскированными бревнами на западном скате высоты. Киреев нанес цель на карту и определил исходные данные для стрельбы. По телефону передал распоряжение старшему офицеру на огневой позиции Чумаку:

— Основной танк на огневой — ваш!

Это означало, что пристрелку цели будет вести наводчик Джавахадзе. На огневую позицию в это время возвратились полковник Мякинин, Павел Иванович Крайнов и Елена Васильевна. Генерал Зорин, спеша на переговоры с командующим, оставил гостей на попечение Мякинина.

С разрешения полковника экипаж Чумака занял места в танке. Чумак, получив по радио данные, сообщил Кирееву о готовности к стрельбе. Киреев приказал открыть огонь.

— Орудие! — скомандовал Чумак, и Джавахадзе нажал на электроспуск.

Одиночный выстрел рассек тишину полигона.

— Левее, ноль-ноль шесть! — долетела по радио до Джавахадзе новая команда Киреева. «Значит, по направлению имеется незначительное отклонение, — подумал Шота, но тут же спохватился, забеспокоился. — Как же установить эти шесть тысячных, если цена

одного деления башенного угломера равна десяти тысячным?»

Сотни снарядов выпустил из старого танка Джавахадзе, но то были стрельбы прямой наводкой с ходу, с места или с коротких остановок по всегда видимым целям. Тогда, ведя огонь на дистанцию в пятьсот или тысячу метров, он смотрел в прицел и по его центральному угольнику судил об отклонениях снарядов. Стрельба же с закрытых позиций поставила перед наводчиками новые требования, которые еще более усложнялись из-за отсутствия малых делений на башенном угломере. Джавахадзе жалел, что на заводе ему не пришла мысль нанести дополнительные деления. Это можно было бы сделать за какой-нибудь час. А теперь попробуй глазом определи, да точно! Он ориентировочно раздвоил расстояние между имеющимися рисками, на глазок прибавил еще одно деление и доложил командиру взвода, что к стрельбе готов.

Киреев с нетерпением ждал второго выстрела. Уверенный в меткости новой танковой пушки и в знаниях Джавахадзе, он смотрел в бинокль по направлению цели, где должен был упасть снаряд, однако разрыв оказался в стороне более чем на двадцать метров. Если такая ошибка была бы допущена в стрельбе на поражение площади, она не имела бы значения. Теперь же огонь велся по узкой цели, и отклонение на двадцать метров влияло на точность пристрелки.

Нервная, Киреев приказал по радио Чумаку лично стать на место Джавахадзе. Но и эта мера не оправдала себя — снаряд ушел еще левее.

В присутствии гостей, командира полка и танкистов роты оскандалился не только лучший наводчик, но и сам командир взвода. Джавахадзе принял все неудачи на свой счет: он обязан был догадаться об угломере при сборке машины, ведь его, одного наводчика, послали на завод... Джавахадзе сжимал и разжимал кулаки и, когда Василий попытался успокоить его, огрызнулся:

— Ничего тебе не понять, Васа! Я виноват. Смотри, как Лена Васильевна переживает.

Елена Васильевна отошла от танка, чтобы своим присутствием не смущать танкистов — их и без того ругал Мякинин. «При чем тут они? Это мы виноват-

ты — стреляли на заводском полигоне с малых дистанций и были довольны, что точность предельная. Не задумывались, что танки могут вести огонь с закрытых позиций на большие дистанции. И все это потому, что долго не были в частях, не знали, как в новых условиях применяются танки». Елена Васильевна предполагала, что снаряды ушли в сторону из-за мелкой неисправности, и все же вмешиваться, пока полковник сам не выяснил причины, считала нетактичным.

Мякинин послал свою машину на наблюдательный пункт, и вскоре прибыл Киреев.

— Вы что, капитан, разучились давать правильные данные для стрельбы? — зло спросил Мякинин.

— Подсчеты и команды точные, товарищ гвардии полковник.

— В чем же дело?

— В танке, наверно..

— В танке? Вы с ума сошли!

— Не в самой машине, хотел я сказать, видимо, в механизмах наводки.

— Не фокусничайте, капитан! — Мякинин не мог сдержатъ раздражения и был готов высказать Кирееву все, что накопилось за этот неудачный день. Но тут подошла Елена Васильевна.

— Извините, товарищ полковник, что я вмешиваюсь. Капитан Киреев имеет основания так говорить. Можно посмотреть, как действовал наводчик в танке?

— Конечно. Прошу вас.

В машину спустились Елена Васильевна, Джавахадзе и Киреев. Джавахадзе, встав рядом с конструктором у прицела, взволнованно говорил:

— Я делал правильно, Лена Васильевна.

— Устанавливайте деления на башенном углемере. Я посмотрю.

Джавахадзе поворотным механизмом уточнил наводку.

— Такая была первая команда. Правильно, товарищ гвардии капитан?

Киреев подтвердил слова наводчика.

— А следующая команда какая была? — добивалась Елена Васильевна.

— Левее, ноль-ноль шесть.

— Шесть тысячных?— переспросила она.— И как же вы их устанавливали?

— На глаз.

— На глаз?! И вы хотели добиться точности в стрельбе на несколько километров?!— спросила она весело, даже радостно, удивив этим Джавахадзе и Киреева. Да как было не радоваться конструктору, если серьезные опасения как рукой сняло.

— Не учел,— оправдывался Джавахадзе, восхищаясь женщиной, которая так хорошо разбиралась в делах наводчиков.

— Вот, оказывается, где причина, товарищ Киреев. Вы это имели в виду, говоря полковнику о механизмах наводки?

— Я в машину верю, Елена Васильевна, машина прекрасная.

— Благодарю за такую оценку. Но, видите, кое-что мы все-таки не учли.

— Пустяк, устраним!— вмешался Джавахадзе.

— А может быть, это не единственный недостаток машины?— настойчиво спрашивала она.

— Танк — чудо, только... — наводчик осекся, боясь обидеть конструктора.

— Говорите, Джавахадзе, прошу вас.

Поощряемый взглядом Киреева, Джавахадзе решился попросить:

— Нельзя ли, Лена Васильевна, боковой уровень перенести? Мне голову поднять высоко надо — броня не пускает. Стреляю с закрытых позиций, после выстрела и новой команды вертикальную наводку надо уточнять, а я смотрю сбоку и не вижу: стоит пузырек уровня в центре или сбежал...

— Так-так, правильно,— подтверждала Елена Васильевна, сама пытаясь взглянуть на пузырек бокового уровня.

— Может, я не то думаю, извините.

— То, именно то, товарищ Джавахадзе,— успокаивала она наводчика.— Жаль только на заводе об этом не сказали. А ваше предложение мне нравится. Боковой уровень мы установим ниже, вот сюда, хорошо?

— Эх, хорошо, Лена Васильевна!

Подняв руки и опираясь ладонями на закругленные тупые края люка, Елена Васильевна подпрыгнула, как

заправская спортсменка, и ловко поднялась на башню. За ней появился из танка Киреев. Хотя Джавахадзе выскочил из люка последним, он сумел первым спрыгнуть на землю, раньше подать конструктору руку, помочь сойти.

Вся рота, полковник Мякинин, Павел Иванович Крайнов с нетерпением ждали появления конструктора. Ее тут же окружили, и она рассказала о делениях на башенном угломере.

— Я помогу,— сказал Крайнов.

На другой день танкисты под руководством Павла Ивановича Крайнова сделали на угломерах новые деления.

* * *

После разговора по телефону с командующим генерал Зорин вылетел в округ — неотложные дела требовали его участия на военном совете. Неделя, которую Зорин намеревался пробыть в полку, сократилась до двух дней, и это случайное обстоятельство отвело угрозу, нависшую над Мякининым.

Собираясь досконально разобраться во взаимоотношениях людей в полку, Зорин по приезде не торопился и, естественно, за два дня успел увидеть лишь внешнюю сторону, которую Мякинин умел преподнести начальству. Хотя Зорин перед вылетом в округ не откинул выдвинутые в рапорте Донцова обвинения, но и не сказал также, что они подтверждаются, и у Мякинина отлегло от сердца. То, что Зорин обещал помочь Донцову перевестись, Мякинин оценил как стремление начальства замять дело с рапортом и больше к нему не возвращаться. Прошла неделя, и жизнь в полку потекла по-старому.

Проводив жену и Павла Ивановича Крайнова, Донцов выехал на зимние квартиры проверить ремонт казарм. Возвратился он в лагерь через три дня.

Был дождливый предвечерний час, когда Донцов вышел из кабины грузовика и, накинув на себя плащ, направился с чемоданом в руке к офицерским палаткам. На узкой лесной тропке ему встретился Василий.

— Здравствуйте, товарищ Заремба. Что нового в роте?

Донцов поставил на землю чемодан, вытер платком мокрое от дождя лицо.

— В роте полный порядок, товарищ гвардии подполковник.— Василий козырнул.— Новый танк отлично слушается. Иду с занятий по вождению, Сочнев проводил.

— Замечательно, что занимаетесь вождением,— похвалил Донцов, довольный бодрым видом Василия.— Куда сейчас?

— В расположение роты. Разрешите чемодан поднести.

— Пойдемте. Вдвоем веселее. А чемодан я и сам донесу.

Тропка была скользкой, Василий, чтобы не упасть, балансировал.

— Комсомольское собрание было, товарищ За-ремба?

— Вчера.

— Как?

— Приняли, товарищ гвардии подполковник!— возбужденно ответил Василий.

— Поздравляю.— Донцов остановился, потряс сильное плечо солдата.— Рад за вас, очень.

Около палатки Киреева Донцов разрешил Василию идти к себе. Должно быть, Киреев услышал голоса — выбежал навстречу.

— Товарищ гвардии подполковник! Вы ко мне?

— Пойдемте в палатку, дождь усиливается,— и Донцов прошел вперед. Сняв мокрую фуражку, плащ, он пожал руку Киреева и, не выпуская из своей, сказал:

— Саше предстоит операция. Нужно выехать к семье.

— Что с ним? Почему Надя не телеграфировала?

— Я отсоветовал, телеграмма пришла бы не раньше меня.

— Скажите, наконец, что с Сашей?

— Он оступился на лестнице, в школе, ударился головой.

Дождь крепчал. Крупные капли барабанили по туго натянутому полотну палатки. О чем-то продолжал говорить Донцов. Киреев уже не был в состоянии слушать его.

У Саши оказался перелом теменной кости. Операция предстояла сложная — трепанация черепа. Делать ее немедленно было нельзя, так как мальчика сначала надо было вывести из шока. Если б не тревога за Светлану, которая оставалась одна в квартире, Надежда Павловна ни на секунду не отходила бы от подъезда хирургического отделения. Но приходилось бегать домой, наспех готовить еду и, успокоив Светлану, опять спешить к Саше.

Поздно вечером дежурный врач велел ей идти домой.

— Мы все время следим за мальчиком. Его будут оперировать завтра. Идите, поспите немного. Вам силы нужны.

Она не помнила, как дошла до окраины, как накормила и уложила Светлану. Всю ночь сна не было. Надежда Павловна то выходила во двор, то снова возвращалась в комнату. Ей казалось, врач выпроводил ее именно потому, что операцию будут делать ночью. Возможно, Сашу уже положили на операционный стол, он задыхается, кричит, может быть, в последний раз зовет ее.

Надежда Павловна схватила полушалок и в глухую полночь побежала к сыну.

Больница спала. Кругом была тишина. Лишь акация, наклоняясь ветвями к окнам палат, шуршала мелкой листвой. В одной из этих палат лежит Саша. Надежда Павловна ходила вокруг здания, прислушивалась, но толстые стены, закрытые окна не выдавали больничных тайн.

На рассвете ее пустили к дежурному врачу.

— Как сын?

— Ночь прошла благополучно.

— Кто будет оперировать?

— Я вам советую поговорить с главным хирургом. Он, конечно, не может лично всех оперировать, но лучше, если сам возьмется.

Надежда Павловна была в вестибюле, когда с улицы быстро вошел мужчина среднего роста, лет пятидесяти пяти. В одну минуту он успел накричать на дежурного врача, на сестер и няню. Говорил торопливо,

перескакивая с одной темы на другую. Сестер распекал за то, что у них косынки надеты не так, как положено, няню за халат, который ему казался недостаточно чистым, а на женщин-посетительниц обрушил град слов:

— Зачем здесь? Не знаете порядка? Посторонним запрещено. Что тут для вас, клуб? Выйдите все! — и сам бесцеремонно выпроваживал их на улицу.

Надежда Павловна наблюдала, скрывшись за колонной. И раньше она слышала о крутом характере главного хирурга. Но с ним считались: многим он спас жизнь, и ему прощали странности, суматошливый характер. Надежда Павловна решила тут же попросить его, чтобы он лично сделал операцию Саше. Выждав, пока шум улегся, и хирург вошел в свой кабинет, она покинула свое укрытие и спросила дежурную сестру, кого сейчас врач будет принимать.

— Никого. Вы же видели, как он бушевал. Он всегда такой, когда ему предстоит сложная операция.

Не успела она закончить фразу, как распахнулась дверь кабинета и вышел, завязывая на ходу тесемки халата, главный хирург. Надежда Павловна преградила ему дорогу.

— Простите, доктор, я очень прошу. Моего сына привезли на операцию. Ему еще не сделали, и я...

— Что-что? Не сделали? Ну, так сделают. А вам быстрее хочется? Сегодня операций много, разорвать себя на части врачи не могут. Идите! — и, наступая на Надежду Павловну, он вытеснил ее из вестибюля.

Два часа она стояла в остекленном коридоре, поглядывая, не возвратился ли врач. Несколько раз подходила к окнам кабинета, думая, что он прошел к себе другим ходом. Но все же проглядела его. Няня, видя, как мучается Надежда Павловна, предупредила ее:

— Он у себя. Идите к нему, пока не убер.

Надежда Павловна постучала — никто не отозвался. Собрав всю решимость, вошла без разрешения. Главный хирург стоял лицом к окну, разглядывал рентгеновский снимок.

— Кто?!

В этом слове прозвучало возмущение: ему мешали побыть одному, собраться с мыслями, с силами после

небывало тяжелой операции. Когда же обернулся и увидел посетительницу, которая уже докучала какими-то непонятными просьбами, его лицо побагровело. Надежда Павловна не дала ему говорить.

— Доктор, милый доктор! Помогите сыну, сделайте операцию сами, умоляю вас!

Он уставился на нее сквозь стекла пенсне с явным нетерпением.

— Не отказывайте, доктор. У него слабое сердце, с ним может случиться непоправимое. Я не выдержу...

— Какой матери не дорог ее ребенок? Или вам кажется, что вы первая на свете родили сына?

Она произнесла эту фразу еле слышно, закрыв глаза.

— Я его не рожала...

— Что-что? Не рожали? А говорите — сын!

— Сын! Мой сын! — глотая слезы, она рассказала о Монастырской роще.

Врач то откладывал рентгеновский снимок на стол, то опять брал его в руки, водил пальцами по его грани, не отрывая взора от молодой женщины. Потом придвинул кресло, сильными пальцами сжал ее локоть, заставил сесть.

— Посидите. Сейчас приду.

Надежда Павловна слышала торопливые шаги, ворчливый голос за дверью и вскоре снова увидела врача.

— Смотрел вашего сына. Сам буду оперировать. Сегодня. Идите домой, и чтобы я не видел вас возле больницы.

Около часа Надежда Павловна укрывалась в больничном садике, потом подкралась к окну операционной, затаилась у стены. Разве мог кто-нибудь заставить ее отойти от этой серой, изъеденной дождем и ветром старой стены, оторвать взгляд от матовых стекол! Она долго прислушивалась, пока не уловила легкое поскрипывание колес больничной тележки. Еще немного постояла, затем стремглав кинулась бежать. Один, другой угол позади, и вдруг кто-то обнял ее, заставил остановиться.

Это был Алексей.

...Добравшись до городка, Алексей, не заходя домой, побежал в больницу. Оказался он там в минуты окончания операции и дождался главного хирурга

в его кабинете. Врач устало улыбнулся и с несвойственной ему мягкостью проговорил:

— Грешно было бы мне не сохранить сына для такой матери. Берегите жену, капитан. Она у вас,— мало сказать хорошая...

* * *

Светлана была на улице. Игрушечным ведром деловито набирала из бочки воду. Увидев отца, кинулась к нему на руки, целовала колющие щеки и, показывая мокрый передник, хвалилась:

— Сама кухню вымыла!.. Как хорошо, что приехал!..

С измазанным сажей лобиком, заплетенными кое-как косичками она была еще милее.

Пока Надежда Павловна хлопотала на кухне, переодевала дочь, Алексей напил, наколот дров. Потом пообедали и втроем пошли в больницу.

Саша спал. Родители узнали, что на следующий день можно будет навестить его. Дежурный врач пообещал ночью лично посмотреть за сыном.

Как-то очень быстро прошел остаток дня. После ужина Алексей поиграл с дочкой, почитал ей сказку, и она заснула. Он присел около Нади, взял ее руку.

— Когда ты должен ехать?

Он растерялся, будто она его уличила в чем-то нечестном.

— На рассвете, часа в четыре.

— Тогда ложись, а я проглажу тебе белье,— она высвободила пальцы из его руки.

— Посиди, Наденька, отдохни хотя бы полчаса.

— Некогда мне отдыхать! Я думала, ты хотя бы дня два побудешь с нами.

— Меня отпустили всего на одни сутки. Учения скоро — ты же понимаешь.

— Лучше бы я не понимала. Ой, Леша, тяжело мне одной все переносить!

Она вспомнила, сколько надежд у нее было, когда оставила работу на заводе и с Сашей поехала на далекие Курилы. Она думала, что Алексей всегда будет с ней, с детьми, что она сумеет работать, и вместе они станут делить и радость, и горе. А оказалось — месяцами одна с детьми... Голос ее звучал глухо, отчужденно:

— Чувствую, во мне что-то перегорает.

Ему нужно было приблизиться, обнять ее, сказать что-нибудь душевное, но у него, должно быть, от нервного напряжения вырвалось:

— Всем тяжело.

Боль исказила лицо Надежды Павловны. Она хотела сдержаться и не смогла.

— Конечно, и у других бывает горе, но его переживают вместе, вдвоем, а я?.. Одна, во всем... Привезу из больницы Сашу. Как нам нужна светлая просторная комната!

То, что мучило в бессонные ночи, что она передумала, перестрадала за дни болезни Саши, слилось в лихорадочном шепоте:

— Ты о нас забываешь... Сколько мы надеялись на новый дом... Зинаида Мякинина переехала из двухкомнатной в трехкомнатную квартиру. Даже Чумаку дали отдельную. А тебе, твоим детям?.. Почему?

Ее душили слезы. Боясь разбудить дочь, она легла на диван, уткнулась в подушку.

Алексей присел возле жены, коснулся рукой затылка, чтобы успокоить, а она зарыдала еще сильнее.

Против своей воли оба заснули — она, еще глубже зарывшись лицом в подушку, он, откинув голову к спинке дивана. Когда Надежда Павловна проснулась, то увидела его бледное, исхудавшее лицо, вздрагивающие в тяжком сне веки. «Как он измучен... Зачем я так разговаривала с ним? Ему не легче, чем мне... Вон морщины прибавились в уголках глаз и тут, у переносицы». Надежда Павловна прильнула губами к жесткой небритой щеке.

— Разденься, Леша, тебе нужно отдохнуть.

Он вскочил, как по сигналу тревоги, и, поняв, что не в лагерной палатке, а дома, опять присел на краешек дивана.

— Скоро приеду, Наденька, надолго. Вместе что-нибудь придумаем...

Он бережно обнял голову жены, поцеловал прядь седых волос, появившуюся за последние сутки.

Нескончаемой казалась сентябрьская ночь. Вечером с наступлением темноты пехотинцы вышли из

леса, скрытно продвинулись к рубежам обороны «противника» и под проливным дождем стали копать извилистые траншеи и ходы сообщения с щелями и убежищами для личного состава. В нескольких километрах севернее, за большим лесным массивом, артиллерийские и минометные расчеты, экипажи танков и самоходок рыли окопы, делали укрытия для боевой техники и блиндажи, способные надежно защитить людей. За два часа до начала артиллерийской подготовки было получено долгожданное разрешение на отдых. Чумак и члены его экипажа забрались в блиндаж с накатом из бревен и метровой грунтовой обсыпкой и тотчас же заснули. Один Сочнев поворачивался с боку на бок, сквозь дремоту слыша отчаянный храп Джавахадзе, но усталость одолела и Сочнева.

Разбудил экипаж такой силы гром, словно в рядом стоящий танк угодил добрый десяток снарядов. Василия, примостившегося в уголке блиндажа, малость осыпало землей, ему почудилось, что его бревна придавили. Еще не разобравшись, что к чему, он уже бежал за Джавахадзе. Едва успели они занять свои места, как Сочнев завел мотор, задним ходом стал выводить танк из укрытия. Сердитое урчание мотора почти не слышно было в реве и грохоте начавшейся канонады.

За несколько минут до начала артиллерийской и авиационной подготовки Киреев прибыл на пункт руководства с донесением от командира передового отряда и отсюда, с господствующей высоты, наблюдал картину начавшегося «боя». Огненный вал кромсал землю в каких-нибудь двухстах метрах впереди траншей, где находилась готовая к атаке пехота «северной», наступающей, стороны.

Взвилась в небо серия красных ракет: сигнал к атаке. Смолкли орудия, исчезли с поля зрения самолеты. Наступила трепетная, звенящая тишина. Несколько секунд она царила над лесом, высотками, полями. Людей словно испугала неожиданная тишина, и они еще плотнее прижались к земле, к стенкам траншей. Но вот вслед за командирами стали выскакивать из траншей стрелки, автоматчики, пулеметчики. Из леса вырвались танки, нагнали пехотинцев, поддержали ружейный огонь своим, пушечным. Киреев

ев видел, как смело, привычно, будто совершая обыденное дело, бежали рядом с танками солдаты, прошивая светящимися трассами пуль вперед расположенные мишени. Его глаза искали среди множества танков машины своей роты, и он узнал их, узнал по построению, по плавному и быстрому движению первой машины: «Походка Сочнева... Молодец!»

Пехотинцы и танкисты одновременно подошли к первой траншее обороны «противника». Светящиеся автоматные и пулеметные трассы, взрывные волны от пушечного огня танков словно разогнали сумеречный туман. Киреев в бинокль видел теперь намного дальше, до самой второй траншеи обороны. То на границах атакующих подразделений, то в центре боевых порядков появлялись белые облака, имитирующие разрывы снарядов и авиационных бомб. При малейшей нерасторопности стрелка, оплошности танкового экипажа посредники выводили их из строя. Тех, кто попадал в число «убитых» или «раненых», посредники через некоторое время опять вводили в «бой», ставя перед ними новые трудные задачи.

Все, что происходило кругом, напоминало Кирееву обстановку настоящего сражения. «Южная», обороняющаяся, сторона не подыгрывала наступающим, как бывает иногда на тактических занятиях. Она была не только обозначена, а действовала активно, так же применяя тактику и средства современного боя.

Во многих сражениях Великой Отечественной войны участвовал Киреев, не раз командовал он ротой на послевоенных учениях. Но то, что предстало перед ним в это пасмурное осеннее утро, превзошло его ожидания.

Когда район обороны вздыбился от взрывов, новые танки неумолимо двинулись ко второй траншее обороны, а вертолеты забросили в тыл «противнику» десантников, Кирееву представилось, что он стал свидетелем сложного и многогранного процесса переплавки народной силы в могущество армии. Он словно видел, как вслед за боевыми машинами, за поднимающимися в атаку стрелками движется вся двухсотмиллионная страна, готовая обеспечить решительный и полный разгром любого врага, если он посягнет на Советскую Родину.

Киреев продолжал наблюдать в бинокль развертывающийся «бой», когда чья-то тяжелая рука легла на его плечо. Он обернулся, увидел генерал-лейтенанта танковых войск Жезлова. Так же, как на фронте, густые брови и упрямый подбородок придавали лицу строгость, а глаза Жезлова и особенно короткий широкий нос смеялись над этой строгостью, гнали ее с крупного лица.

— Ну, герой-капитан, нравится? — лукавинка блеснула в умных глазах. — Мудро говорят братья-китайцы: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Согласен с изречением?

— Согласен, товарищ генерал! — Киреев пожал протянутую руку Жезлова. — А еще лучше — не просто увидеть, а самому участвовать в таких учениях.

— Вот как! — улыбающиеся глаза совсем стерли с лица строгость. — Ты, оказывается, такой же молодой и строптивый, каким был.

— Какой же я молодой, товарищ генерал! Вот когда мы с вами встретились впервые, тогда действительно...

— Не старься, — слегка упрекнул Жезлов. — Я чуть ли не вдвое старше и то чувствую себя молодым. А что встречи не забыл, — это хорошо. Помнишь, нам говорили: «Близок Локоть, да не укусишь».

Впервые Киреев увидел генерала в бою за станцию Локоть. Здесь танкисты встретили ожесточенное сопротивление врага, который рассчитывал на крупном узле обороны задержать наступление наших механизированных частей. Жезлов решил послать в дальний обход станции ночную разведку, нащупать слабые места обороны противника. Командир танковой бригады вызвал тогда Киреева к генералу. Стройный, с нежной румяной кожей лица и мечтательными глазами, появился перед генералом командир взвода лейтенант Киреев. Он был очень молод, и напоминал Жезлову его сына, погибшего в первые дни войны. «Недавно из училища?» — «Так точно, товарищ генерал». — «В разведке бывали?» — «Так точно, был». — «В ночной?» — «Нет». Объяснив задачу, генерал приказал возвратиться к рассвету, желательно тем же путем. «А если поселок пройти насквозь и выйти в тыл станции, вот здесь?» — спросил Киреев и провел прямую линию на

карте с западной на восточную окраину населенного пункта. Жезлов с любопытством уставился на офицера: «Прыткий! Там в десять раз больше танков, чем у тебя. Да еще артиллерия, да пехота. Заклюют!» — «Не успеют, товарищ генерал, пройду ночью, внезапно».

Ночью, с приглушенными моторами, без огней, три танка взвода Киреева, имея на бортах десант автоматчиков, просочились на стыке флангов немецких обороняющихся частей и незаметно вышли на западную окраину населенного пункта. Киреев приказал мчаться к станции, ведя непрерывный огонь с ходу. Как ветер, летели «тридцатьчетверки», громя и сминая орудия, повернутые дулами на восток.

Внезапное появление «тридцатьчетверок» и артиллерийский огонь, открытый по приказу Жезлова, ошеломили немецких солдат и офицеров. Каждому чудилось, что он попал в окружение. Бросая огневые позиции, орудия, они стали отходить. Танковый батальон ворвался в населенный пункт и почти без потерь завершил удачно начатый разведчиками ночной бой. Чтобы не дать врагу закрепиться в ближайших населенных пунктах, две танковые роты немедленно стали преследовать его. Взвод Киреева пошел на Монастырскую рощу, в тот самый лес, где советские танкисты увидели растерзанных фашистами людей, где Киреев со своими разведчиками спас от смерти детей, женщин, стариков, где он впервые увидел свою Наденьку и Сашка.

— Ты встречал после войны ту девушку из Монастырской рощи? — спросил генерал, вспомнив, как перед ним в лесу предстала босая, в разорванном платье девушка.

— Жена... — тихо ответил Киреев.

— Как? — генералу показалось, что он ослышался.

— Мы поженились.

— А тот мальчик?

— Перешел в восьмой класс. И девочка еще есть у нас, шести лет..

— Ух, каков! — генерал по-отечески гордо глядел на Киреева и вдруг спросил: — С квартирой устроен?

— На частной.

— Почему?

Киреева подмывало рассказать о несправедливости

Мякинина, но он подумал, что здесь не место для жалоб и просьб.

— Не знаю, видать, не заслужил...

— Скажешь тоже! — нахмурился генерал. — Скоро буду у вас, разберусь.

* / *

Передовой отряд вошел в прорыв и преследовал «противника».

Чем дальше на юг, тем чаще встречались заболоченные участки, большие лесные массивы, где были устроены завалы. «Противник» бросал в контратаки пехоту, ставил в засадах орудия на прямую наводку, и передовому отряду, особенно головной роте Киреева, несколько раз пришлось разворачиваться в боевой порядок. К полудню взвод старшего лейтенанта Чумака вошел в район почти сплошных болот. Здесь стоял густой туман. Опять пошел дождь.

Танки двигались уступом. Вести машину, видя только скос кормы другого танка, было необычайно трудно. И все же Сочнев мог позавидовать остальным механикам. Они ориентировались на силуэт его машины, а он вел головной танк почти на ощупь, еле различая местность на два-три метра впереди себя.

Чумак вертел прибор наблюдения во все стороны, но ни по каким признакам не мог обнаружить отходящего «противника». Он ускользнул из поля зрения, когда взвод задержался с разбором лесного завала. Ежеминутно взвод рисковал натолкнуться на засаду танков, на орудия прямой наводки и, что было не менее опасно, загрязнуть в этом липком, засасывающем грунте. Киреев по радио требовал двигаться быстрее и еще до подхода к ближайшей роще войти в соприкосновение с отступающими подразделениями.

Чумак посоветовал механику-водителю раскрыть лобовой люк. Сочнев ухватился за защелку и тут же отдернул руку: в дозоре с раскрытым люком нельзя ходить, — удержал он себя и двигался с закрытым люком, пока не очутился перед балкой. Пришлось остановить машину, выйти, разведать местность. Справа и слева оказалась трясина. «Куда же ехать? — думал Сочнев и тут в тумане заметил движущееся на него

темное пятно. Постепенно оно увеличивалось и мимо Сочнева проковылял длинный нескладный бородач в брезентовой накидке.

— Здравствуйте, отец. Не скажете, где меньше трясина?— остановил Сочнев деда.

— Бис його знае. Ось вовча тропа,— дед показал дорожку, откуда шел.— Може вона и краще буде для вас.

Он вдавался в ненужные подробности, сочувствуя, должно быть, танкистам, что они залезли в трясину.

— Тутечке наш колгоспный сторож тонув в болоти— правда, вин до того фляжку горилки выпив... Сюды ниhto не издыть, а вы!..— и он, махнув рукой, пошел своей дорогой, мол, застряли вы сами, а я, к сожалению, ничем помочь не могу.

Доложив Чумаку, что слышал от старика, Сочнев повел танк направо. Чумак на этот раз не советовал, а приказал вести машину с раскрытым люком. Сочнев надел очки, снова взялся за защелку. Крышка люка откинулась, видимость увеличилась, машина пошла быстрее. Брызги дождя освежали разгоряченное лицо Сочнева. Но если бы он мог увидеть что-либо за кормой танка, то немедленно захлопнул бы люк.

Легкий «газик»-вездеход обогнал дозор. Красный флажок настойчиво сигнализировал: остановить танк. Отъехав еще немного, Сочнев выключил мотор и вместе с Джавахадзе и Зарембой стал прислушиваться к разговору генерала Жезлова с Чумаком.

— Вы допустили грубейшую ошибку, раскрыв люк,— сказал генерал.— Механик-водитель убит. Слева приближаются два вражеских танка. Ваше решение?

Чумак стоял перед генералом, как школьник-двоечник на экзамене, не способный решить задачу. «Кто сумеет при таком ненастье провести с закрытым люком танк через болото? — думал он.— С другого танка не снимешь механика. Джавахадзе плохо ведет машину. Самому взяться за рычаги — значит, отказаться от управления дозором, от связи с командиром роты и другими экипажами. Да и генерал отвергнет такое решение. Кто же?»

Чумак знал: стоит ему помедлить, и генерал его самого выведет из строя. Что делать? И тут, словно

в ответ, из лобового люка машины вылетел решительный возглас:

— Я поведу танк! Рядовой Заремба!

До этой минуты постоянная неприязнь к солдату мешала Чумаку вспомнить, что Заремба много занимался вождением. Но и сейчас ему трудно было побороть недоверие к заряжающему. Между тем в глазах Жезлова загорелась насмешка. Она была страшнее грозных его слов. Надо было, не медля ни секунды, выбрать: либо сдаться генералу, либо Зарембе.

— Заводи! — крикнул Чумак. В мгновение ока он был на башне, спустился в танк, захлопнул крышку люка. Рация осталась стоять на связи с командирами машин его взвода. Чумак приказал развернуть орудия влево и огнем с места «уничтожить» контратакующие танки.

На том месте, где Сочнев заглушил мотор, была более надежная, твердая почва. Отсюда можно было, не боясь загрузнуть, трогать дальше или развернуть машину. Это помогло Василию. Не делая большого круга, он повернул танк на запад и тронулся без рывков.

Как только взвод достиг квадрата, указанного командиром роты, Чумак приказал экипажам остановиться, замаскировать танки в роще, произвести технический осмотр.

Василий вышел из машины, хотел пройтись для разминки, но отяжелевшие ноги не слушались, в голове неумолчно стоял гул мотора, а свет казался необыкновенно ярким.

— Друг, Васа, спасибо, выручил!

Черное худое лицо Джавахадзе, его огромные глаза с длинными ресницами, белые матовые зубы, измазанный нос — все смеялось, радовалось, благодарило товарища.

На северном скате высоты с отметкой 177,1, которую было приказано занять и удержать передовому отряду, авиационная разведка обнаружила артиллерийские позиции «противника». Подходы к восточным и западным скатам представляли естественную пре-

граду против танков и особенно колесных машин: топкое болото тянулось здесь на два, а местами на три километра.

Уточнив данные воздушной разведки и дополнив их наземным наблюдением, Чумак возвратился в расположение своих танков, куда только что прибыли генерал-лейтенант Жезлов, командир передового отряда Мякинин и офицеры штаба. Чумак сообщил, что на северных скатах высоты находятся три артиллерийские, две минометные батареи и три закопанные самоходно-артиллерийские установки. На обочинах — ложные артиллерийские позиции с деревянными макетами пушек. Чумак отдал Мякинину, а тот передал начальнику штаба схему разведывательных данных о расположении огневых средств.

Начальник штаба внимательно разглядывал схему. «Сейчас придерется; неаккуратно нанес условные знаки. Ему нет дела до того, что пришлось спешить», — подумал Чумак. В это время внимание офицеров привлек Жезлов. Он обращался к командиру передового отряда.

— Даю вам, товарищ полковник, пять минут для принятия решения.

— Слушаюсь, товарищ генерал! — Мякинин козырнул и повернулся к подчиненным.

Штабные офицеры невольно любовались безукоризненной выправкой полковника. Удивительно было, что после дня непрерывного наступления на комбинезоне не было ни единого пятнышка.

Прошло ровно пять минут. Мякинин подошел к генералу, доложил:

— Я решил с наступлением темноты, через час пятнадцать минут, приступить к разминированию участков дороги южнее роши. Через час тридцать пять минут произведу огневой налет с закрытых позиций артиллерией, танками и самоходками и всеми наличными для меня силами атакую высоту по единственно возможной для прохода танков дороге южнее роши.

— Значит, атакуете в лоб?

— Да.

— Вы учли, что ваш вариант сопряжен с большими потерями? Учли время?

— Потери, товарищ генерал, с наступлением

темноты будут менее значительными, а другого пути нет. Кругом болото. В обход идти — техника завязнет, и задача не будет выполнена. Раньше выступить тоже нельзя.

— Ну, коль вы все взвесили...

Мякинин уловил иронию в голосе генерала и, прежде чем тот произнес слово «действуйте», попросил:

— Разрешите подумать.

— Даю еще пять минут.

Мякинин с начальником штаба отошли в сторону, развернули карту, и между ними начался разговор, который, как можно было судить со стороны, был не из приятных. Чумак заметил, что Мякинин снял шлем, расстегнул две верхние пуговицы комбинезона и вытер вспотевшую шею. До офицеров долетели обрывки фраз, из них можно было понять, что начальник штаба предлагает ускорить начало атаки, не дожидаясь темноты, а полковник с ним не соглашается. Истекли дополнительные минуты. Мякинин надел шлем, возвратился к генералу.

— Более целесообразного решения, чем я вам доложил, в этой обстановке нет. Атаковать я решил только в лоб и с наступлением темноты.

Жезлов оставался непроницаемым. Чумак знал, чему предшествует подобная застывшая поза Жезлова и длительное молчание — самоуверенный тон и независимый вид Мякинина могли навлечь лишь гнев генерала. Поэтому Чумак удивился, услышав безобидный вопрос Жезлова:

— Где ваша артиллерия?

— Я выслал танк на северо-запад разыскать дивизион. Он не мог поспеть за нами.

— Почему вы не установили с дивизионом постоянной радиосвязи?

— У командира дивизиона и у меня различные рации.

— И вы, полковник, при современных радиосредствах не нашли возможности установить постоянную связь со своей артиллерией?!

На артдивизионе Мякинин споткнулся дважды. Первый раз, когда не учел рельефа местности и болотистый грунт и согласился взять орудия не на гусе-

ничной тяге, а на колесах. Мякинин обязан был на-стоять, чтобы ему дали артиллерию на гусеничной тяге, он не имел права забывать урок предыдущих учений — тогда артдивизион тоже отстал, как сейчас, и отрицательно повлиял на маневренность, темп и стремительность наступления.

— Разрешите отдать боевое распоряжение?

Вопрос остался без ответа. Мякинин только теперь заметил негодующий взгляд генерала. Жезлов смотрел на чистого аккуратного офицера и думал: «К чему весь твой блеск и высокое звание, когда самое главное — твоя мысль никого не согревает, не живет, не ищет нового? Странно было бы, если противник стал дожидаться, пока наступит необходимая тебе темнота или рассвет, если он не использовал бы твоей оплошности с артиллерией, с которой уже несколько часов нет связи. Нет, глуп не враг, а тот, кто его считает глупым, слабым, не способным к внезапному удару...»

Ошеломляюще для Мякинина прозвучали слова Жезлова:

— Здесь уже некому отдавать распоряжения! Самолеты «противника», заметив скопление в роще, уничтожили штаб передового отряда. Командование переходит к командиру головной танковой роты.

И громче, чтобы шофер мог услышать, Жезлов потребовал:

— Машину!

* * *

Рассредоточив танки роты и приказав экипажам замаскировать их в ложине, у северной опушки рощи, Киреев и Донцов присели на замшелый пенёк. Они изучали по карте лес и высоту, которую предстояло штурмовать, захватить и удержать до подхода главных сил соединения. Донцова, находящегося все время с головной ротой, удручало, что стремительность наступления угасает, что передовой отряд действует не единым кулаком, а растопыренными пальцами, которые «противник» может рубить поодиночке. Его, как и Киреева, начинало беспокоить и то, что посланный на поиски артдивизиона танк старшего сержанта Солянина долго не возвращался.

— Может быть, вы мне скажете, Николай Кузьмич,— заговорил Киреев, складывая карту,— когда в нашем полку слово младшего офицера будет иметь какой-нибудь вес? Как только мы тронулись и подошли к первому заболоченному участку, я сказал полковнику Мякинину, что необходимо взять на танк офицера-артиллериста с его рацией, что в противном случае мы оторвемся от артдивизиона и связи с ним не будет. Знаете, что он мне ответил? «Вам положено думать о роте, а не о передовом отряде. Нечего вмешиваться».

— Сейчас, наверно, он вспоминает ваш совет.

— Ой ли?— усомнился Киреев.— Все же я не выдержал и, когда получил приказ Мякинина послать танк для поисков артдивизиона, дал Солянину задание: возвратиться только с радиостанцией, годной для связи с дивизионом, и привезти артиллерийского офицера.

— Солянин легок на помине,— сказал Донцов, улышав шум мотора.

Вскоре перед командиром роты стоял старший сержант Солянин. С танка спускался майор, командир артдивизиона, и за ним разведчик-наблюдатель с радиостанцией.

Грязное и потное лицо Солянина улыбалось. Он доложил, что приказ выполнен.

— Объявляю благодарность вам и членам экипажа.— Киреев пожал руку Солянину.— Машину поставьте в укрытие, замаскируйте. Быть в полной боевой готовности.

— Есть, в полной боевой!

Майор-артиллерист подошел к Донцову и Кирееву, виновато заговорил:

— Ползаем на колесах, застрѣваем, сами не рады. Смотрите,— он показал на карте.— Здесь мы остановились, в четырех километрах от вас. Я приказал на всякий случай занять огневые позиции и ждать по радио приказа. Вы не скажете, как найти полковника Мякинина?

Донцов пошел с майором к штабу передового отряда. Машина Солянина рванулась в укрытие. Из-за шума Киреев не услышал, как подъехал и остановился позади «газик» Жезлова. Пронзительный сигнал

заставил его оглянуться. Не выходя из машины, генерал устало махнул рукой — дал знак, что не надо докладывать.

— Капитан Киреев! — хрипло сказал он. — Полковник Мякинин и его штаб выбыли из строя. Вы являетесь командиром передового отряда.

Нелегко было Жезлову возложить задачу, с которой не мог справиться Мякинин, на Киреева. Сперва он хотел передать командование начальнику штаба полка, но от такого шага его удержало внезапно появившееся желание узнать, чему научился за десять послевоенных лет Киреев, проявлявший в боях пытливый ум и настойчивый характер. Он не забыл и недостатков лейтенанта: то, бывало, у него прорвется мальчишеская дерзость, то наивность, прямолинейность, свойственные юным, честным натурам и зачастую мешающие им понять поступки своих подчиненных. «Возмужал ли ты? Готов ли принимать быстрые и зрелые решения, которые диктуются обстановкой современного боя? А если испугаешься ответственности? — беспокоился за своего фронтового воспитанника старый воин. — Или, что хуже всего, отнесешься к этим обязанностям, как к игре, не требующей предельного напряжения?»

В упор смотрел генерал в лицо офицера, пытаясь уловить, как он воспринял неожиданный приказ. В глазах Киреева не было ни испуга, ни игривой веселости. В них отражались сосредоточенная мысль и благодарность за доверие.

— Карту! Знакомьтесь с обстановкой.

Киреев вынул из планшета карту, развернул ее, приготовил синий и красный карандаши. Его обветренное лицо было напряженно-внимательным.

И до этого момента Киреев тщательно изучал быстро меняющуюся обстановку, обдумывал разные варианты боя. Он прикидывал, какая может быть поставлена задача роте, и если задача будет именно такой, как он мыслит, то какими способами действовать, как лучше, с меньшими потерями выполнить ее. Теперь же возможности для творчества неизмеримо выросли. Передовой отряд! Сколько техники, сколько людей, какие огромные масштабы раскрылись вдруг. «Справлюсь ли?»

В роте Киреев знал, на что способен каждый солдат, каждый командир машины и механик-водитель. Он знал, какой запас мото-часов имеет тот или другой танк, куда его можно послать, поставить в ходе боя. Теперь же в десяток раз возросли его силы и во сто крат — ответственность.

Его мысли Жезлов словно читал. Спрыгнув с машины, он вдруг развел в стороны короткие сильные руки, потом свел кулаками к груди и, не то спрашивая, не то утверждая, воскликнул:

— Осилим?! — И тут же деловито спросил: — Обстановка ясна?

— Ясна.

— Сколько вам нужно времени для принятия решения?

— Артиллерийскому дивизиону хочу поставить задачу немедленно.

— Да вы же не знаете, где он?

— В четырех километрах от нас. — Киреев показал на карте.

— И что же, хотите перепрыгнуть эти четыре тысячи метров?

— Прыгать не придется, товарищ генерал. Я приказал своему командиру танка прихватить офицера с радиостанцией. Машина вернулась. С ней прибыл командир дивизиона. Разрешите его вызвать на вашем «газике»? Он ищет полковника Мякина.

— Разрешаю, — и Жезлов отошел в сторону, как бы говоря: «Посмотрю, как ты справишься».

Стремглав помчался «газик» к роше, и вскоре возвратились Донцов и командир артиллерийского дивизиона.

— Товарищ гвардии майор! Мне поручено командовать передовым отрядом, — сказал Киреев. — Слушайте мой приказ. Вашему дивизиону с занятых огневых позиций через сорок минут произвести короткую артиллерийскую подготовку. Первый огневой налет — пять минут. Задача: подавить огневые средства «противника» на северных скатах высоты 177,1, а одной батареей — минированный участок дороги. С началом атаки перенести огонь вглубь, создав огневой вал перед фронтом наступающих танков. После захвата

высоты дивизиону немедленно начать движение и присоединиться к передовому отряду.

Майор и разведчик-наблюдатель поспешили на южную опушку рощи, чтобы занять наблюдательный пункт и оттуда по радио руководить огнем артиллерии. Пока артиллеристы готовили исходные данные, Киреев отдавал боевые распоряжения командирам остальных подразделений передового отряда. Экипажам самоходок и нескольких танков он поставил задачу: одновременно с артдивизионом открыть огонь с закрытых позиций по северным скатам высоты. С южной опушки рощи должны были начать наступление саперная рота и мотострелковый батальон. По сигналу красной ракеты саперам, стрелкам, автоматчикам, пулеметчикам предстояло пойти вслед за танками и самоходками на штурм высоты прямо по дороге на юг. Во главе этой группы Киреев поставил Донцова.

Основные и самые маневренные силы передового отряда — танковые роты — Киреев решил стремительно вывести на запад, к дороге, идущей на юг, и обходом справа, по болоту, неожиданно атаковать западные и южные скаты высоты. Чтобы убедиться в проходимости болота, Киреев послал разведать его северный выступ, скрытый от глаз «противника» подковообразным изгибом рощи. Вскоре командир разведвзвода донес, что два танка прошли трясику, а третий застрял. Результаты разведки обнадеживали, но не снимали риска. Часть танков могла загрузнуть в болоте и быть расстрелянной артиллерийским огнем с высоты. Все же Киреев пошел на этот риск, надеясь выиграть на внезапности.

«В крайнем случае одна рота проскочит на высоту, — думал он. — Даже такой исход облегчит самоходчикам и мотострелкам штурм высоты в лоб, заставит обороняющихся распылить свои средства, даст возможность не просто сбить их с высоты, а уничтожить основные силы, не дать им отойти на юг».

6

К началу артиллерийской подготовки танковые роты, впереди которых шла машина Киреева, успели отойти немного назад, потом по полевой дороге

сделать бросок на запад и вытянуться колонной по хорошей грунтовой дороге, идущей с севера на юг. Во время первого огневого налета механики-водители включили наивысшую передачу, и машины походной колонной понеслись на юг. Сигнал для атаки оставшимся в роще силам передового отряда Киреев передал в момент, когда танки подошли уже достаточно близко к цели, но еще не могли быть обнаружены с высоты 177,1. Отвлеченный огневым налетом и началом наступления танков, самоходок и пехоты, вышедших из рощи, «противник» обрушил на этот участок весь огонь, решив, что именно отсюда направлен главный удар. Генерал Жезлов, мчавшийся на «газике» вслед за танками, обтекающими высоту, заметил просчет «противника» и своевременность начала атаки передового отряда. Но лучше всех видел этот просчет Донцов.

Он находился в боевой машине, шедшей позади головного танка. Разворачивая во все стороны прибор наблюдения, Донцов охватывал взором свои танки, самоходки и поднявшихся в атаку людей. Они решительно шли вперед на глазах у «противника», ведя огонь с ходу, и Донцову вспомнился ожесточенный бой на правобережье Украины, где ему пришлось заменить убитого командира батальона, повести танкистов и пехотинцев на штурм почти такой же высоты. Он подумал, что эти молодые солдаты, которые в то время еще только начинали ходить в школу, обладают той же хваткой, тем же наступательным порывом, что и танкисты и автоматчики-фронтовики, с которыми он тогда провел удачную атаку. Чем больше вспыхивали вокруг машин имитированные взрывы, тем Донцов был увереннее, что «противник» попался на хитрость Киреева, что на высоте до сих пор не видят надвигающейся главной опасности с фланга.

Наблюдатели обороняющейся стороны поздно заметили угрозу своему почти оголенному левому флангу и тылу. «Противнику» уже невозможно было противопоставить необходимые силы для отражения атаки. Снять технику и людей с северных скатов означало облегчить продвижение наступающих от рощи. Оставался резерв, который готовился контратаковать группу Донцова. Этот резерв из роты танков, самоходных

орудий и до дивизиона артиллерии стали спешно подтягивать к флангу.

По команде Киреева «влево, всем вдруг!» — танки развернулись в боевой порядок и, безостановочно двигаясь на низших передачах, ведя огонь с ходу, пошли по болоту на штурм высоты.

Жезлов остановил на дороге «газик», вышел, чтобы лучше наблюдать за полем боя. Одновременный поворот всех танков, четкое построение боевого порядка, мощное движение массы машин, будто управляемых рукой одного водителя, радовало бывшего танкиста. Издали ему казалось, что танки покачиваются на желто-зеленых волнах, тихо плывут, все плотнее сжимая высоту огромной бронированной подковой. А там, на скатах высоты, земля словно выбрасывала на поверхность горбатые квадратики танков «противника», его орудия.

Киреев вызвал по радио Донцова и сквозь разряды слышал его приглушенный голос. Донцов докладывал, что часть машин вышла из строя, но большинство танков и самоходок вместе с пехотой преодолело первую траншею на скатах высоты и движется ко второй траншее. Развернув влево смотровой прибор, Киреев увидел четыре застывших на месте танка. По тому, как время от времени вздрагивали корпуса машин, он понял, что гусеницы не в состоянии вырваться из трясины, а уходят все глубже. Он начал вызывать командира взвода тягачей, но тот не отвечал: видимо, отстал от далеко ушедших вперед танков. «Просчитался! — укорял себя офицер. — Понадеялся на неуклюжие тягачи, не взял десант саперов с подручными средствами. Они помогли бы сейчас танкам. Теперь расплачивайся...»

На правом фланге, где шли танкисты роты капитана Осадчего, грунт оказался более надежным, и командир просил разрешить ему убыстрить движение, чтобы скорее взобраться на высоту. Это было столь же заманчиво, сколь и опасно. Но отказаться от предложения Осадчего Киреев не мог. Наступил самый отчаянный момент боя. Уже несколько «вражеских» орудий были поставлены на прямую наводку, и Киреев приказал Осадчему выдвинуть вперед три машины, разрешил двигаться вслед за ними всей ротой на

высших скоростях, чтобы парализовать обороняющихся.

Киреев приник к окулярам прибора наблюдения. Он видел, как рванулись танки Осадчего. Вот уже один из них выскочил из низины, за ним другой. В это время машина Киреева остановилась, предательски задрожала корпусом. Занятый наблюдением за другими танками, Киреев лишь изредка смотрел на местность впереди своей машины и почти не помогал водителю ориентироваться. Опытный механик хорошо вел танк, пока ложная кочка не обманула его. Он надеялся развернуться на ней, чтобы выйти на пологий скат высоты, но почти у цели танк стал проваливаться в засасывающий грунт. Остаться в неподвижном танке нельзя было: он мог быть «подбит» в любой момент,— и Киреев, приказав выключить мотор, вместе с экипажем выскочил из машины. До твердой почвы оставалось метров сто. Киреев бросился бежать, перепрыгивал с кочки на кочку, спотыкался, падал, выбирался из болота по-пластунски, стремясь скорее попасть туда, где разгорелась решающая схватка.

* * *

Внезапно стихло. Лишь отдельные выстрелы слышались с юга. Затем и они смолкли. На высоту, на болотистые низины спустились сумерки. Киреев приказал мотострелковому батальону и зенитчикам занять круговую оборону, закопать на южных скатах самоходки, а танкистам привести в порядок материальную часть. Сам же пошел к западным скатам, чтобы проследить, как тягачи вытащат танки из болота.

Здесь и увидел его Жезлов. Киреев сидел на бруствере окопа, спустив с него ноги. Шлем лежал рядом. Спина была по-старчески согнута, взгляд неподвижно уставился на танки, застрявшие по ведущие колеса. Кирееву казалось, что не только танки, но и он вместе с ними провалился в засасывающее болото и не может из него выбраться.

Генерал остановился позади Киреева, глядел на его окаменевшую спину, понуро опущенную голову и вспомнил, что много лет назад далеко на западе, у Ра-

цибужа видел его точно в такой же позе у сгоревшего, последнего в его роте танка. Киреев не знал тогда, что операция закончилась успешно, что его потери окупились с лихвой. Он думал, что потерял не последний танк, а все, что было связано с его честью. И он сел возле оторванной, отброшенной в сторону башни и сжал голову руками. Его уговаривали уйти из-под огня, он отвечал: «Без танков мне некуда идти». К нему подъехал на машине Жезлов. Он ругал его жестокими словами, хотя в душе переживал то же, что и Киреев, и, не будь это в бою, он обнял бы раненую голову старшего лейтенанта и расцеловал бы ее... А сейчас? Что же сейчас заставило офицера удивиться? Какие думы бушуют его?

— Капитан Киреев!

Киреев вскочил, обернулся к генералу. Лицо было хмурым, грязным, щеки впали, губы плотно сжаты.

— Здесь не место командиру передового отряда. Эвакуировать машины может любой офицер. — В голосе Жезлова звучали добрые нотки, но Киреев не был в состоянии уловить их.

— Какой я командир передового отряда! Вон — сколько танков потерял, — он прогянул руку в сторону болота, где неповоротливыми сонными бегемотами торчали из грязи машины.

— Вы рассуждаете, как мальчишка! — с досадой сказал Жезлов. — Может быть, рассчитываете, что противник без сопротивления даст себя взять за горло, как вы его здесь взяли. Не забывайте, капитан, в боях и горе будет, и печаль, и потери. Научитесь только сделать их меньшими для нас и большими для врага, сумеете всегда внезапным маневром бить его так же успешно, как успешно заняли эту высоту.

Последние слова Жезлова были неожиданными для Киреева. Сквозь грязь на щеках проступил румянец, а язык между тем говорил не то, что хотелось.

— Но... я ведь допустил столько ошибок!

Генерал мотнул седой головой, улыбнулся:

— Смешной ты, право.

7

С учений танковый полк должен был прибыть на зимние квартиры, и в семьях офицеров готовились к

этому событию, как к большому празднику. Женщины дошивали обноvy, убирали в квартирах, стряпали любимые мужьями пироги. Малыши разучивали несложные стишки и сказки. Школьники больше занимались, чтобы обрадовать отцов успехами. Всюду в городке чувствовалось оживление. И только Зинаида Степановна не участвовала в обычной веселой суете.

Ее будто подменили. С полным безразличием к беспорядку слонялась она по трехкомнатной квартире, не беспокоясь, что на мебели пыль, что с окон не стерли замазку, что книгами завалены все углы. Часами неподвижно просиживала в кресле, не подходила к пианино, которое Мякинин купил ей недавно. Все, что Мякинин делал для нее после той поездки, настраивало против него. Не могла она простить ему, что ради своей карьеры и выгоды он так унизил ее достоинство.

Словно чувствуя, как Зинаида Степановна мечется в поисках выхода, Чумак перед ее выездом из лагеря все чаще приходил к ней, когда она оставалась наедине, выказывал свое участие, вызывал на откровенность. Как хотелось Зинаиде Степановне в те минуты признаться ему, что она его любит, что никогда не испытывала такого сердечного влечения, какое испытывает к нему. Но ее удерживали воспоминания о встрече с Верой Чумак, и мысли, что она не имеет права, не станет разрушать молодую семью. «Если бы у Валерия не было жены, я могла бы быть счастлива», — думала она. Временами эгоистическое чувство брало верх, казалось, ей нет никакого дела до страданий Веры, тем более, что Чумак жену не любит. Сказал же он ей, провожая из лагеря, что будет скучать, что не возьмет Веру к себе, а хочет быть только с ней.

Дома Зинаида Степановна еще острее ощутила, насколько пустой, никчемной была вся ее жизнь с Мякининым. С нетерпением ждала приезда Чумака, думала, он сразу забежит к ней, она с ним посоветуется, как с другом, а увидела его в соседнем подъезде нового дома неожиданно, когда спускалась от приятельницы. То, что он к ней не зашел, насторожило, и она остановилась на несколько ступенек выше, не доходя до него. Чумак не заметил Зинаиды Степановны. Перегнувшись через перила, он кричал спу-

скавшимися по лестнице солдатам, чтобы бережно заносили трюмо и пальму. «Занимает новую квартиру... Вера, конечно, приехала... Клялся: готов со мной хоть на Курилы... Глупая, как могла верить... Женился на дочери генерала ради карьеры — разве он ее оставит!..»

Зинаида Степановна решила пройти вниз, не заговаривая с Чумаком, но он, услышав шаги, обернулся.

— Зинаида Степановна? Мне надо сказать вам...

— Не оправдывайтесь... Передайте привет жене.

— Она не приехала... Она придет... — Чумак нервничал, надкусывал мундштук папиросы, — поймите, я должен, мне без нее... как же...

Но ни сказать правду, ни выдумать что-нибудь под ее пристальным взглядом у него не хватило сил. Не мог он признаться, что испугался требования жены: или быть вместе, или навсегда разойтись.

— Мы можем встречаться, только не здесь, — зашептал он, преградив дорогу.

— Встречаться?! — она отстранила его и побежала прочь.

Больше не было ни мечты, ни надежды — внутри все заморозилось, оставалась только горечь от сознания, что так не удалась жизнь. Зинаида Степановна ворошила пережитое, осуждала себя за непоправимые ошибки и пыталась разобраться — действительно ли она любит Чумака.

«Нет, то была не любовь, — все чаще ловила себя на мысли Зинаида Степановна. — Это тоска по любви, которой не испытала... Исковеркана жизнь. Не потому ли, что с первой встречи с Мякининым сама себя обкрадывала, отняла у себя юность?..»

О муже Зинаида Степановна думала, как о чужом человеке. Ее не затронули разговоры жен штабных офицеров о неприятностях, которые были у него на учениях и на разборе. Узнав, что вечером ожидается последняя группа командиров, она затопила колонку в ванной, приготовила ужин, слегка прибрала в спальне.

Мякинин не стал звонить, когда пришел. Открыл дверь своим ключом, снял шинель, фуражку и, не очищая сапог от прилипшей грязи, прошел в столовую.

Зинаида Степановна поднялась с дивана, откинула в сторону книжку.

— Ах, это ты, Петр.

— А ты будто не слышала,—сердито заговорил Мякинин, исподлобья разглядывая неубранную комнату.

— Смотри, ты же наследил. Сними в коридоре сапоги. Как тебе не совестно?

— А тебе не совестно меня так встречать? Квартиру — и ту не прибрала!

Подъезжая к дому, Мякинин размышлял о встрече, какие нередко бывали у него с женой в прошлом. Но только он вошел в столовую, заметил запыленную, нераскрытую крышку пианино, увидел отчужденность в глазах жены, как его охватил гнев.

— Муж я тебе или? — Он сделал два шага к ней. Она отступила.

— Злобу на мне срываешь. Правда, значит, Киреев показал себя на учениях лучше, чем ты?

— А тебе что? Испугалась? Хотела быть женой командира полка, а он, думаешь, не сдюжил. Ошиблась, Зинаида Степановна. Я команду и буду командовать полком. А Киреева выгоню!

Таким, как в эти минуты, Зинаиде Степановне еще не приходилось видеть мужа.

Когда Мякинин заснул, Зинаида Степановна накинула на себя легкое демисезонное пальто и, забыв надеть шапочку, ботики, выскочила на улицу. Она не знала, куда бежать, но хотела уйти подальше от мужа, который стал ей невыносимым. Прежняя брезгливость дополнилась ненавистью — острой ненавистью к человеку, растоптавшему ее жизнь. С раскрытой головой шла она под дождем куда-то в темноту, месила грязь, не ощущая ни холода, ни сырости, вспоминая угрозы мужа. «Он мстителен. Он все сделает, чтобы уволить Киреева, а у Нади больные дети. Что она будет делать?»

Впервые за долгие годы Зинаида Степановна подругески вспомнила о Надежде Павловне. Она ее знала по родному городу и школе, где вместе учились. Потом, когда Надя возвратилась на Волгу с мальчиком, Зина отвернулась от нее. «Как я могла... поче-

му не навестила Надю, когда услышала о болезни сына? Надо ее предупредить, что Мякинин хочет уволить Киреева».

Зинаида Степановна не сумела найти хату Киреевых, не предупредила Надю. В полночь неожиданно оказалась возле своего дома. Она была в отчаянии, что должна переступить его порог, но физических сил снова уйти у нее не хватило.

8

Военно-научная конференция в полку готовилась под особым контролем Мякинина. Офицеры штаба ночами чертили карты и схемы, писали для Мякинина объемистый доклад, используя по его указаниям данные секретной и открытой литературы, которые смогли бы в какой-то мере оправдать его действия на тактических учениях. «Жезлова,— думал Мякинин,— слышали на разборе учений всего несколько человек из полка, а о поражении Киреева на конференции будут знать все».

Доклад Мякинина о действиях танков в современном бою длился два часа, и более половины этого времени он говорил о последних учениях, о передовом отряде и ошибках Киреева.

— Представьте себе, товарищи, что мы были не на учениях, а в бою с сильным и умным противником. Что осталось бы в таком случае от танковых рот, которые Киреев повел через болото? На учениях наш условный противник стрелял холостыми снарядами и сбрасывал на боевые порядки условные бомбы. От них, как известно, броня не раскалывается и танки не горят. А если настоящий враг обрушил бы на дневное, я подчеркиваю, дневное скопление застрявших в болоте машин настоящие снаряды и бомбы,— тогда и дыма не осталось бы от передового отряда, от новых танков.

Он повел головой в сторону Киреева, ироническим тоном продолжал:

— Капитан Киреев возгордился: его, видите ли, ротного, поставили на место командира полка. И закружилась голова капитана. Забыл о преимуществах

ночной атаки перед дневной, забыл, что есть саперы, которых надо посадить десантом, раз решил двигаться через болото, забыл о тягачах. В болоте, в котором завяз Киреев, не то что танки — люди тонули. Это авантюризм, а не тактика!

Киреев сидел в пятом ряду, у окна. Он ловил на себе то сочувственные, то укоризненные взгляды сослуживцев, а за спиной слышал шепот: «Не знаю, как Киреев, но я бы попросил прощения у полковника. Такое натворил!» Киреев и виду не подал, что расслышал реплику. Устремив взор на трухлявые ножки стула, думал: «Точил меня Мякинин, как червь этот стул, а сейчас наступает, надеется, что ни один офицер не решится оспаривать его мнение. Как быть мне?.. Выступить или нет?»

Докладчик между тем переходил от карт к схемам, доказывал справедливость своих решений, а в это время Киреев как бы со стороны оценивал и себя и свои размышления: «Выходит, ты смел, Алексей, только с кулаками в карманах».

Во время перерыва Киреев вышел покурить и в коридоре столкнулся с Донцовым.

— Будете выступать?

— Подумаю.

— Времени много было думать, не малодушничайте!

Десять минут пробежали быстро. Киреев только начал набрасывать мысли в блокнот, как Мякинин, снова заняв место председателя, спросил, кто желает слова, и, не дожидаясь ответа, назвал заместителя по технической части. За ним выступили еще два офицера. Они монотонно прочитали десяток страниц, отпечатанных на машинке, и покидали трибуну с такой же холодностью, как и подходили к ней. Донцов морщился. Он знал, что Мякинин выхолостил доклады этих штабных офицеров, оставив только списанные абзацы из чужих статей. На трех выступающих список иссяк, и это вполне устраивало Мякинина. Он еще раз обратился к присутствующим, сказал, что не к лицу танкистам быть пассивными в столь важном мероприятии. Но в том, как он это говорил, даже не в тоне голоса, а в наклоне головы, в едва заметном прищуре глаз Киреев уловил, что Мякинин доволен

этой пассивностью. Тот уже закрыл было кожаную с золотым тиснением папку, когда поднялся Киреев.

— А-а,—неопределенно протянул Мякинин,—хорошо, что хотя бы вы берете слово.

«Он и этим «хотя бы» хочет меня унижить,—подумал Киреев, направляясь к трибуне.—Что ж, бой так бой!» И, не раскрыв блокнота, Киреев начал совсем не с того, что было у него написано.

— В конце доклада вы, товарищ гвардии полковник, призвали участников конференции высказывать свои мысли и предложения, способные двигать вперед военную науку. Хороший призыв.

Пальцы правой руки коснулись груди, взор встретился со взорами многих. И Киреев почувствовал не по тишине, а по тем невидимым нитям, которые объединяют одинаково мыслящих людей, что его слушают, доверяют высказывать общие, волнующие многих офицеров думы.

— Не грех признаться, что в нашем полку мы свою лепту еще не внесли. Между тем нигде нет таких благоприятных условий для оперативной, деятельной проверки на практике теоретических положений, какие имеются в полках. Мы осваиваем новую технику. Кому же, как не нам, сказать, как лучше, с большей пользой применять ее в бою. Кому, как не нам, по-новому обучать людей и по-новому применять их силы на поле боя. Многие офицеры, сидящие здесь, творят новое, интересное, полезное. А вот обобщать свой опыт, вывести теоретические положения из этого опыта мы все еще боимся. Не пора ли раскрыть окна и в нашем полку, чтобы свежий воздух творчества проник к нам, освежил наши головы.

Последние слова Мякинин принял на свой счет. Мнительный, ревнивый к каждому слову, он ждал подвоха со стороны Киреева и не мог понять, что не о нем, а обо всех идет речь. Он прервал выступающего:

— Ваше время подходит к концу, а вы, товарищ капитан, еще ничего не сказали по обсуждаемому вопросу. Одни декларации—это холостой выстрел.

— Извините, товарищ гвардии полковник, но я не слышал, чтобы устанавливали регламент. Впрочем, я

перехожу к затронутым вами вопросам. Разрешите?

С каким наслаждением Мякинин лишил бы его слова, как он жалел, что это не служебное совещание, а конференция.

— Говорите по существу.

— Слушаюсь.

Киреев раскрыл блокнот и пункт за пунктом стал отвергать обвинения, выдвинутые против него Мякининым. Говорил он сдержанно, не умаляя авторитета заместителя командира полка как старшего на конференции, как единоначальника.

— Мы часто говорим о ночных действиях. Полезность их бесспорна. Означает ли это, однако, что надо ждать ночи и в тех случаях, когда можно успешно действовать днем? По-моему, не означает. Ночные действия выгодны с точки зрения внезапности, скрытности. Но они нередко затрудняют, особенно для танкистов, видимость и маневр. Когда мне поставили задачу, я думал, как ее быстрее и лучше выполнить, и решил, что внезапность будет достигнута фланговым ударом именно через болото, откуда нас не ожидали.

Он сделал паузу, посмотрел запись и, закрыв блокнот, продолжал:

— В той обстановке, какая была создана на тактических учениях, я считал целесообразным нанести главный удар не по сильному, а по слабому участку обороны противника с выходом во фланг. Следует подчеркнуть, что если бы весь передовой отряд наступал скопом даже ночью, атаковал высоту в лоб, то при любых условиях «противник» вывел бы из строя все танки. Тут на успех, мне кажется, надеяться было невозможно.

Что же касается моих ошибок, то благодарю гвардии полковника за замечания, которые касались саперов и тягачей. Я не учел трудностей преодоления болота. В остальном я искал решения, диктуемого обстановкой и наступательным порывом наших танкистов.

Заметив иронические улыбки, которыми обменялись Мякинин и зампотех, Киреев сделал паузу и, пристально глядя на улыбающегося зампотеха, сказал:

— Мне кажется, некоторые товарищи меня не поняли. Объясню, что я имею в виду. Большинство офицеров полка были на фронте и знают: если танкисты с азартом пошли в наступление, то сдерживать их порыв, останавливать без крайней необходимости нельзя. Мне говорят, вы слишком быстро кинулись на высоту. Не я — наши люди были настроены на горячий бой, на достижение победы, и ставить им в тот час холодные компрессы я считал неправильным.

Мякинин не перебивал больше Киреева. Он надеялся, что в пылу полемики у того вырвется хоть одна неудачная фраза, которую можно будет оценить как личный выпад против него, как подрыв авторитета единоначальника. Кирееву действительно хотелось говорить прямее, резче, но он чувствовал, что этого делать нельзя, что и без того Мякинин не простит ему этого выступления.

— В анкете делегата конференции спрашивается, какие мы имеем предложения. Прежде чем внести их по вопросам использования мелких танковых групп в наступлении, разрешите одно общее замечание.

К сожалению, ряд ценных предложений офицеров, внесенных на нашей предыдущей военно-научной конференции, до штаба округа, как мне известно, не дошел. Их несколько раз переписывали и настолько сгладили, что свежей мысли в них почти не осталось. Порядок необходим, по-моему, иной: по каждому полезному и интересному предложению должна давать заключение комиссия из компетентных офицеров во главе с командиром полка. И, если ценность предложения неоспорима, довести его без всяких лишних инстанций, без рогаток и проволочек до командующего округом, до министра обороны, до Генерального штаба. А если речь пойдет о разработке офицером большой научной темы, то мы обязаны установить прямую связь с академиями, чтобы наш товарищ мог получить совет и консультацию.

То внимание, с которым зал слушал речь Киреева, те выступления, которые последовали после него, вопреки желанию и намерениям Мякинина, подтверждали его самые худшие опасения. Он решил, как можно скорее избавиться от Киреева.

В день проводов демобилизованных танкистов рота Киреева находилась в карауле. К посту возле дальнего склада долетали всплески оркестра, слабый отзвук могучего «ура». Прохаживаясь от одних ворот склада к другим, Василий представил себе, как демобилизованные прощаются со знаменем и товарищами, какие им хорошие слова говорят, как им приятно, что они едут домой, и как грустно расставаться с однополчанами.

За торжественным маршем оркестр заиграл искристую задорную лезгинку. Василий знал: это вышел в круг Шота Джавахадзе, непревзойденный в полку исполнитель кавказских плясок. Все быстрее музыка, сотни рук отбивают пружинистый такт, а в центре, расставив руки, как крылья, орлом носится Шота, падает на колено, застывает с откинутой головой и, поднявшись, с яркой лихостью заканчивает танец.

Василий думал, что проводы затянутся, что роту успеют сменить с караула до отъезда демобилизованных на вокзал и он сумеет вручить друзьям подарки: бритвенный прибор — Джавахадзе, автоматическую ручку — Киримову. Василий прислушивался — оркестр надолго замолк, значит, пошли за вещами. Наверное, демобилизованные выходят с чемоданами к машинам, усаживаются. Сейчас оркестр заиграет прощальный марш... Почему его не слышно? Может быть, они задержатся...

В то время, пока Василий надеялся и терял надежду увидеть товарищей, Джавахадзе и Киримов пришли к караульному помещению проститься с танкистами своей роты.

Киреев пожелал демобилизованным счастливого пути, успехов в жизни, расцеловался с ними, просил написать, где и как устроились. Киримов на все слова Киреева согласно кивал головой, улыбался раскосыми глазами, а попросив слово, разволновался и только мог произнести:

— Не забуду боевой роты! Не забуду отец, гвардии капитан Кирееви!

Джавахадзе тоже расчувствовался, горланно воскликнул:

— Приглашаю в солнечную Грузию!

Хотя другая рота вскоре заступила в караул и Василий быстро сменили, он пришел в казарму через час после того, как демобилизованные уехали на вокзал.

— Я их застану, товарищ гвардии капитан, — прошил Василий Киреева. — Разрешите попрощаться.

Киреев выписал увольнительную записку, Василий побежал самой короткой дорогой, а затем прямо по шпалам, к вокзалу, и все же опоздал — поезд тронулся, шел ему навстречу. Он отскочил в сторону, увидел в окне иссиня-черные кудри Шоты Джавахадзе.

— Шота! — крикнул Василий, но звуки духового оркестра на перроне, пронзительный свисток маневрового паровоза на путях заглушили голос.

В руках у него были подарки товарищам: «Сяду... Передам...», — мелькнула мысль и, не отдавая себе отчета, к чему это может привести, Василий повис на подножке, вбежал в вагон.

— Васа! Генацвали! — Джавахадзе сдал в объятиях Василия. — Душа знала: прилетишь!

Василий отдал ему бритвенный прибор, стал искать Киримова. В отличие от экспансивного Джавахадзе, осторожный Киримов, увидев товарища, спросил:

— Капитан сказал вагон садись? Не самоволка?

— Ты же сам, Абай, говорил: есть бегом — есть комсомол, нет бегом — нет комсомол, — пошутил Василий. — Сейчас сойду на товарной станции, от нее вмиг добегу.

— Товарный вот — остановка нету!

Василий опешил, сунул в руку Киримову авторучку, кинулся к выходу.

— Васа, голову пожалей! — вслед кричал Джавахадзе.

Василий выскочил в тамбур, распахнул дверь, стал на нижней ступеньке, правой рукой ухватившись за поручень и высматривал менее опасное место для прыжка. «Не трусь... Давай!» — подбадривал он себя, а прыгать на полном ходу было страшно. Мысль, что он подвел Киреева, что если не соскочит, то доберется от станции до казармы, наверно, утром,

заставила опустить руку, но спрыгнуть он не успел — Джавахадзе вцепился в него, втянул в вагон.

— Дурак, Васа... Убиться хочешь!

— Я опоздаю, капитана Киреева подведу!

— Без ног, без рук будешь — больше подведешь. Знаешь, какой чепе будет?!

На станции Василию повезло — там оказался грузовик, шедший в военный городок. Все же добрался он до казармы к отбою, опоздав на три часа.

Его давно искали. Вернувшиеся с вокзала танкисты говорили, что они Василия не видели. Киреев звонил в комендатуру, послал на поиски нескольких сержантов и солдат. Он не допускал мысли, что Василий ушел в самоволку и где-то пьянствует, как выразился Чумака. Он верил солдату и боялся, что с ним случилось несчастье. Увидев Василия, Киреев облегченно вздохнул, но спросил строго:

— Где были три часа?

Как на ступеньке вагона, когда он хотел спрыгнуть, так и сейчас у Василия стало горячо в горле, и он выдохнул жаркий комок:

— Вскочил на ходу, думал выйти на товарной, — и, рассказав все, как было, попросил: — Накажите, товарищ гвардии капитан, я заслужил.

Киреев слушал шагая по тесной комнатке и бросая быстрые взгляды на сконфуженного Василия.

— Ваш поступок я попрошу обсудить на комсомольском собрании. Спасибо Джавахадзе, удержал вас от большой глупости.

* * *

Приказ о перемещении Киреева из танковой роты в подразделение молодых солдат взволновал его подчиненных. Одни недоумевали, другие говорили, что это результат происков старшего лейтенанта Чумака, давно метившего на место командира роты. Чумака и раньше не уважали, а теперь его поведение вызвало внутренний протест. Не успел Чумака приступить к приему дел, как тут же при солдатах учинил небывалый разнос аккуратному, исполнительному старшине роты. Ему не терпелось установить свои порядки, задрал голову, свысока глядел на таких же, как он до вчерашнего дня, командиров взводов.

После занятий Василий забился в угол казармы, огороженной фанерными щитами. Сюда реже долетал заносчивый голос Чумака, здесь никто не мешал ему обдумать последние события. Василий вспомнил начало службы в роте, все, что пришлось пережить Кирееву из-за него, и выходило так, что он в какой-то мере повинен в гонении на Киреева. Из-за случая на вокзале опять вышел спор между офицерами. Чумак предлагал лишить Василия присвоенного ему после учения звания ефрейтора, а Киреев поручил обсудить его проступок комсомольцам.

Комсомольское собрание проходило бурно. Василию напомнили и самовольную прогулку к рыбакам в начале лета, и пререкания с командирами, и провинности поменьше, о которых он и позабыл. Сочнев тоже выступил и говорил строже, чем в беседах с ним наедине. Василий ждал — сейчас поднимутся Солянин и Киреев, скажут: мы рекомендовали Зарембу в комсомол, мы и предлагаем исключить его. Но председатель собрания Солянин дал слово Василию и, когда тот признал свою вину, предложил ограничиться обсуждением и поверить молодому комсомольцу, что он больше не допустит отступлений от уставов и приказов командира.

«Чумак никогда не поймет человека, как Киреев. Опять начнутся придирки». — переживал Василий. Непоправимой бедой казался ему уход Киреева из роты, и, когда он слышал, как Сочнев кличет его, разыскивает по казарме, он подумал, что Чумак уже вызывает на расправу.

Выйдя на зов, Василий в проходе между койками столкнулся с Сочневым.

— Мы с вами на днях уйдем из роты. Киреев с собой забирает.

— Куда?

— К новичкам. Капитан будет обучать пополнение, а мы помогать ему.

— Здорово! — не удержался Василий.

Ни он, ни другие подчиненные Киреева не могли знать, как оскорблен их командир. Мякинин даже не счел нужным объяснить, почему лишает Киреева права командовать танковой ротой. Черствым голосом он объявил приказ, сказал, что срочно выезжает

в округ и разговаривать ему с капитаном некогда. На другой день Киреев упросил начальника штаба полка разрешить взять с собой к новому пополнению двух танкистов по собственному выбору.

Услышав от Сочнева, что Киреев забирает их от Чумака, Василий до того повеселел, что готов был закричать «ура».

— Для своего сына капитан не смог бы, кажется, сделать больше, чем для меня, — задушевно сказал Василий.

— Такой уж человек, сердце у него вместительное, — подтвердил Сочнев.

* * *

Из уволенных в запас танкистов первым дал о себе знать Абай Киримов. Когда почтальон принес письмо, в комнате у Киреева был Сочнев, и они читали вдвоем, радуясь за товарища.

«Здраст отец гварди капитан Кирееви!

Сообщаем свою жизни.

Я возвращал на свой родина. Я приехал свою станция. Меня мать, жена Мамлакат, брат, товариш, все семьдесят пять человек встретил на вокзал, ехал на кишлак.

Вы меня прекрасно знаешь. Я три года никак нарушениа не был, потому что я водка не пил, само-волка не бегал. А зачем не пил? Водка нет на Украине? Есть водка на Украине. Я держал свою дисциплина, я держал свою рота.

Вот я приехал свою город. Неделю не работал, вино пил, баранин закусил. Сейчас работаю в колхозе. Учусь трактористом.

Колхоз миллионерный. На один трудодень пять кило хлеба, пятнадцать рублей.

Мой жизни очень хорошо.

Еще благодарю, дорогой отец Кирееви. Желаю вам здорови, хороший служба.

Привет старшина рота Сочнев. Привет Василь Заремба.

Привет отец подполковник Донцов. Привет боевой рота,

Абай Киримов».

Получил бы Киреев это письмо раньше, он сам прочитал бы его солдатам и сержантам. А теперь, после приказа сдать роту Чумаку, он усомнился, правильно ли его поймут танкисты, не будет ли неуместным с его стороны обнародовать личное обращение к нему.

— Надо читать, товарищ гвардии капитан, — настаивал Сочнев. Улыбка, появившаяся в начале знакомства с письмом, так и оставалась на его широком лице. — Честное слово, полезно будет!

— Что ж, товарищ парторг, читайте, — согласился Киреев. — Только без киримовской грамматики. Не все знают, как трудно было Киримову в начале службы, как он вырос за три года.

Сочнев вышел из комнатки командира роты и, держа конверт в руке, твердым, гулким шагом направился к ленинской комнате. Как всегда вечером, она была переполнена. За маленькими столиками, расставленными по углам, шли битвы в шахматы и шашки. Увидев старшину, танкисты поспешили подняться. Сочнев помахал рукой, давая понять, что вставать не надо, прошел в глубь комнаты.

— Хотите, товарищи, послушать, что пишет нам Абай Киримов? Мне кажется, всем будет любопытно.

— Конечно.

— Читайте, товарищ гвардии старшина.

— Можно мне? — спросил Василий. Он неожиданно предложил партнеру ничью в выигрышной для себя партии шахмат, подошел к старшине. — Я вслух.

— Пожалуйста, но с чувством и без ошибок в грамматике — капитан просил.

— Хорошо.

Василий читал чуть нараспев, с характерными для Киримова интонациями.

— Хорошо бы, товарищи танкисты, написать Киримову ответ, — предложил Сочнев. — Как думаете?

— Одобряем!

При передаче дел Чумаку Киреев оставался сдержанным, хотя внутри все кипело, сопротивлялось. Он знал: Донцов до последнего дня возражал против выдвижения Чумака, и если Мякинин не посчитался

с замполитом, значит, Мякинина кто-то поддержал выше. «По поведению Мякинина и Чумака видно, что приказ о моем временном переводе написан для отвода глаз,— думал Киреев.— Пройдут месяц-два, примут новички присягу, уедут, и тогда окажется, что для меня нет штатной должности в полку. Одна надежда — на возвращение полковника Целищева. Он сумел бы разобраться, кого надо уволить, а кого оставить. А что будет, если Целищев не вернется в полк?..»

Пока Киреев был занят передачей дел, Сочнев и Заремба приняли молодых солдат и вместе с ними благоустраивали казарму.

К новичкам Киреев впервые зашел вечером. В казарме пахло свежeweыстиранным постельным бельем и масляной краской — в этот день покрасили пирамиды для оружия и солдатские тумбочки. Белые занавески на окнах, ровные шеренги кроватей, новенькие шинели на вешалке, — все отвечало уставным требованиям.

Дневальный смущенно закашлял, выпучил большие глаза на капитана и, забыв, как старшина Сочнев учил его представиться начальству, крикнул громко и испуганно:

— Стар-ши-на-а-а!

— Так здесь же нет его, — сказал Киреев дневальному, который зачем-то приподнял руку и боялся почтительно почесать ее. — Вам гвардии старшина Сочнев не говорил, куда он поведет роту?

— Куда? — переспросил солдат, опустив руку и стараясь принять строевую стойку. — Говорил. Ушли в комнату, ну, как она называется?.. Да, славы...

Киреев объяснил дневальному, как требуется по уставу встречать командира, показал правильную строевую стойку и направился в комнату боевой славы полка.

Дверь была приоткрыта, и когда Киреев вошел, никто не заметил его. У карты боевого пути плотным кольцом стояла молодежь. Старшины Сочнева не видно было из-за высоких фигур. Лишь его рука с золотистым шевроном на рукаве изредка поднималась над головой, и, чуть дребезжа, звенел его голос.

— Посмотрите на портреты танкистов, о которых я вам говорил. Своим мужеством и мастерством они

добыли гвардейское знамя и вот эти боевые ордена.

Рядом со стендами, посвященными фронтовикам, висела Доска отличников боевой учебы. Сочнев рассказал о Джавахадзе и Киримове, о старшем сержанте Солянине.

— И вы сможете стать отличниками.

В полукольце солдат образовался просвет — Сочнев увидел Киреева.

— Рота, смирно! — скомандовал Сочнев, доложил о теме беседы и количестве присутствующих. Киреев поздоровался с солдатами, внимательно вглядываясь в лица, возбужденные рассказом старшины.

Кирееву не терпелось поближе узнать новичков. Он повел их в учебный класс и, усадив за стол, предложил каждому солдату назвать себя, рассказать, откуда приехал и какое имеет образование.

Первым поднялся худощавый юноша с большими, сильными руками рабочего.

— Белых, Иван Ефимович. С Урала. Был старшим оператором блюминга, учился заочно в техникуме.

— Зотов, Илья Ефимович, — вскочил вслед за ним круглый, курносый крепыш с пухлыми губами. — Из Астрахани. После десятилетки работал слесарем.

— Белецкий, Гордей Гордеевич. Из Ленинграда. Два года плывал помощником машиниста на торговом океанском судне, кончил техникум.

— Закиров Мамед — комбайнер, совхоз, Казахстан, семилетку.

Давно ли при знакомстве с новичками Киреев слышал, что они имеют 3—4 класса образования. То были юноши, вынужденные во время войны оставить школу, помогать с малолетства матерям, заменять ушедших на фронт отцов в поле или у станка. Иные, прибывшие из окраинных республик, совсем не знали русского языка, и их обучение приходилось начинать с букваря. А эти парни сели за парты, когда уже отгремели бои. Школа дала им знания, а производство — трудовые навыки, умение обращаться со сложными машинами и агрегатами. «Вот почему такая смелость и уверенность в их взглядах, в их голосах, — думал Киреев. — Почти половина людей со средним образованием! Можно ли сейчас обучать молодое пополнение теми же

методами, в те же сроки, что обучали раньше? Нет. Техника новая, а будет новейшая, требования к армии с каждым днем растут и обучать этих юношей надо уже сегодня по-другому».

* * *

Подполковник Донцов не спеша шел по городку, направляясь в танковый парк.

Он миновал склад и, толкнув железную калитку в воротах кирпичного здания, увидел Киреева, копавшегося в горке устаревших деталей.

— Ищу вас. Вы что в комбинезоне, как заправский ремонтник?

— Любопытное дело задумали, — Киреев выпрямился. — Зачем я так срочно понадобился?

— Меня интересует, как ведете занятия с новичками.

Киреев вытер тряпкой пальцы, и, постепенно увлекаясь, стал рассказывать:

— Программы, как вы знаете, у нас еще иногда рассчитаны на такого примерно солдата, как Киримов, когда он пришел в роту. Тогда понятно было, зачем дают на учебный час всего две-три страницы — сержантам приходилось читать их Киримову чуть ли не по складам. Теперь же к нам пришла такая молодежь, что порой хочется у них поучиться. Дал я им достаточно учебников, определил, что за час они могут изучить до шести страниц, а сам беспокоюсь — не много ли? Сперва мои юнцы по шесть-восемь страниц прочитывали и конспектировали за час, потом солдат Белецкий пришел с просьбой от всех: «Разрешите, говорит, теорию вечерами штудировать, а днем будем больше заниматься в танке, в строю, где важнее. За теорию не беспокойтесь — через месяц первый экзамен сдадим, на пять...» Поразмыслил я, и в виде опыта увеличил практические занятия. Нажал больше на строевую, на физическую подготовку, на изучение техники, оружия. И опыт оправдал себя — подчас сам не верю, что они только-только пришли в армию!

— Видел я Сочнева с молодыми. Ходят они в строю отменно! — Донцов улыбался, довольный тем, как Киреев горячо говорил о своих питомцах. — Дерзайте, Алексей Матвеевич, Ваш метод обучения, я уверен,

станет достоянием всех частей округа... Да, вы так мне и не ответили, к чему этот комбинезон?

— Танковый электрифицированный полигон делаем. Пройдемте в мастерскую.

Они вошли в перегородженное помещение, у больших светлых окон которого стояли станки, приборы, а возле них — солдаты и сержанты.

— Видите, сколько новаторов! Это новички присоединились к нашим рационализаторам. Получилось превосходное содружество. — Из-за шума моторов, стука и скрежета Кирееву пришлось повысить голос. — Золотые руки у солдата Зотова. Он делает самый сложный механизм — для перемещения экрана. А тот, уралец, Белых его фамилия, любит монтировать электросхемы.

Заметив за перегородкой Василия с двумя незнакомыми солдатами, Донцов пошутил:

— Это ваше конструкторское бюро?

— Что-то подобное бригаде коллективного творчества. Для решения трудных технических задач полезен коллективный ум.

У помощников Василия вышла какая-то заминка. Увидев Киреева, они попросили его пройти с ними к слесарям. Донцов незаметно стал за спиной Василия.

— Здравствуйте, товарищ гвардии ефрейтор! Творим?

Василий обернулся. Напряжение на лице сменилось выражением радости.

— Здравия желаю, товарищ гвардии подполковник! Помогаю капитану: занятную вещь он придумал.

— А капитан Киреев говорит, что это вы, Зотов да Белых придумали.

— Нет, уж поверьте, без гвардии капитана Киреева ничего бы мы не сделали.

Донцов осмотрел прибор, над которым трудился Василий, похвалил солдата, спросил:

— А Шура пишет?

— Два письма получил. Хотите почитать?

Пальцы вмиг расстегнули карман гимнастерки и опять застегнули. Василий хотел поделиться с замполитом, но, должно быть, не мог решиться показать письма. Донцов это понял.

— Читать мне сейчас некогда, а хочется знать: письма хорошие?

— Очень, товарищ подполковник, такие... Шура пишет: и работа, и учеба — отлично. Елена Васильевна помогает... Передайте ей мою благодарность за это...

— Разгон берет дивчина. Как вы догонять ее думаете?

— Наверстаю, товарищ гвардии подполковник, свое не упущу!

Сверкнули глаза, покраснелся Василий. Донцов понял: в душе молодого танкиста созрело сильное чувство.

11

В начале октября рота молодых солдат впервые участвовала на тактических занятиях. День выдался капризный — серый, холодный, с пронизывающим ветром. Нелегко было новичкам поспевать за стрелками, привыкшими к дальним переходам. Все же они не отставали, двигались в боевых порядках так, как требовали условия «боя».

Ближе к вечеру ветер усилился. Он натянул лиловые космы туч, спрессовал их в чугунную во все небо плиту, которая угрожающе нависла над ярами, полями и перелесками, постепенно опускаясь все ниже. Прижатый к земле ветер озлился, со свистом бил в грудь, словно наждаком царапал лица. А Киреев все торопил танкистов. Им надо было до наступления темноты выйти на перекресток дорог — километра четыре дальше на запад.

Когда до перекрестка оставалось не более двух километров, пошел крупный, хлесткий дождь. Несколько минут — и вода заполнила ямки и ровики, сделала скользким каждый бугорок. Стоило солдату не так ловко взобраться на бугорок, он катился в низину, набирал в сапоги воды.

— Держаться в полушаге друг от друга, — передал Киреев по цепи.

Труднее всего приходилось пулеметчикам. Сочнев, возглавлявший взвод молодых танкистов, увидел, как

невдалеке упал солдат с ручным пулеметом, и побежал к нему на помощь. Маленький худощавый солдат никак не мог подняться с оружием. Свет фонаря осветил его мокрое, озлобленное, с острыми скулами лицо. На непонятном Сочневу казахском языке он ругал ливень и воронку, в которую угодил, скрипел зубами. Сочнев подхватил солдата, поднял его. Тот еле держался на ногах.

— Дайте пулемет, помогу.

— Что ты! Что ты! — не отпуская оружия, отказывался пулеметчик. — Я сам! — и, блеснув узкими щелками глаз, побежал догонять расчет.

Во взаимодействии со стрелками и пулеметчиками танкисты оседлали перекресток, сбили с него «противника» и начали его преследовать.

Василия Киреев назначил связным с шедшими на правом фланге танкистами третьей роты. Возвращаясь от них, Василий в темноте потерял дорогу. Попытался сориентироваться по автоматным и пулеметным очередям, но они стали раздаваться со всех сторон и не только не помогали, а больше запутывали. Он шел через поле, спотыкался, попадал в наполненные водой ямы, пока не набрел на скирду. Решив минуту передохнуть, прислонился к сладко пахнущему сухим теплом спрессованному селу, но его что-то сильно толкнуло в спину.

— Кто тут?

Никто не отвечал. Василий включил фонарик, разгреб сено, увидел здоровенную шершавую ступню.

— Вылезай!

Нога потянулась вглубь, человек никак не хотел расставаться с теплом. Василий схватил его за щиколотки и вытянул, полураздетого, без шинели и сапог.

— Щеглов?!

— Я, Вася.

— Пригрелся, значит.

— На красоту. Давай и ты сюда. Для тебя местечко есть. Утречком придем в казарму. Ничего не поде-лаешь — заблудились.

— Вот как! — Василий еле сдерживал ярость. — Где оружие, противогаз, сапоги?

— Упрятал, чтоб высохли.

— Надевай!

— Не могу, Вася, ноги распухли. Ливень-то какой. Лучше отдохнем.

— Надевай, говорю! Пойдешь со мной!

— А я думал, ты все-таки друг.—Щеглов кряхтел, натягивая сапоги: завернутая в мокрую портянку нога с трудом влезала в голенище.

— Друг... Смешно. С тобой дружить — с губы не вылезешь.

— Чем тебе моя гауптвахта мешает?

— Не мне—всем! Ты под арестом сидишь в тепле, чистоте, тебя, бездельника, кормят, поят, а в это время другой солдат за тебя в карауле стоит под таким ливнем или твою долю окопа отрывает. Я бы заставил тебя, чертяку, зубами грызть траншею за целый стрелковый взвод. А еще лучше — прибавил бы к годам службы столько недель, сколько ты провел на гауптвахте и в самоволках.

— Мое спасение, что ты не начальник Генерального штаба, — усмехнулся Щеглов, надел шинель, нахлобучил помятую пилотку на слежалые, со стебельками сена волосы и заковылял в темноту.

Василий шел позади, включая и выключая фонарик.

— Матери пишешь? — миролюбиво заговорил он через некоторое время.

— Пишу.

— Она, наверно, спрашивает, как служишь, а ты по привычке врешь?

— Бывает. Без фантазии мозги пересохнут.

— Эх, фантазер! Твою неглупую башку на дело бы направить — был бы толк.

— Не вижу путного дела, Вася, — впервые всерьез пожаловался Щеглов, и какая-то новая нотка зазвучала в его сиплом голосе. — А может, я действительно беспутный?

Глядя на сутулую спину Щеглова, Василий ругал себя за то, что отвернулся от него, даже не разговаривали при встречах. «Забыл, как самому горько было, бросил товарища». Василий вспомнил, как он был одинок. Кругом — чудесные хлопцы, а он их не знал и не хотел знать. «И меня называли неисправимым, как Щеглова, что же я возомнил, откололся от него?» Василий коснулся угловатого плеча, осветил повер-

нувшееся к нему лицо, обрызганное дождевыми каплями, как оспинками.

— Желчи в тебе много, даже когда о себе говоришь. Признался бы лучше, что тебя мучает, по себе знаю — скажешь, легче на душе.

Рыжие ресницы замигали, возможно, от внезапно-го света фонарика.

— Желчь! Небось, много ее будет, ежели пройти такую жизнь.

И Щеглов заговорил быстро, с внезапными паузами, словно захлебывался неугомонным дождем.

— В первый раз за хулиганство год сидел. С уголовниками пришлось, вожак кражам обучал... Думаешь, до армии такой был, как сейчас? В сто раз хуже! Никто не знает, что мне стоило первый год удержаться, чтобы не избить кого...

Василий, пораженный и тем, что рассказывал Щеглов, и как он это рассказывал, мягко заметил:

— Верю, изменился ты. Так не прячься в копейках от людей, не пьянствуй, тебе же все добра хотят!

— Добра. Может быть, — неопределенно ответил Щеглов. — Но не хочу перед каждым сержантом по струнке ходить.

Он опустил голову, пожаловался:

— Вся беда, наверно, что не умею подчиняться начальству. Скребется во мне этакая мышь, — и вдруг спросил: — Ты доложишь, что меня в скирде нашел?

— Нет. Сам скажешь.

Они поднялись на высоту, увидели внизу, меж косых прерывчатых струй дождя, мигающие глазки фонариков. Роты строились, чтобы идти в казармы. Увидев, что Щеглов подошел к капитану Осадчему, Василий удалился к колонне молодых солдат.

После отбоя, направляясь из казармы домой, Киреев столкнулся с капитаном Осадчим. Тот заговорил встревоженно.

— Не хотел тебя беспокоить, Алексей Матвеевич, но... — Осадчий замялся.

— Что случилось?

— Мякинин подписал бумаги на твое увольнение.

— Точно знаешь?

— Да. Видел подписанные документы. Их сегодня отправили в округ.

Света не хотела идти спать.

— Я выучила стихотворение, чтобы папочка послушал.

— Ложись, — настаивала Надежда Павловна. — Ты уже просрочила свое время. Завтра папу увидишь.

— И завтра не увижу. Встану, а папы уже нету. Шашки купил и со мной нисколько не сыграл. Правда, мама, я уже немножко умею хорошо играть.

— Умеешь. Иди спать. Саша, почитай Светлане, пожалуйста.

После операции Саша три недели пролежал в больнице и еще месяц после этого не ходил в школу. Хотя он занимался дома, но все же отстал от класса, и очень недоволен был, когда его отвлекали от уроков. Все же он не возразил матери, присел к Светлане, начал читать сказку. После первой же страницы Света уснула. Мальчик еще немного позанимался, а потом и сам улегся спать.

Все по хозяйству было сделано. Надежда Павловна, устроившись поудобнее на кушетке, взяла газету с новыми главами второй книги «Поднятой целины». Ее до того увлекла книга, что она услышала шаги мужа, лишь когда он уже прошел в комнату.

— Не отвлекай меня, Леша, одну минуту. Я тебе сейчас почитаю — посмеешься от души.

— До слез буду смеяться, женушка...

Она оторвалась от газеты, увидела блеклый румянец на осунувшемся лице, лихорадочный блеск зрачков.

— Ты заболел, растревожил, наверно, раны, когда ползал по грязи. Не бережешь себя.

— Теперь, Надюша, буду беречь. Ползать уже незачем. — Голос его звучал глухо.

— Ты что-то скрываешь. Что случилось?

— Увольняют... Киреев больше не нужен.

— Не то говоришь, Леша. У тебя температура, Голова разболелась?

— Нет, родная, голова ясная. Завтра мы с тобой потолкуем, куда лучше выписывать проездные документы... Ну, ничего, мы не старики, выдержим. Правда?

Он стиснул ее руку, но она не ответила на его пожатие.

— А твоя учеба? Два года пропали даром?

— Странно рассуждаешь. Какой же я сейчас слушатель Военной академии!

— А написанное?! — Она подошла к этажерке, стала снимать тетради. — Твоя мечта сказать что-нибудь новое? Моя вера в тебя?.. Куда девать написанное?

— Сжечь!

— Что? Что ты сказал? — ей не верилось, что он произнес это слово. — Нет, Алексей, ты не уйдешь из армии. Я не дам сжечь твои тетради — они кровью писаны!

Невозможно было возразить ей: он мыслил так же. Но язык произносил другое.

— Ты же мечтала уехать. Мы оба работать будем, и тебе легче станет жить. Не бойся.

Она в упор глядела в его воспаленные глаза.

— Я не боюсь, Леша. Но я знаю, ты от сердца армию не оторвешь. Ты не можешь оставить своего дела, ведь прирос к нему. Ты не имеешь права оборвать свой труд на полпути.

Он перебил:

— Пойми, просить не стану. Документы ушли в округ. Все это давно подготовлено, и сейчас ничего не изменишь.

— Значит, уступаешь Мякинину, испугался его!

Третий час продолжалось отчетно-выборное собрание партийной организации полка. Киреев, недовольный своим излишне резким, как ему казалось, выступлением, нервничал, незаметно для самого себя исчертил поле газеты различными топографическими знаками. Он их рисовал, перечеркивал, а в голове между тем теснились ничем не связанные с этими знаками думы. Ему вспомнилось собрание в осажденном немцами городе. Боеприпасов к танкам не было, и он со взводом пошел в контратаку, имея только самодельные гранаты. На том собрании, после боя, его приняли в партию. Двенадцать лет он был равным среди армейских коммунистов, старался быть достойным их.

доверия. А теперь уходит. Куда? Как примет его на новом месте партийная семья? Сумеет ли он в других условиях оправдать звание коммуниста?

В штабе полка шли упорные разговоры, что в ближайшие дни придет приказ об увольнении в запас группы офицеров. И хотя нелегко было и другим снять форму, но те понимали, что надо оставить в армии наиболее подготовленных в военном отношении, да и более молодых по годам. И Киреев представлял себе государственную необходимость сокращения численности Вооруженных Сил. Только знал также и то, что офицеров его возраста, имеющих военное образование и опыт боев, которые могут быть полезны армии еще добрый десяток лет, не увольняют с такой легкостью, с какой это делает Мякинин.

Так думали и коммунисты полка. И, выступая по отчетному докладу, критикуя бюро за недостатки в работе, они заговорили о роли партийной организации в воспитании всех коммунистов, в каком бы ранге они ни были, какое служебное положение ни занимали. Кто посмелее, тот прямо высказывался о несправедливом отношении к Кирееву.

Тон таким выступлениям задал старшина Сочнев. Его большие руки, протянутые над трибуной, простое широкое лицо выражали недоумение.

— Никак в голове не укладывается, чем провинился гвардии капитан Киреев, что докладчик назвал его в числе недисциплинированных командиров? Не тем ли, что стал по-новому обучать молодых солдат и за три недели изучил с ними программу, рассчитанную на два месяца! Или он провинился в первой роте, которая при нем больше двух лет была передовой в полку. Происходит что-то непонятное. Когда секретарь знакомил членов бюро с тезисами отчетного доклада, в нем ни одного плохого слова не было о гвардии капитане Кирееве, как не было и ничего положительного о гвардии старшем лейтенанте Чумаке. Не знаю, как другие члены бюро, но я не считаю отчетный доклад результатом коллективного мнения бюро и высказываюсь против ряда положений, выдвинутых секретарем.

Тут Сочнев повернулся к сидевшему в президиуме секретарю.

— В своем докладе вы призывали брать пример с коммуниста Чумака как с командира лучшей роты. Человек без году неделю командует подразделением, а вы ему приписываете заслуги всего личного состава, заслуги того же Киреева. У гвардии капитана Киреева я учился и учусь партийности в исполнении долга. А чему вы мне прикажете учиться у гвардии старшего лейтенанта Чумака? Пренебрежению к подчиненным, наплевательскому отношению к партийной группе и к коммунистам? Меня перевели в другое подразделение, но ко мне заходят механики-водители, командиры танков из первой роты и рассказывают: там сейчас никто не сдает на классность, там перестали интересоваться отличниками, их опытом и ростом. Гвардии старший лейтенант Чумак даже не ходит на собрания партийной группы, а на комсомольские — и подавно. Знаете ли вы об этом, товарищ секретарь?

— Я знаю, что вы при Чумаке не приносили бы таких речей, — возмутился секретарь. — Вы пользуетесь тем, что коммунист заболел, чтобы за глаза опорочить его.

Не без иронии Сочнев ответил:

— Плохо, когда секретарь не бывает на собраниях партийных групп. Были бы хоть раз за лето в первой роте, тогда бы слышали, как коммунисты, в том числе и я, критиковали Чумака похлеще, чем сегодня, за его барство и черствость, нежелание выполнять партийные поручения.

После Сочнева выступил командир третьей роты капитан Осадчий. Обычно молчаливый на собраниях, он отважился спросить, как можно оценить позицию секретаря и некоторых членов бюро, если они обходят волнующие вопросы службы и быта. Осадчий не назвал имени Киреева, но все поняли, что он имеет в виду его, что он обвиняет в бессердечности, в несправедливости к офицеру, прежде всего, члена партийного бюро Мякинина.

Понял это и Мякинин. Он оборвал Осадчего, обвинил его в демагогии, а взяв слово, попытался направить критику против члена бюро Сочнева, против Осадчего и Киреева. Мякинин надеялся — коммунисты его поддержат, как поддерживали его своим голосованием за прием Чумака в члены партии.

Но он ошибся. За несколько месяцев коммунисты сумели разобраться, кто прав — Мякинин или Донцов. После событий на учениях, после отстранения Киреева от командования ротой и представления его к увольнению из армии, — все прояснилось. И, слушая как Мякинин выискивает оправдание себе и секретарю партбюро, коммунисты заняли принципиальную позицию. Исчезла раздвоенность, которая помешала им правильно ориентироваться на летнем собрании. Они увидели, что Донцов отстаивал верные партийные взгляды и во время приема Чумака, и тогда, когда направил в округ рапорт, что он и сейчас прав, связывая недостатки в полку со слабостью идейного воспитания офицеров, с зазнайством и нетерпимостью к критике у некоторых офицеров — коммунистов полка. Лишь одно удивило: зачем Донцов берет на себя вину за плохую работу секретаря партбюро? Разве не сделал Донцов все, что может сделать замполит для оздоровления обстановки в полку?

Приступили к выдвижению кандидатур в новый состав бюро. Подхалимствующий секретарь поспешил первым назвать Мякинина, а он — секретаря. Потом выдвинули старшину Сочнева, начальника штаба полка и Киреева. При обсуждении кандидатур Киреев заявил самоотвод.

— Я, товарищи, нахожусь, видимо, на последнем партийном собрании полка. Вы ведь знаете, меня демобилизуют.

— Капитан Киреев прав, — подхватил секретарь. — Его просьбу надо уважить.

Снова на трибуну вышел Донцов. Он и теперь не стал рассказывать о телефонном разговоре с начальником Политуправления округа, о том, что ночью выезжает к нему и надеется отстоять Киреева. Он только пристально посмотрел на Мякинина.

— Документы на увольнение Киреева не посланы, и я верю, округ их не пошлет. Таких офицеров, как Киреев, не демобилизуют. Так что, товарищи коммунисты, мы имеем все основания оставить Киреева в списке.

— Голосуйте, товарищ председатель! — раздались дружные голоса, и Киреев был оставлен в списке кандидатур для тайного голосования.

Пока счетная комиссия размножала список, коммунисты прогуливались в коридоре и курилке, беседовали о посторонних, не относящихся к собранию делам. Получив списки, расходились к столикам, думали, кого оставить, а кого зачеркнуть, так как выдвинутых кандидатов было больше, чем следовало выбрать. Киреев опустил в урну сложенный вчетверо листок, ушел в самый дальний угол коридора. Он считал неуместным выдвижение его кандидатуры, хотя в душе был благодарен товарищам, которые выразили ему свое доверие в тяжелые для него дни.

Минуло полчаса.

Председатель счетной комиссии стал читать протокол. Возбужденный Мякинин сидел за столом у самой трибуны. Он все еще надеялся, что пройдет по списку избранных одним из первых, и побледнел, услышав фамилию Киреева. Подавляющее большинство голосов было отдано Кирееву, лишь три человека зачеркнули его в списке.

Чем дальше читал председатель комиссии протокол, тем ниже опускалась голова Мякинина. Ни вторым, ни третьим его не назвали. Он был ниже черты избранных. Ему и бывшему секретарю партийного бюро коммунисты отказали в своем доверии.

Результаты голосования потрясли Мякинина. По дороге домой он забился на заднее сиденье машины, задавал себе вопросы и не мог найти на них ответа. «Что это — сговор? Как могло случиться, что вся партийная организация против? Прежде проходил в бюро почти единогласно, избирался на окружные партийные конференции, и редко кто меня вычеркивал. А тут большинство... Почему?» Впервые за долгие годы он придирчиво допрашивал себя, пробовал найти причины своего провала и не мог уяснить их себе, ибо отвык разбираться в своих поступках. «Это все Донцов, — сделал Мякинин самый легкий для себя вывод. — Это он подстрекнул».

Ему захотелось скорее поделиться с женой, пожаловаться на людей, которые его не поняли, захотелось услышать от нее ободряющее слово, но жена не вышла ему навстречу. В спальне стоял полумрак. Зинаида Степановна лежала на кровати с откинутым от груди одеялом, лоб, щеки и шея были воспалены и,

казалось, не от лампочки с ночного столика, а от ее лица исходит жаркий свет.

— Что с тобой, Зиночка? — он на минуту забыл о своих неприятностях, присел к ней, взял ее горячую руку. — Я сейчас вызову врача.

Она смотрела на него странным взглядом.

— Врач мне не поможет.

Она была рядом, но чужая. Даже заболев, она перестала ждать его поддержки, его помощи.

— Зиночка, что случилось?

Слабым движением она высвободила руку из его руки.

— Посоветуй, как мне дальше быть. Я с тобой жить не могу.

— Что?!

По-бычьему вобрав голову в плечи, он заметался по спальне. Он не отдавал себе отчета в том, что говорил.

— Давно скрывала... Неспроста избегала меня... Втюрилась в кого? Скажи!

— Не кричи, Петр, в соседней квартире услышат.

— Мне все равно. Влюбилась?

Она приподняла отяжелевшую голову.

— Да...

Зачем она сказала, если в сердце вместо чувства к Чумаку оставался один комок обжигающего льда, одна горечь? Но лишь только было произнесено это единственное слово, стало как-то легче. Она спустила ноги с кровати, поднялась и, пошатнувшись в сторону Мякинина, ухватилась за спинку.

— Можешь выгнать меня.

— Не уйдешь! Не уйдешь! — закричал он, выбегая из спальни и, сам не зная зачем, закрыл дверь на ключ.

* * *

Полк подняли по тревоге. Как только связной постучал в ставню квартиры Киреева и тихо произнес слово: «Штурм», — Надежда Павловна уже была на ногах и выдвигала из-под кровати небольшой, туго набитый вещами чемодан. В неделю раз, а то и два раза она перекладывала в нем белье, смотрела, не потеряло ли оно свежести, не забыла ли она уложить

что-нибудь из необходимых вещей. Она машинально сверяла вещи со списком, приклеенным изнутри на крышке чемодана, а сама думала о том, вернется ли муж к утру домой: а если не обычная тревога? Может быть, расстаемся на месяцы или на годы?..

Ко многому привыкла Надежда Павловна за десятилетие их совместной жизни, а к тревогам привыкнуть никак не могла. Каждый раз гулко и пугливо билось сердце, каждый раз она мысленно прощалась с мужем, до боли чувствуя, как он дорог ей, как пусто и холодно становится в комнате и на душе с его уходом. Но старалась ничем не выказать своих переживаний.

Пропустив портупею под правый погон и заправив пояс под хлястик шинели, она спросила:

— Хорошо так, Леша?

— Спасибо, Наденька. Не беспокойся.

Теплая ладонь коснулась ее пальцев, она почувствовала, что слова мужа относятся совсем не к снаряжению, а к ее состоянию, к настроению, к нервам, которые, он это знал, обнажены, предельно восприимчивы в такие минуты.

— Готовь повкуснее завтра, — пошутил он и уже повернулся к двери с чемоданом в руке, как на пороге появился Саша.

— Разреши проводить тебя, папа, — попросил он сонным голосом. — Чемодан поднесу.

— Это зачем? Забыл, что завтра контрольная по физике?

— Ну, что тебе стоит, только до проходной провою.

— Раздевайся и ложись, немедленно. Ты хочешь, чтобы мама волновалась? Ты еще не окреп после операции.

С тех пор, как Киреев возвратился из лагеря, Саша старался предупредить все его желания. С удовольствием вставал в воскресенье на рассвете и, пока отец спал, чистил пуговицы на его мундире и шинели. И теперь ему казалось, что отец будет рад пойти вместе с ним до городка. К этому присовокупилась и безобидная, вполне понятная мальчишеская зависть. Саша завидовал отцу, что его вызвали по тревоге, что сейчас он идет выполнять очень важный

и, вероятно, секретнейший приказ. Как он хотел быть с ним, с его танкистами! Но отец снял с него фуражку, потрепал выющиеся светлые волосы и, твердо взяв за руку, подтолкнул к постели...

Военный городок шумел моторами танков и самоходок, бронемашин и автомобилей. Минув проходную будку, Киреев свернул налево, откуда выходили машины первой роты, — до недавней поры его роты. Кирееву нужно было спешить в казарму, к своим солдатам, но его беспокоило, сумеет ли молодой зампотех соблюсти светомаскировку и быстро вытянуть танки в колонну. Опасения были не напрасны. Лейтенант суетился, нервировал механиков-водителей, и вмешательство Киреева было как нельзя более кстати.

Несколько драгоценных минут потерял Киреев в парке. Чтобы наверстать упущенное время, он напрямик через учебное поле побежал к казарме. Напротив нее, в полной готовности, стояла рота молодых солдат. Старшина Сочнев доложил, что все люди в строю, оружие, боеприпасы и снаряжение взяты. Подошедшие машины гудели приглушенными моторами. Киреев получил у дежурного пистолет и топографическую карту, снова прошелся с фланга на фланг строя, объяснил солдатам задачу и скомандовал: «По машинам!»

В район сосредоточения рота прибыла одной из первых. Солдаты быстро окопались, замаскировались и, когда передали приказ занять новый рубеж, действовали так же ловко, умело, как и старослужащие танкисты.

Отбой сыграли на рассвете. К десяти часам утра полк возвратился в казармы. Пока Киреев находился на разборе ночной тревоги, Сочнев поставил солдат на чистку оружия, а Василию поручил оформить «боевой листок» о действиях личного состава по тревоге. Когда Киреев пришел с разбора, он застал Василия в канцелярии роты. Тот сосредоточенно и аккуратно выводил каждую букву коротеньких заметок. Заглядывая из-за широкой спины Василия на красочный «боевой листок» и не позволяя солдату встать, Киреев прочитал две заметки, посоветовал:

— Побольше фамилий, товарищ Заремба! Сделайте вот здесь, справа, заголовок: «Сегодня отличись». Вот список.

Василий прищелкнул языком от удовольствия. Как же! Командир роты отметил молодых солдат, начал список лучших с Григория Сочнева, с него, Василия, и с бойцов его отделения. Василий долго выбирал, какой краской написать заголовок и какой — фамилии отличившихся. Наконец, он положил перед собой светло-синюю и красную и начал старательно рисовать.

В это время Киреев копался в ящиках своего стола. Он вынимал оттуда папки с бумагой, уставы, рассматривал их, складывал обратно. В одной из папок нашел нужную бумагу, пробежал ее глазами и неожиданно для Василия проговорил:

— Жаль, товарищ Заремба, но пришло время расстаться с вами.

— Со мной?!

Обильно смоченная в краске кисточка выпала из рук, поставила рядом с его фамилией красную кляксу. Василий не заметил ее. На столе поверх разбросанных Киреевым бумаг, он увидел свою докладную записку. Пять месяцев прошло, как он написал ее. Он был уверен, что капитан давно забыл о ней, а оказывается, — вот она, злополучная.

— Пожалуйста, простите мою глупость! — Раскаяние слышалось в голосе солдата. — Я не могу уйти от вас.

Киреев вышел из-за стола, подошел к Василию.

— И не надо. Я искал докладную записку, чтобы возвратить вам. Не будет меня — иногда посмотрите на нее, вспомните, в чем ошибались.

— Вы от нас уходите? — догадался Василий, у него защемило сердце.

— Завтра уезжаю. Мне и Сочневу приказано сопровождать молодых солдат на новое место службы. Сочнев вернется в полк, а я нет. По всему видать, последний день с вами.

— Почему последний? Возьмите меня с собой, я вам пригожусь, честное слово.

Он просил, настаивал, надеясь, что Киреев будет ходатайствовать о нем.

Весной, когда Валерия Чумака решили перевести из штаба округа в часть, Вера хотела немедленно поехать вместе с ним. Он стал отговаривать, доказывая, что не пройдет и месяца, как отец сменит гнев на милость и вернет его в штаб, что ей нельзя бросать больницу на короткое время. Она послушала его, осталась с отцом, пытаясь повлиять на него. Но Фрол Петрович Жезлов был непреклонен.

В тяжелой для Веры разлуке прошли весна и лето. Валерий редко писал, еще реже приезжал к ней, объясняя это перегрузкой по службе. Однако подозрения, появившиеся у Веры, не проходили, а даже усилились после поездки Валерия с Мякининым и Зинаидой Степановной. Хотя Зинаида Степановна держалась с Валерием холодно, не давала повода думать плохое, но Вера по поведению мужа делала свои выводы, и были они близки к истине.

В тот раз Валерий уехал неожиданно, она не успела открыто и прямо поговорить с ним. Когда же он приехал после учений, Вера потребовала покончить игру — или жить вместе или разойтись. Чумак струсил. Он не любил Веру, его влекло к Зинаиде Степановне, но боялся потерять опору. «Зять генерала Жезлова» — это не только звучало приятно, а уже раз помогло ему, минуя нелегкую службу в части, подняться до штаба округа. И в полку Чумак не переставал рассчитывать на свое родство как на лучшую аттестацию для офицера, как на крепкую лесенку, по которой он обязательно поднимется, обгоняя своих сверстников и сослуживцев. Как же ему было отказаться от такой надежной лесенки!

Прежде Чумак думал, что если Вера его любит, а в этом сомнений у него не было, то ему все пройдет безнаказанно. И вдруг столкнулся с непримиримым жезловским характером, редко до этой поры проявлявшимся в Вере, и отступил. Он поспешил занять квартиру, приготовить ее к приезду жены. В момент последнего разговора с Зинаидой Степановной чувство к ней на миг поколебало его решение. Когда же возмущенная Зинаида Степановна сбежала с лестницы, он понял, что никогда больше она ему не поверит.

Пока Чумак занимался переездом, Вера хлопотала на работе об увольнении. Главный врач обещал отпустить через две недели. Но, узнав о болезни Валерия, она упросила разрешить ей сдать дела немедленно.

Вера торопила шофера. Мчались назад деревеньки с клубящимися кольцами дыма над хатками, пожелтевшие леса. Вера все это видела в тумане, из которого выступал облик Валерия. Сколько раз она в эти месяцы разлуки мечтала переехать к мужу! Теперь она решила не отпускать его одного, быть с ним в лагерях, сопровождать повсюду. «А отец!» Она подумала, что он и воскресные и праздничные дни теперь будет просиживать в штабе или придумает себе еще больше командировок, чтобы удрать из пустых комнат, отвлекаясь от неуютных старческих дум. «Как он сразу осунулся, когда узнал, что я уезжаю! Десять лет после смерти мамы его утешало, что я рядом, а сейчас — совсем одинокий...»

Поздно вечером Вера приехала в городок. Новый дом улыбнулся ей разноцветными огнями окон. «Вишневый огонек, наверное, из нашей квартиры, да, да, это мой абажур, больше таких нет ни в одном окошке. Хозяйка приехала! Слышите, огоньки? Хозяйка!..» Шофер еще вынимал из багажника чемоданы, а Вера уже торопливо поднималась по лестнице. Открыл ей Валерий. Она увидела опухшие веки мужа, услышала укоризненный голос:

— Почему телеграмму не послала?

На следующее утро Вера проснулась с ощущением какой-то пустоты кругом. Валерия около нее не было. Окликнула, но во всей квартире она была одна. За окном со злым свистом метался ветер. Вере казалось, что это обиженная душа ее мечется, жалуется на неразделенное чувство.

Вера познакомилась с Валерием на вечере в медицинском институте. Пылкая и наивная, она не спросила себя, почему среди множества интересных девушек, которые открыто симпатизировали ему, он выбрал ее — некрасивую. В одном из первых разговоров с ней молодой курсант Чумак то ли всерьез, то ли в шутку сказал, что даже офицеры сейчас не в моде, а уж на курсантов девушки совсем смотреть не хотят.

«Смотря кто,— ответила она.— Я, например, глубоко уважаю военных». — «Это удивительно!» — «Ничего удивительного нет. Мой отец тридцать пять лет в армии». — «Ваш отец? — удивился он. — Не генерал ли Жезлов?» И при всей своей стеснительности и скромности она с гордостью ответила: «Да, генерал Жезлов».

Прошло много времени, пока Вера придала значение тому мимолетному разговору, вспомнила, что на следующий же день Валерий, как будто невзначай, встретил ее в институте, и они часто стали бывать вместе. Позднее он познакомил ее с матерью. Мать восторженно и бесцеремонно хвалила сына и настойчиво расспрашивала Веру, сумеет ли отец повлиять, чтобы Валерика не погнали на какие-нибудь Курилы.

«Наверное, он меня никогда не любил,— терзалась Вера.— Это мать заставила его ухаживать за мной. А я потеряла голову».

Было пасмурно, беспокойно на душе. Муж не сказал, что должен рано уйти. И зачем он ушел, если вчера жаловался на сильные головные боли? Она разревелась бы, как девчонка, если бы не услышала шаги Валерия, не увидела его посвежевшее на воздухе, улыбающееся лицо.

— Доброе утро, Верочка. Я побежал купить продукты к завтраку. Сегодня, милая, я не дам тебе заниматься кухней, буду за тобой ухаживать.

Валерий нагнулся к жене, приподнял ее голову, расцеловал. Она посмотрела ему в глаза, чтобы убедиться, не обманывает ли он ее. Но отбросила эти мысли и, зардевшись, прильнула к мужу.

...В тот же час Зинаида Степановна шла окраиной, подгоняемая сильным ветром и решимостью навсегда уйти от Мякина. Рано утром, когда он уехал на службу, она покинула спальню и, не считаясь с предупреждением врача, что ей неделю нельзя вставать с постели, начала собирать белье и платья, написала Мякинину, что уходит от него и чтобы он не пытался ее искать.

Людными улицами Зинаида Степановна остерегалась идти, пошла к вокзалу наугад незнакомыми тропками. В голове трещало, как в печке трещит кора березы. Широко открытым ртом вдыхала она холод-

ный воздух и не могла остудить кипевший внутри жар. Вскоре она потеряла ориентировку, вышла опять к домикам окраины, и споткнувшись, упала возле чьей-то ограды.

Она долго была без памяти, не слышала, как ее подняли, понесли куда-то. Очнувшись, Зинаида Степановна увидела низкий покоробленный потолок и испуганное лицо Надежды Павловны Киреевой.

— Надюша? Почему я у вас?

— Вы упали в соседнем переулке. Я проходила мимо, попросила помочь внести вас ко мне.

Надежда Павловна ласково коснулась рукой горячего лба.

— Не прикасайтесь ко мне! Я столько зла вам сделала!..— Зинаида Степановна спешила высказать все, что не смела сказать раньше своей давнишней знакомой.— Я несправедливо говорила о вас, о вашем сыне... А еще...

— Вам нельзя волноваться, Зинаида Степановна. Мало ли что было — кто из нас не ошибается... Скажите, вызвать вашего мужа?

— Нет у меня мужа, Наденька, никого нет.

Надежда Павловна обняла доверчиво прильнувшую к ней, беспомощную Зину.

* * *

Полковник Павел Константинович Целищев остановился на ступеньках вокзала и осмотрел площадь — ни военных, ни гражданских автомобилей не было. Человек двадцать приезжих стояли с чемоданами на булыжной мостовой, дожидались старенького мало-местного автобуса, курсирующего до центра. Целищев подумал, что под вечер нет смысла звонить в полк, что он скорее дойдет до штаба, чем дождется машины, и, сдав чемодан в камеру хранения, миновал пристанционные постройки, направился по полевой дорожке к военному городку.

Уезжая в Москву на выпускную сессию заочников Академии, Целищев отвез семью на Орловщину, к родным жены. Из сослуживцев его здесь никто не ждал, — все предполагали, что он будет переведен на новое место службы. Да и сам Целищев до сегодняшнего утра был более чем уверен в этом.

В штаб округа Целищев приехал после отпуска, проведенного с семьей на Орловщине. Вопрос о его выдвижении заместителем командира соединения был предreshен, и проект приказа написан. Поэтому, когда его утром вызвали к генералу Жезлову, Целищев думал, что Жезлов хочет поздравить с новым назначением. В кабинете, кроме Жезлова, он увидел начальника Политуправления округа и, кого никак не ожидал встретить, подполковника Донцова.

— Соединение без заместителя потерпит, Павел Константинович, а полк оставлять без настоящего хозяина нельзя,— сказал Жезлов, как только поздоровался с Целищевым.— В неспособности Мякинина командовать я убедился на учениях, теперь и того хуже — коммунисты провалили его на выборах.

И, показав на Донцова, Жезлов добавил:

— Претензии предъявляйте подполковнику. Четвертый день атакует нас: верните в полк Целищева. Пришлось согласиться,— прав!

К внезапным поворотам судьбы Целищев привык на фронте. Да и приказ не оспоришь. Все же двойное чувство овладело им, когда он слушал Жезлова и начальника Политуправления. Целищев понимал, что не скоро ему снова предложат должность заместителя командира крупного соединения — такие вакансии в армии исключительно редки и на них обычно претендуют генералы. Он свыкся с мыслью, что уйдет из полка, и жена, дети с нетерпением ожидали переезда в большой город. И все же возвращение в полк обрадовало. С этим полком он воевал, полк был ему дорог, как дорога любимая семья.

Донцова задержали до вечера в Политуправлении, и Целищев уехал из округа дневным поездом.

Он шел от вокзала напрямик через поле и сквозь наступающие сумерки смотрел вдаль. Вот та, скрытая мглой казарма, была воздвигнута за годы его службы. А сколько учебных полей обору́довано, сколько саженцев посажено! Они выросли, наверно, за лето еще больше. «Жаль, что я их отсюда не вижу». Только мелькнула такая мысль, как в окнах казарм гостеприимно зажглись веселые светлячки, цепочкой побежали по столбам к паркам боевых машин, осветили кроны деревьев, замигали далеко за складами, где

прежде был заброшенный неосвещенный пустырь. «Не там ли начали строить офицерские домики, о которых говорил сегодня Донцов?» — подумал Целищев и свернул в сторону от проходной, в обход городка.

Оставив позади хранилища и поля подсобного хозяйства, Целищев оказался на том месте, где предполагал увидеть пустырь. Его не было. К освещенной электричеством строительной площадке вела широкая, покрытая гравием дорога. Чуть подальше он увидел смонтированный на автомашине кран, горы камня и кирпича, фундаменты домиков, у которых уже начали вырастать стены. «Десять домиков — замечательно!»

В тупике темнела крытая автомашина. Сквозь щели из будки пробивался свет. Поднявшись по ступенькам скрипучей лесенки, полковник открыл двери. На него пахнуло облако сизого дыма.

— Вот накурили строители. Здравствуйте!

— Здравия желаем, товарищ гвардии полковник! С приездом! — возбужденно громко ответил старший сержант Солянин, вытянувшись перед Целищевым. На его румяном полном лице видны были и неподдельная радость, и неловкость, что его, секретаря ротной комсомольской организации, уличили в таком беспорядке.

В глубине будки мелькнула непокрытая черная голова, худая мускулистая шея и острые крепкие плечи незнакомого Целищеву человека в майке. Не успел Целищев произнести приветствие, как незнакомец, быстро надев китель, застегнул его на все пуговицы и представился:

— Командир третьего взвода первой роты лейтенант Громцев!

Все еще продолжая стоять у входа, Целищев спросил:

— Разве на площадке нет места для курения?

— Есть, товарищ гвардии полковник, — поспешил ответить смущенный Солянин, — но мы думали — вдруг телефон.

— Офицер и сержант у одного телефона? Не многовато ли? — добродушно рассмеялся Целищев и, шагнув вперед, подал руку Солянину, потом лейтенанту.

— Давно из училища?

— Давно, товарищ гвардии полковник. Тридцать вторые сутки пошли.

— Нелегка, должно быть, служба, если дни считаете.

Целищев снял фуражку и, подсев к столу, увидел на нарах, возле которых стоял Громцев, подушку и раскинутую шинель.

— Здесь ночуете?

— Нет... То есть,— лейтенант смутился, кровь прилила к его бледным, с желтизной, щекам.— Я после суточного наряда. Разве нельзя отдохнуть, товарищ гвардии полковник?

— Почему нельзя? Трудно, видать, устроиться с квартирой? Садитесь, рассказывайте.

Лейтенант опустил на нары и с юношеским любопытством глядел на смуглое, немного усталое, располагающее к откровенности лицо Целищева. Его серые, с молодым ярким блеском глаза выражали бесхитростную прямоу и искренность, какие бывают у открытых сердцем людей. Густые темные волосы были гладко зачесаны и разделены косым пробором, на прямой лоб спускался аккуратный мысок.

Громцев стал рассказывать, как он безуспешно искал жилье где-нибудь поблизости к городку, что километрах в трех можно было устроиться, но даже в таком отдалении запросили за угол цену, которая была ему не по карману — он должен поддерживать больную мать и школьницу-сестренку. Даже о том, что не умеет распределять впервые получаемые деньги, поведал молодой офицер. Целищев не торопил его, пока не убедился, что лейтенант исчерпал свой рассказ.

— К полковнику Мякинину обращались по поводу жилья, товарищ Громцев?

— Обращался. Обещал вселить холостяков в один из строящихся домиков.

* * *

На следующий день Павел Константинович Целищев в сопровождении Мякинина и прибывшего утром из округа Донцова обходил роты и специальные подразделения. Мякинин слушал командира полка с уг-

рюмым видом и докладывал торопливо, обиженным тоном.

Порядок в казармах порадовал Целищева. Классы, солдатские общежития и коридоры были к зимней учебе заново побелены и покрашены. В классах — новые учебные приборы, творчество полковых изобретателей. Недовольство командира полка вызвала лишь та часть парка боевых машин, где находились танки первой роты. Одна машина имела поломку ходовой части и требовала незначительного, но немедленного ремонта. Экипаж мог произвести его собственными силами за два дня, но оказалось, что танкисты ждут помощи от мастерских. Мякинин объяснил задержку ремонта неповоротливостью и халатностью молодого зампотеха. Целищев ничего на это не ответил — близко стояли танкисты, и при них он не хотел говорить об офицере.

Кабинет командира полка, куда Целищев пришел с двумя заместителями после обхода, был отделан с блеском: панели под дуб, стены и потолок окрашены в темно-голубой цвет. Мебель стояла новая, солидная. Как хорошо чувствовал себя здесь Мякинин, когда возвратился из лагеря полновластным хозяином, и как неприятно ему было смотреть на все сейчас.

— Вы признали, Петр Герасимович, что в первой роте непорядки, — возвратился к неоконченному разговору Целищев. — Не Чумак ли виноват? Не понимаю, зачем вы поставили его ротным, когда знали, что из штаба округа его прислали к нам не на выдвигание, а на исправление? Почему сняли лучшего офицера полка Киреева, у которого рота неизменно и во всем шла впереди других? Прошу вас, объясните!

С момента встречи с Целищевым Мякинин ждал этого вопроса, и ответ он уже давно придумал. Но теперь он лишь передернул плечами, не размыкая губ.

Целищев уже слышал от Донцова подробности и о партийном собрании, и о неурядицах в семье Мякинина. «Нелегко ему», — размышлял, наблюдая за Мякининым, Целищев.

Внимание его отвлекло что-то за окном. Он увидел на спортивной площадке худощавую ловкую фигуру лейтенанта Громцева. Сам заядлый спортсмен,

Целищев любовался легкостью, с какой молодой офицер делал сложное упражнение на перекладине. Танкисты взвода с увлечением следили за красивыми, ритмичными движениями своего командира.

— Смотрите, товарищи! — не удержался от восклицания Целищев, приглашая к окну заместителей. — До чего чисто работает лейтенант. — И добавил: — Вы подумали, Петр Герасимович, как помочь с жильем таким, как этот офицер?

— Думали, товарищ гвардии полковник, — подчеркнуто официально ответил Мякинин. — Построим семейные офицерские домики, и один из них выделим для холостяков.

— Когда это будет?

— Месяца через три.

— Многовато для тех, кто ночует в каптерках. Надо сделать что-нибудь сейчас, хотя бы временно.

— Ну, что ж, поселим их в ваш или в мой кабинет, — с нескрываемой иронией произнес Мякинин.

— Замечательная идея, Петр Герасимович! — с жаром откликнулся Целищев, подмигнув незаметно Донцову и делая вид, будто не заметил иронии в словах Мякинина. И тут же стал крупным шагом мерить длину и ширину кабинета.

— Хорошо, что наши кабинеты смежные, в них, Петр Герасимович, мы разместим всех бесприютных холостяков. А на три месяца уплотним кое-кого — я перейду в кабинет Николая Кузьмича, вы — к замполтеху.

Мякинину не по себе стало от его задорной улыбки.

Нагнувшись к Донцову, который был крайне доволен происходящим, он шепнул:

— Горяч полковник, совсем не с того начинается.

— А по-моему, с самого главного, — так же тихо ответил Донцов, — с людей начинается.

Мякинин не допускал мысли, что жена может навсегда покинуть его. Он считал ее капризной, своенравной, но никак не способной на такой крутой, непоправимый шаг. Он думал — Зина уехала к своим ро-

дителям, они ее пожурят, посовестят, и она вернется к нему. Да как она сможет жить без него, если привыкла, чтобы к ее услугам было все, о чем бы она ни подумала: модные наряды, просторная квартира, автомобиль. Думая так, он все же побаивался, что Зина заставит его ждать немалое время, и послал на ее имя по адресу родителей телеграмму и покаянное письмо, умоляя немедленно вернуться. И вдруг Мякинин узнал — жена никуда не уехала, она тут, рядом. Ему назвали фамилию владельца домика на окраине, и он помчался туда на машине, не предполагая, что Зина волей случая оказалась в семье Киреева.

Остановив автомобиль возле калитки, Мякинин пробежал двор, постучался в дверь покосившейся хатки. Надежда Павловна со Светланой ушли к Марине Сочневой, Саша еще не возвратился из школы, и Зина решила встать с постели, выгладить платья, которые Надежда Павловна сшила к октябрьским праздникам для девочек из детского дома. До глубокой ночи сидела Надежда Павловна за швейной машиной, выполняя общественную работу с такой же старательностью и любовью, с какой она все делала для своих детей. Наблюдая за ней, Зина стыдилась, что столько лет была занята только собой, отгородившись от всего, что творилось кругом.

Услышав стук в дверь, Зина оставила уют, поспешила застегнуть верхнюю, оставшуюся незастегнутой пуговицу халата, подала голос.

Вошел Мякинин, и с его просящим взглядом столкнулся отрешенный, холодный взгляд жены.

— Зина, прости. — Он боялся отойти от двери, стоял покорный, постаревший. — Вернись ко мне. Я никогда не буду ни в чем тебя упрекать.

Она не отводила глаз, но выражение их — печальное и безразличное — пугало его больше, чем ее молчание.

— Я один виноват. Сумеешь ли ты простить меня, Зиночка?

Она медленно провела рукой по лицу, словно хотела что-то вспомнить.

— Не надо, Петр. Прогорела, улетучилась моя жизнь. Не в наших силах вернуть прежнее. Трудно сказать, кто из нас больше виновен.

От ее слов, а возможно, от душного воздуха в сырой комнате, застучали молоточки в висках и затылке. Он стал уговаривать уйти с ним сейчас же, если не может к нему, то он отвезет ее, куда она прикажет, лишь бы прочь из этой комнатухи.

— В этой комнатухе вот уже три года живут дети твоего офицера.

— Чьи?

— Капитана Киреева.

— Как ты сюда попала?..

— Разве это важно? У меня просьба к тебе, — сказала она.

Униженный, сломленный, он сделал шаг к ней с едва мерцающей в душе надеждой.

— Последняя моя просьба. Ты представил к увольнению капитана Киреева. Можешь вернуть документы?

Надежда, которая теплилась в нем, погасла. Он чувствовал, что своим ответом рвет единственную, тонкую, как паутина, возможность еще раз увидеть ее, еще раз попытаться вернуть к себе.

— Я уже не могу сделать ни хорошего, ни плохого для Киреева.

— Почему?

— Он в Венгрии. В полк уже не вернется, если вообще вернется оттуда.

— Уйди! — произнесла Зина сдавленным голосом.

Больше ни слова не смог добиться Мякинин от Зинаиды Степановны. Между ними встала незаметная, но ощутимая сердцем преграда, которую невозможно было преодолеть.

Скрипнула и захлопнулась дверь. За калиткой прогудел автомобиль — Зина узнала гудок машины, на которой она долгое время ездила, как на собственной. Кольнула жалость к себе, но тут же отошла, и осталось ощущение острой вины перед Надеждой Павловной. Почему раньше не предупредила ее? Ведь знала, обо всем знала, что хочет сделать Мякинин...

Зина видела, как страдает от неизвестности Надежда Павловна. Перед отъездом Киреев говорил жене, что командировка продлится не больше недели и, если он задержится, то пришлет телеграмму. Прошли две недели, а Надежда Павловна ничего не получила. Она ходила в штаб — там отвечали, что не могут сказать,

куда уехал муж. С 24 октября, с момента первой радиопередачи о фашистском мятеже в Венгрии, Надежда Павловна почему-то подумала, что Алексей там. Скрывая от детей, она ночами перечитывала Зине сообщения о зверствах мятежников, говорила, едва сдерживая слезы:

— Мне кажется, изверги мучают Лешу. Он отчаянный. Наверно, кинулся в самое пекло.

Иногда Зине удавалось убедить Надежду Павловну, что события движутся к лучшему. 31 октября радио сообщило, что советские войска выведены из Будапешта. Казалось, если только Киреев в Венгрии, он теперь сможет приехать, сможет хотя бы прислать телеграмму, но ни его, ни весточки не было. Прошло еще три дня. Газеты и радио стали сообщать подробности о разгуле контрреволюционных банд в Венгрии. Что же сейчас сказать Надежде Павловне? Подтвердить со слов Мякинина, что Алексей там? Нет. Это будет жестоко.

А в этот час Надежда Павловна и без Зины уже знала, где Алексей. Незадолго до ее прихода Марина Сочнева была у подполковника Донцова и тот подтвердил, что Киреев, Сочнев и Заремба сопровождали молодых солдат в Венгрию и что в полку, действительно, не знают причин, почему они долго не возвращаются. Предположения кончились. Была явь. И Надежда Павловна с Мариной, отослав детей во двор поиграть, прижались друг к дружке, единые в своем горе. Наклонившись к приемнику, они ловили свои и чужие станции — все они переполнили эфир сообщениями о событиях в Венгрии.

Москва говорила, что глава правительства Имре Надь предал интересы народа, реакция свирепствует, в Венгрии царит хаос. Голос диктора был суров, как в первый год Отечественной войны. Пражское радио передавало, что самолеты западных стран забрасывают в Венгрию оружие, мятежники совершают зверства и насилия над мирным населением, особенно над коммунистами. Диктор из Вены сообщал о людях, прибывших на австро-венгерскую границу из Западной Германии, одетых в американскую военную форму. «Они наводняют Венгрию, прорываются к Будапешту», — переводила Надежда Павловна, владеющая

немецким. И две женщины, глядя на освещенное стекло приемника, видели незнакомую страну в огне и лица своих мужей.

* * *

Надежда Павловна узнала о приезде генерала Жезлова случайно и, считая неудобным тревожить его в полку, решила зайти к его дочери, чтобы узнать, где и когда можно с ним встретиться и поговорить по личному вопросу.

Дверь открыл сам Фрол Петрович. Он был в мундире, в генеральской фуражке и, как показалось Надежде Павловне, собирался уходить. Она смутилась, не зная, что сказать хмурому генералу.

— Вам кого, Веру? — спросил он, думая, что перед ним подруга дочери.

Надежда Павловна замялась, но тут же ответила:

— Нет. Я вас хотела видеть, товарищ генерал. — И назвала себя.

Услышав, что перед ним жена Киреева, Фрол Петрович отступил на шаг, в его глазах засветились те теплые огоньки, которые преображали этого сурового человека.

— Так я вас знаю! — воскликнул он. — Разве забудешь Монастырскую рощу!

Заставив Надежду Павловну снять пальто и пройти в комнату, Фрол Петрович стал расспрашивать ее о сыне и дочери. Надежда Павловна отвечала кратко, односложно, и он понял, что она думает о другом, слушает его из учтивости.

— Извините меня, Надежда Павловна, за болтливость. Вы, вероятно, обеспокоены представлением мужа к демобилизации. Не волнуйтесь. Не допустили.

— Нет, товарищ генерал. Все это меня могло интересовать раньше. Теперь совсем иное.

— Случилось что-нибудь?

— Об этом хочу узнать у вас. Мне сказали, что муж в Венгрии. Срок командировки давно истек. Он дал бы знать о себе, если... — она еле перевела дыхание, — если был бы жив... Может быть, странно, что я пришла к вам со своим горем. Но в полку ничего не знают.

— Странно, что вы так говорите! — рассердился

Фрол Петрович и по-медвежьему грузно зашагал по комнате. Несколько раз прошелся из угла в угол, остановился у телефона, снял трубку, велел срочно соединить его со штабом округа. Прошла минута, и Фрол Петрович уже разговаривал с кем-то из управления, приказывал немедленно запросить о судьбе капитана Киреева.

— Он был временно командирован туда же, куда поехал Иван Семенович. Ясно? Так вот, как только получите ответ, принесите его мне. Я завтра буду в штабе.

Надежда Павловна хотела поблагодарить генерала и попрощаться с ним. Увидев, что она собирается уходить, Фрол Петрович своей массивной фигурой загородил ей дорогу.

— Вы не должны нервничать. Я больше вас знаю Киреева, каков он в бою. Не из таких передрыг мы с ним выходили!

Его грубоватый тон был ей приятнее, чем успокоительные слова. Она чувствовала — генерал вместе с ней переживает за Алексея, верит в него, и это придало ей силы.

15

Двенадцатые сутки Будапешт словно находился на действующем вулкане.

23 октября 1956 года из глубокого подполья вырвался на проспекты и площади оставшийся от режима Хорти гной и шлак. Через австрийские земли хлынули к границам Венгрии фашистские подонки, выброшенные народом на свалку и подобранные, подкормленные разведками западных государств. Мутная лава увлекла колеблющихся и неустойчивых, втянула в авантюру запутавшихся людей. Над свободой народа нависла смертельная угроза.

Воды Дуная потеряли свою ясную голубизну, стали угрюмыми, свинцовыми, как тучи, которые низко опустились над семью мостами, связывающими Буду с Пештом. От гулких взрывов вздрагивала, казалось, и река.

За несколько дней венгерским патриотам с помощью частей Советской Армии удалось подавить

главные очаги мятежа, и в конце октября советские войска вышли из Будапешта. Но едва последний танк покинул пределы города, как началась новая Варфоломеевская ночь — более продолжительная и жестокая, чем в средневековье, более страшная по своим возможным последствиям.

* * *

На рассвете первого воскресенья ноября по улице Кальмана, недалеко от парламента, шел, незаметно оглядываясь по сторонам, высокий человек. Он был в синем демисезонном пальто и в роговых очках. У многоэтажного дома остановился, закурил и, видя, что никто за ним не следит, юркнул в приоткрытые ворота. Прежде чем свернуть налево, к двери под лестницей, он снова замер, осмотрелся, прислушался. И хотя во дворе не было ни души, все окна занавешены, как в пору воздушных тревог, человек не спешил отойти от стены.

У дверей квартиры с цифрой «6» он нажал звонок. Минуту погода бесшумно поднялся внутренний глазок, кто-то внимательно посмотрел сквозь щель и дважды повернул ключ в замке. Пришедшего впустила молодая женщина с воспаленными глазами. Она жестом показала на вешалку, тщательно закрыла дверь и пошла впереди по коридору. Дойдя до гостиной, кивнула в ее сторону, а сама направилась в другую комнату, откуда слышался тонкий детский голосок.

В гостиной было сумрачно. Плотные шторы закрывали два окна, пропуская снизу скупой серый свет. Видны были лишь фигурные толстые ножки рояля да край цветастой дорожки.

— Это ты, Арпад? Здравствуй, сынок!

— Здравствуй, дядя Ференц! Почему Эржебет не пожелала мне доброго утра?

— Ласло убили. Она и со мной говорить не может.

— За что? Ласло ведь ничем не занимался, кроме своей радиотехники.

— Он отказался бастовать и с группой рабочих продолжал сборку. Их замуровали в подземной галерее. Эржебет ходила туда, слышала удары в камень, стоны. Теперь она, как немая.

Глухой голос Ференца Ковача дрожал. Арпад снял надетые для маскировки очки, взял Ковача под руку, усадил в кресло и заговорил о делах, которые могли отвлечь старика от тяжких дум.

— Задание выполнено, дядя Ференц. Моей группе удалось вооружить рабочих третьего, десятого и двенадцатого районов. Вместе с ними мы уничтожили несколько десятков террористов.

— Очень хорошо, Арпад, — оживился старик. — А Яноша Асталаша нашел? Передал ему поручение?

— Нашел... мертвого. Ему вырезали сердце, прямо на улице. Скажи, дядя Ференц, есть ли у нас правительство? Что делают Имре Надь и Лошонци?

Высокий лоб Ковача покрылся извилистыми поясками морщин. Острые скулы задвигались.

— Имре Надь и Лошонци предатели. Они делают то, чего хочет реакция. Вчера я пробрался в парламент. Туда пришла толпа авантюристов и потребовала поставить кардинала Миндсенти во главе правительства. Имре Надь еще колебался, но сегодня он может поделить с фашистами власть.

— А остальные?! — спрашивал Арпад, и его длинное лицо перекосилось от горечи. — Где Янош Кадар, Ференц Мюнних, другие коммунисты?

— Четыре министра во главе с Кадаром первого ноября вышли из правительства. Они выступили против требования вывести русских из Будапешта, добились разоружения заговорщиков.

— А теперь? Чего они ждут? Что мы противопоставим возможной интервенции империалистов? Глупо и обидно. С нами были русские, а мы отказались от их помощи. Теперь они больше не придут. Все покажется в преисподнюю.

День, возможно, вошел в права или дождь устал греметь о камни, но в гостиной стало светлее. Заметив на жестком, заросшем лице Арпада тень уныния, Ковач запальчиво стал возражать:

— Стыдно молодому голову опускать. Когда ты на свет появился, я уже в отряде венгров, рядом с рабочими Урала наступал на Колчака. Потом вернулся домой, чтобы сделать рабочую революцию. Я посидел в тюрьме, но веру не терял. Весной сорок пятого, когда мы помогали русским освободить Будапешт, я узнал

тебя, Арпад. Ты был смелым человеком. Неужели потерял веру?!

Впалые щеки Арпада покрыл лихорадочный румянец.

— Но мы сейчас оказались изолированными. Что ты можешь предложить?

— Не я предлагаю — партия!

Ковач встал, широко расставив ноги и подав крупное туловище и руки вперед. В такой позе Арпад видел старика у кузнечного молота до его ухода на пенсию.

— Партия предлагает сохранить выдержку, быть готовыми схватить реакцию за горло быстро и насмерть. Иди к своим. Тебе будет поручено важное задание.

Арпад выпрямился. И в старом гражданском костюме он был подтянут, как человек, привыкший к строю, к четкому выполнению приказов.

— Можно узнать, какое задание?

— Придет час — узнаешь. Собери людей на сборные пункты. Передай — ждать осталось недолго.

— Кто будет связным? Я понял, ты рассчитывал на меня.

— Сам управляюсь.

— Тебя все знают. Попадешься — не пощадят.

Не успел Ковач ответить Арпаду, как за их плечами раздался негромкий женский голос:

— Я пойду вместо отца.

Ковач обернулся, увидел тихо вошедшую в комнату дочь.

— Ты?!

Эржебет подошла ближе. Голову с аккуратно сложенными на затылок золотистыми волосами она держала высоко поднятой. Тонкие черты лица были строги.

— Да, отец. Я врач. Если остановят на улице, скажу: иду по вызову больного. Инструмент захвачу, на всякий случай. Куда пойти? Я готова.

Вскоре ушел Арпад, потом Эржебет. Ковач направился на кухню приготовить для внучки завтрак. В шкафу на доньшке блюда он нашел масло, в кошелке несколько последних картофелин. «Что будет с детьми, если произвол затянется?» — подумал старик, вспомнив о магазинах, разграбленных уголов-

никами, о последних запасах муки и угля в огромном, почти двухмиллионном городе. С поджаренными ломтиками картофеля он вошел в детскую. Трехлетняя Геза поела и потребовала, чтобы дедушка пошел за папой.

— Не любит папа, нехороший папа,— капризничала она.— Сказал: шоколадку принесу. Где шоколадка?

Ковач пытался увлечь Гезу книжкой, а сам беспокоился, почему Эржебет так долго не приходит. «Надо было самому идти. Она неосторожная. Что, если попадется?..» Он вышел в коридор, потом снова вернулся к внучке, успокаивая себя тем, что товарищ мог задержать Эржебет, быть может, она дожидается каких-нибудь важных указаний руководства. Но с каждым часом мысли становились все более тревожными.

Какой-то отдаленный гул долетел с улицы.

— Что это, дедушка? — спросила Геза.

Ковач прислушался, подошел к окну, чуть откинул штору. Шум нарастал, превратился в грохот. На мгновение на стыке улиц показался мчащийся танк.

И тут впервые за дни мятежа дрогнуло сердце Ференца Ковача: «Если у заговорщиков появились танки — все пропало».

* * *

Минули две недели, как Киреев прибыл с пополнением в Венгрию. Немногим более суток потребовалось ему, чтобы соблюсти формальности, неизбежные при передаче людей в другую часть, и получить документы на обратный проезд. Киреев, Сочнев и Заремба собирались утром пойти на вокзал, но ночью в танковом полку была объявлена тревога.

С первых минут Киреев понял, что танкистов вывели из казарм не на обычную проверку, а на бой. Утвердило его в этой мысли и распоряжение командира полка не брать с собой молодых солдат, оставить их на усиление охраны военного городка.

— Неужели нас не возьмут? — спрашивал у Киреева Сочнев и, узнав, что трое танкистов одного экипажа уехали с первой группой демобилизованных,

попросил: — Уговорите командира полка, пусть возьмут нас.

Идя позади Киреева и Сочнева, Василий невольно сравнивал себя с ними. Естественно, просто стремились они в бой, будто речь шла о дополнительном выезде на занятия по вождению. В этом, по существу, чужом для них полку никто не мог да и не собирался им приказывать. Наоборот, Кирееву было предписано выехать из Венгрии и задержаться они могли только следуя голосу совести.

Подхватывая обрывки фраз, которыми обменивались Киреев и Сочнев, Василий спросил себя — готовы ли он, как они, добровольно идти в огонь, может быть, на смерть? Получи Василий приказ, он не стал бы рассуждать. Тут же его сердце само должно было приказывать, а приказать самому себе идти на смертный бой может не каждый.

Он остановился в тени высокой кирпичной стены, не желая, чтобы Киреев увидел следы растерянности на его лице. А тот словно чувствуя, что творится в душе солдата, оставил Сочнева у ворот парка, откуда выходили танки, и вернулся к Василию.

— Вы поедете домой, товарищ Заремба. Возьмите проездные документы. — Киреев раскрыл планшет, протянул Василию бумаги.

— А вы? А старшина?

— Надеюсь, пригодимся в полку. Попрошу вас передать наши письма женам. Сейчас напишем.

— Не доверяете? — Василий прикоснулся рукой к бумагам и отдернул ее, как от крапивы. Ему теперь были страшны не внезапно нагрянувшие, вероятно, очень опасные события, а то, как он предстанет перед Донцовым и товарищами по полку, как стыдно будет смотреть в глаза женам и детям Киреева и Сочнева.

— Нет, товарищ гвардии капитан. Я не уеду.

— А если вас не возьмут. Люди не на учения собирались.

— Должны взять! Должны! — Василий повторял это с горячей взволнованностью, чувствуя, что решение его является единственно верным. — Попросите полковника и за меня. Скажите: не уеду!

Урчание танковых моторов слилось в сплошной

рев. Боевые машины вытягивались из военного городка к шоссе, ведущему на Будапешт.

Улучив момент, когда начальник штаба отошел от командира полка, Киреев попросил разрешение обратиться.

— Мне некогда. Вам — на Восток, нам — туда... — отрубил командир полка, острым взглядом буравя Киреева.

— Я и двое моих подчиненных просим взять нас на выполнение боевой задачи.

— Вы имеете представление, куда идем?

— Да.

— Воевали?

— Механик-водитель и я были три года на фронте. Заряжающий — надежный, выносливый солдат.

— Командиры рот и взводов у меня все на месте. Что я могу вам предложить?

— Разрешите принять танк, который не укомплектован.

Полковника это обрадовало. Ему не хотелось брать в экипаж малоопытных танкистов из пополнения, и решение Киреева было как нельзя более кстати.

— Согласен. Вашему командованию сообщу, что вы остались на выполнение боевого задания.

Через несколько минут трое добровольцев, как называл их командир полка, познакомились с наводчиком, младшим сержантом Тимаховичем, и заняли места в танке.

16

Всю последнюю неделю октября экипаж Киреева находился с полком в Будапеште. Когда же танкисты покинули город, экипаж сопровождал санитарные и транспортные машины к аэродрому. Многокилометровые марши совершались ночами, по незнакомым дорогам, без отдыха, и Киреев, чтобы помочь Сочневу, часто посылал ему на смену Тимаховича или Василия Зарембу, а иногда и сам занимал место водителя.

Вести танк ночью было очень трудно. Угнетало неприятное ощущение, что, как бы ты ни был осторожен,

неминуемо заведешь машину в кювет. Но неизмеримо больше угнетала Василия, как и других солдат, неопределенность обстановки.

Сперва думали: ушли из Будапешта — значит, с мятежом покончено. Прошел день, другой, и танкисты убедились в обратном. Мятежники опять вылезли из нор, создавали вооруженные банды, объединялись с теми, кто прибывал с запада. Самолеты так называемых «свободных» западных государств везли в Будапешт оружие, боеприпасы, новых мятежников. Участились сообщения о концентрации близ границ Венгрии вооруженных сил западных стран, угрожающих интервенцией. Мятежники начали массовый террор против венгерских патриотов.

В ночь с 3 на 4 ноября экипаж Киреева прибыл в свой полк, расположившийся в лесу. В раскинутой для отдыха палатке, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, спали на хвое танкисты. Машины рядом, но в них ни посидеть, ни полежать невозможно. Под броней четыре-пять градусов ниже нуля, обогреватели включить нельзя, они грохочут, не подчиняясь никаким приказам о маскировке. В сыром темном лесу и костра не разложишь — запрещено. Хорошо, что старшина роты не забыл захватить палатку. Правда, печки в ней нет, но она согрета дыханием трех десятков спящих, освещена лампочкой от аккумулятора, и можно разглядеть заросшие лица, даже соскрести густую щетину.

Василий согревал для экипажа воду. Он нашел в лесу смолистую сухую ветку и, присев на бревне посреди палатки, зажал ветку меж колен, стоя, как свечу, и зажег один конец, держа над ним алюминиевую кружку. Ветка потрескивала, язычки пламени лизали блестящую поверхность брюк, тянулись к тулупке, но отступали словно удивленные: они не могли совладать с огнезащитной одеждой, выплесни на нее даже горящий бензин, — и тот соскользнет с черной гладкой поверхности, не оставляя на ней никакого следа.

Побрившись, Киреев поспешил в штаб — туда звали офицеров. Сочнев завалился спать. Заметив, что он поджигает под себя обутые в большие яловые сапоги промерзшие ноги, Василий выбежал к танку,

принес свою шинель, заботливо укутал ею ноги товарища.

После Василия брился Тимахович. Василий мог лечь отдохнуть, но ему не терпелось выяснить волнующий вопрос.

— Скажите, товарищ младший сержант, и зачем мы ушли из Будапешта? Находились бы там — был бы порядок, а не разбой.

Медлительный Тимахович добрил впалую щеку и лишь тогда ответил:

— Ушли по приказу командования. Что тут неясного?

— Как могли проморгать мятеж? — не переставал допытываться Василий, думая, что если танкист провел службу в Венгрии, то он непременно должен все знать. — Неужели мятежники имеют поддержку в народе, у рабочих, скажем?

— Проморгали... Поддержка... Не то это все, — расшевелился, наконец, флегматичный младший сержант и заговорил о том, как на его глазах крепла Венгерская Народная Республика. — За три года моей службы я здесь больше всего встречал честных людей, считавших народную власть для себя родной. Не могу поверить, чтобы они уступили мятежникам, дали снова надеть на себя хомут фашистский. Жаль только — немало погибнет венгров из-за предателей.

Несколько раз Тимахович прошелся безопаской от худой шеи к острому подбородку, вымыл лицо, подсел на бревно к Василию. Тот вертел меж ладонями обугленную ветку, размышлял о том дне, когда придет в поселок и неожиданно для Шуры встретит ее. «Она обрадуется, наверно», — думал Василий, и его что-то подтолкнуло поделиться с Тимаховичем своими мечтами. Он рассказывал, какая Шура славная, о ее последнем письме, о том, что она вышлет фотографию. Возможно, уже выслала на постоянный адрес, а когда там будешь?.. Хотел написать ей из Венгрии, только где и как напишешь, если Киреев и Сочнев не могли телеграмму послать семьям, и даже командир полка не сумел сообщить командованию, почему они задержались.

В разговоре легче было отгонять прилипчивую, смыкающую веки дремоту. Василию захотелось

вызвать на откровенность обычно молчаливого Тимаховича, и он спросил:

— Вы, товарищ младший сержант, видать, заглядывались на молодых мадьярок? Стройные, надо признать, девчата.

— На меня они не производили впечатления, — отозвался Тимахович.

Он расстегнул ворот тужурки и из кармана гимнастерки вынул аккуратно завернутую в целлофан фотографию.

— Нравится?

— Еще бы!

С фотографии смотрела большеглазая, симпатичная девушка в вышитой белорусским узором кофточке. Тимаховичу польстило, что Василий внимательно и долго смотрел на его невесту.

— Ждет. Надеется, к празднику дома буду.

— Многие ждут. Особенно, мне кажется, дети, — сказал Василий, вспомнив о семьях Киреева и Сочнева.

Незадолго до поездки в Венгрию Сочнев познакомил Василия со своей семьей. Марина Сочнева тронула Василия ласковой гостеприимностью и нежным отношением к мужу. Не успел тот раскрыть калитку, как она с детьми выбежала навстречу. Сынок и дочь мчались наперегонки, повисли на крутых плечах отца, смеясь и споря, кто его крепче обнимет.

Возможно, Сочнев сквозь сон расслышал последние слова Василия о детях. Он поднялся, потер лоб, закурил.

— О чем беседа?

— Хвалимся, кто чем богат, — ответил Тимахович, а Василий попросил:

— Покажите младшему сержанту своих наследников, товарищ гвардии старшина.

— С удовольствием. — Заспанное лицо Сочнева заулыбалось. Он достал из перекинутой через плечо полевой сумки фотографию, протянул Тимаховичу. — Пожелаю вам завести на белорусской земле такой же экипаж.

Тимахович взял фотографию. С нее глядели в сторону отца, словно желая его и тут порадовать, девочка с толстыми косичками и пухлощекый мальчуган.

Все в них привлекало: и задиристые носишки, и хохолок у сына, и хвостики бантиков на косичках девочек.

— Вот это экипаж! Мальчишка — вылитый старшина, — еще долго восхищался бы Тимахович, но Василий предупредил, что идет капитан, и трое встали навстречу.

Киреев быстро вошел в палатку. Свет упал на его лицо, почерневшее, осунувшееся за эти дни и бессонные ночи. Нос заострился, из закрытого ворота тулупки выпирал незаметный прежде кадык.

— Получен боевой приказ, — сказал Киреев, развертывая карту с нанесенной обстановкой. — В Будапеште образовано революционное рабоче-крестьянское правительство Венгрии. Оно обратилось к нашему командованию с просьбой помочь венгерскому народу разбить реакцию. Словом — навести полный порядок. Ясно?

17

Утром 4 ноября рота, идущая в головной походной заставе, миновала окраину Будапешта и, увлекая за собой длинное стальное тело полка, двинулась по проспекту Юлия к центру города.

Машины шли с захлопнутыми люками, обзор был ограничен узкими смотровыми щелями и приборами наблюдения, но и то, что можно было увидеть из закрытых, быстро мчащихся машин, потрясло воинов. Считанные дни прошли, как они оставили Будапешт. Тогда были незначительные разрушения только в центре. Теперь город стал неузнаваемым. В каждом квартале встречались развалины, зияли разбитые, опустевшие витрины магазинов. На столбах уличных фонарей, на деревьях бульваров висели вниз головами опутанные веревками или прибитые гвоздями люди. Перекрестки улиц мятежники перекрыли автобусами, трамваями, контейнерами, облили мостовые бензином и подожгли, чтобы огонь преградил путь советским танкам и бронетранспортерам. Машины шли по пламени, будто плыли по огненной реке. Из засад били орудия, пулеметы. Группами и в одиночку заговорщики забирались на верхние этажи, оттуда забрасывали бронетранспортеры и танки бутылками

горючей смеси, стреляли из подвалов и подворотен фауст-патронами. Местами автоматчикам приходилось с боем очищать каждый дом от мятежников.

На подходе к центру командир полка приказал Кирееву возглавить взвод разведки и поставил перед ним задачу: двигаясь к парламенту, раскрыть расположение огневых средств противника, его основные опорные пункты.

Труднее всего было головному танку. Противник старался прежде всего вывести его из строя, чтобы закупорить узкие переулки, не дать другим танкам продвинуться вперед.

В одном из переулков на корму киреевской машины кинули бутылку, и горячая жидкость разлилась по броне. Другие танки были за поворотом, их экипажи не видели головной машины, не могли предупредить по радио Киреева, что огонь подбирается к запасным бачкам с горючим. Киреев обнаружил огонь, когда повернул прибор наблюдения назад. Заметив он пожар в поле, на просторе, он велел бы мчаться на самой высокой скорости и попытался бы, как он это делал на фронте, сбить пламя ветром. Тут же был узкий извилистый переулок, где невозможно развить даже средней скорости. «Попробую выстрелом... Может, сорвет огонь!» — решил Киреев и приказал Тимаховичу повернуть орудие назад, приподнять ствол, произвести выстрел над кормой.

Несколько секунд потребовалось Тимаховичу, чтобы исполнить команду. Расчет Киреева оказался верным. Воздушная волна от выстрела хлынула на корму, сорвала пламя, обезопасила бачки с запасным горючим, укрепленные на бортовых крыльях машины. Но сделано это было с опозданием. Огонь уже проник в трансмиссионное отделение, подбирался к мотору. Случись подобное в минувших боях, даже на прославленной «тридцатьчетверке», экипажу оставалось покинуть машину, — ее невозможно было бы спасти. Теперь и людей, и танк сберегло созданное советскими конструкторами противопожарное устройство. Как только температура в машине дошла до критической точки, из баллона вырвалась освобожденная струя жидкости и потушила пламя.

О том, что происходило и снаружи, и внутри танка, за моторной перегородкой, Василий не знал. Он поднимал, клал на лоток двухпудовые снаряды, отскакивал вправо и снова поднимал, снова заряжал пушку, снова отскакивал. Все снаряды из башни уже были извлечены. Приходилось на корточках пробираться поближе к механику-водителю, брать из нижних гнезд боеприпасы и на весу тащить их к лотку пушки. Иногда Василию казалось, что он не успеет за следующими одна за другой командами: «Бронбойным!», «Осколочным!», «Пулемет!» Нередко он приседал, обжигал руки о раскаленные отстрелянные гильзы, которые не успевал убирать из-под ног в ниши, и все подавал и подавал снаряды.

Ничего ему так не хотелось, как глотнуть воды, сорвать с себя тужурку, свитер — все то, что оберегало его от холода, от огня, а теперь сдавливало грудь, мешало двигаться. Его словно закутали с головы до ног в горячие мокрые простыни. На шее скапливался соленый раздражающий кожу пот, а у Василия не было свободного мгновения, чтобы расстегнуть шлем, вытереть шею. Иногда он ощущал толчки: танк крупно вздрагивал и еще быстрее мчался вперед. По этим толчкам Заремба догадывался, как упорно сопротивляется враг.

Немало снарядов было выпущено по головному танку разведки, несколько коснулось брони. Киреев, неотрывно глядя в приборы наблюдения, подавал команды Сочневу, и тот так искусно маневрировал машиной, что снаряды делали лишь вмятины в крепкой броне.

Поглощенные боем, танкисты не ощущали, как в лица и руки впились стальные крупинки, откалывающиеся от внутренних стенок брони в мгновения, когда вражеские снаряды чиркали по покатоному лбу танка. Оспинки крови смешивались с потом и грязью. Кожа в мельчайших надрезах становилась красновато-бурой. Выбравшись из танка, чтобы снять с крыльев машины бачки с запасным горючим, Василий испугался, увидев окровавленное лицо Сочнева.

— Ранены, товарищ старшина?!

— Так же, как ты, — рассмеялся Сочнев. — Такое ранение водой смывается.

На ближних подступах к парламенту мятежники открыли по взводу еще более сильный огонь из орудий. Второй танк, идущий вслед за киреевским, был подбит. Предупредив по радио командира полка о засаде и следуя его приказу, Киреев, маневрируя и отстреливаясь, дал возможность третьему танку ответить в тыл подбитую машину.

— Разрешите обойти справа? — услышал Киреев голос Сочнева.

Сочнев в этот день не просто исполнял волю Киреева — он чувствовал его мысли, предугадывал решения, не раз подсказывал маневры, спасавшие экипаж. Киреев согласился с советом механика-водителя.

Меньше двадцати минут понадобилось Сочневу, чтобы на большой скорости проскочить несколько переулков, пересечь улицу Кальмана. Еще один поворот направо, а там еще сотня метров по прямой — и они будут на площади Лайоша Кошута, у парламента, куда приказано было выйти танку-разведчику.

Вдруг машина словно врезалась в скалу. Танк завертелся вокруг своей оси, подставляя левый борт вражескому орудью, внезапно появившемуся из засады. Один снаряд попал в левую гусеницу, другой заклинил башню — ствол танковой пушки замер. Жерло глядело в каменную стену дома, и никакая сила не могла в эту минуту повернуть ствол на врага.

Вращая прибор наблюдения, Киреев заметил приближающуюся со стороны площади группу вооруженных людей. Впереди был рослый с забинтованным лицом мадьяр. Вражеское орудие замолчало. «Живыми хотят взять», — подумал Киреев. Он откинул крышку люка, бросил гранату. Двое мятежников распластались на мостовой. Атака захлебнулась.

Во время короткого затишья Киреев пытался вызвать по радио командира полка, но безуспешно. Видимо, танки полка находились еще далеко от центра. Необходимо было установить с ними живую связь. Кого послать? Лучше всех в городе сможет ориентироваться наводчик — он не раз бывал в Будапеште.

— Тимахович!

— Слушаюсь!

— Возьмите автомат, гранаты и — к командиру полка. Сообщите, где находятся узлы сопротивления.

Передайте, танк не отдадим. Если иного выхода не будет, взорвем его!

Через нижний десантный люк ушел Тимахович. В боевом отделении появился Сочнев. Он доложил, что осмотрел гусеницы: у правой перебиты два звена, у левой — одно.

— Можно не ставить запасные траки, — предложил он, — выбросим негодные, навесим гусеницы на ленивцы, а прямо на катки. Скорее управимся.

— Я с вами пойду, — сказал Киреев.

Тем же нижним десантным люком скользнули под днище, а оттуда, незаметно для мятежников, которые могли видеть только то, что делалось с левого борта танка, выбрались к правому. Прежде всего надо было вывести ленивец из зацепления, ослабить гусеницу. Киреев и Сочнев старались работать бесшумно, но как осторожны они ни были, металлические части звенели, скрипывали. Скрип и звон хлестали по нервам, обостряли восприимчивость.

Оставленный в машине для наблюдения Василий вращал прибор, чтобы не упустить момент появления мятежников и дать об этом знать Кирееву. Василий видел, как отползал, по-пластунски прижимаясь к домам, Тимахович. По другую сторону пока никого не было. Мятежники откатали орудие за угол, улица обезлюдела. И вдруг на перекрестке и из близких к нему подворотен сразу выбежало до двух десятков людей, вооруженных автоматами и карабинами, и врассыпную кинулись в сторону ганка. Василий высунулся из люка, дал знать Кирееву о начале атаки, услышал:

— С автоматом, сюда!

Будто ветром вынесло Василия на броню. Он spryгнул на землю, начал из-за кормы стрельбу.

— Минуты три продержись, Вася! — просил Сочнев, стараясь успеть с Киреевым навесить гусеницу на каток. Удалось бы это сделать, хотя бы на одной правой стороне, и танк мог бы повернуться орудием и пулеметом в сторону атакующих. Но те оказались до того близко, что пришлось прибегнуть к гранатам.

Тимахович услышал разрывы гранат, а через несколько минут два орудийных выстрела. Они заставили его стремглав побежать дальше на юг, чтобы

быстрее привести на помощь товарищам танки полка.

Мятежники снова пустили в ход орудие. Броневой снарядом был пробит борт корпуса, осколком другого снаряда ранен в ногу Василий. Киреев и Соцнев подхватили раненого, подползли с ним под танк, через десантный люк забрались в машину. Захлопнулся раскрытый башенный люк. Это было сделано вовремя. К машине опять приблизились мятежники. Магьяр с забинтованным лицом вскочил на танк, сорвал антенну радиостанции, крикнул повелительно:

— Кифеле! Орус, одьятоток могуток фел!

Эту фразу магьяр прокричал и на ломаном русском языке — танкистам предлагали выйти из машины и сдаться в плен.

* * *

Предчувствия не обманули Ференца Ковача: дочь, действительно, задержали важные события. Два часа пробыла она на квартире, куда послал ее отец, дожидаясь, пока товарищ принесет воззвание Венгерского революционного рабоче-крестьянского правительства. Теперь она шла с маленьким чемоданом, тревожась, как бы кто-нибудь не догадался, что под хирургическим инструментом спрятаны прокламации.

Эржебет избегала больших улиц и площадей, обходила их переулками, прижимаясь к стенам домов. Заслышав шум автомобилей, в которых шныряли патрули мятежников, скрывалась в подъездах, затаивалась под лестницами.

Каждая минута казалась Эржебет часом. Она представляла себе, как волнуется отец, ей хотелось бежать напрямик, а приходилось идти окольными путями. С запада и юга докатывались звуки выстрелов — там шел бой. Здесь же стояла тишина — мрачная, жуткая. На столбах раскачивались, головами вниз, почти доставая руками камни тротуаров, тела замученных. Эржебет каждый раз казалось, что она видит перед собой истерзанного пытками мужа.

Шаги за спиной заставили оглянуться. За ней шли двое с карабинами на плечах и гранатами за поясом. Одного — худого, невысокого, в сером пальто — она узнала. Это был сосед по дому, студент, участвующий

щий с первых дней в мятеже. «Они идут за мной. Найдут воззвание — пойдут к отцу, убьют его». Эржебет ускорила шаг. Она должна раньше, чем они, дойти до поворота на улицу Кальмана, чтобы можно было бежать, предупредить отца... Ближе к повороту ее нагнал угрожающий оклик студента. Не сулящий ничего доброго, пьяный голос подхлестнул ее, и она успела первой обогнуть угол. Разрыв между Эржебет и мужчинами увеличивался. Она мчалась, как на дорожках стадиона, где недавно показывала результаты мастера в спринтерских забегах. Но пули были быстрее, они обгоняли, свистели над головой. Эржебет петляла, прижимая чемодан с прокламациями обеими руками к груди, каждый миг ожидая свинцового укола в спину.

Она была совсем близко к воротам своего дома, когда навстречу брызнула автоматная очередь. Эржебет упала. Чемодан раскрылся, зазвенел по каменным плитам хирургический инструмент, отлетела в сторону перевязанная пачка прокламаций. Несколько секунд Эржебет оставалась неподвижной. Не чувствуя, однако, никакой боли, она заставила себя раскрыть глаза, посмотреть перед собой. Пригнувшись, с автоматом навскидку, бежал краем тротуара худощавый, низкорослый человек в танкошлеме. Инстинктивно, словно для самозащиты, Эржебет подалась в сторону, грудью прикрыла прокламации. Танкист даже не посмотрел на Эржебет. Его автомат был направлен на двух настигавших ее мятежников. После повторной короткой очереди они грохнулись на землю. Но один из смертельно раненных успел выстрелить в танкиста.

Все произошло до того неожиданно, что Эржебет не переставала думать, что ее вот-вот нагонят, схватят. Между тем тишина-ником теперь не нарушалась. Эржебет оглянулась: позади недвижимо лежали двое в гражданской одежде, а слева от нее, в трех шагах, танкист. Узловатыми пальцами он судорожно царапал мокрые камни мостовой.

Подавление мятежа шло успешно. Передовые рабчие Будапешта вместе с советскими войсками очищали от банд заводы и фабрики, вокзалы и улицы.

Лишь в примыкающих к Дунаю центральных кварталах заговорщики продолжали ожесточенно сопротивляться.

На пути колонн танкового полка, с которым взаимодействовал отряд Арпада, мятежники разрушали здания, перекрывали улицы новыми баррикадами, устраивали ловушки. Их артиллерия заняла выгодные позиции на правом берегу Дуная и с горы обстреливала набережные и площади левого берега, ставила перед танками огневые заслоны.

Потеряв связь с танком Киреева, командир полка отправил на разведку противника и розыски исчезнувшего экипажа другой взвод. Десантниками на трех машинах взвода были рабочие-венгры во главе с Арпадом. Не узнать было человека, посетившего на расвете этого дня квартиру Ференца Ковача. Сухую высокую фигуру Арпада облегала черная, с подпалинами, кожаная куртка. Каска, тоже бывшая под огнем, с вмятиной на макушке, закрывала высокий лоб, нависала на красноватые, с припухшими веками глаза. Арпад редко отдавал приказы, чаще всего безмолвно спрыгивал с брони танка, первым бросался к подъездам домов, занятых мятежниками, забирался со своими десантниками в неприступные для танкового огня подвалы и верхние этажи, очищая их от заговорщиков.

Овладев одной из центральных площадей города — площадью Свободы, — танки промчались вблизи разрушенной мятежниками Статуи благодарности. Скульптурная группа, олицетворяющая дружбу советского и венгерского народов, была свалена цепью с пьедестала. Присевшие за башнями движущихся танков десантники Арпада не могли оторвать взоры от изуродованной скульптуры. До боли в пальцах сжимая стальные поручни башен, они проклинали мятежников, а Арпад, как бы про себя, но так, что товарищи услышали его, сказал:

— Кто забудет растерзанный Будапешт, тот не достоин называться венгром.

Танки продвинулись еще немного на север, но до улицы, где подбили машину Киреева, им пройти не удалось. Разведчики решили, что экипаж погиб. Их мнение разделяли и в штабе полка.

Сколько времени прошло с момента, как мятежник забрался на машину и предложил танкистам сдаться, Киреев не мог сказать. Он увидел в прибор наблюдения приближающуюся к танку вражескую группу. Впереди, не подбирая слетевшей с головы фуражки, бежал лысый мадьяр.

— С гранатой вниз! — скомандовал Киреев Сочневу.

Подняв крышку десантного люка, Сочнев юркнул под днище, незаметно высунулся в узкий промежуток между лбом танка и стеной и метнул гранату. Обмякшее тело забравшегося на броню мадьяра рухнуло наземь, двое атакующих были тяжело ранены. Движущаяся цепь застыла, но лысый вожак предупредил отступление. Не спуская взора с большой, сделанной его орудием пробоины в корпусе танка, он бросил одну, за ней вторую дымовые шашки и под прикрытием черной завесы приблизился к машине, лег возле гусеницы и стал разматывать моток резинового тонкого шланга. Подозрительная возня достигла слуха Киреева, и он не отходил от левого борта, от прибора наблюдения, вращал его во все стороны, безуспешно пытаясь разглядеть что-либо за плотным дымом. Он не видел людей еще и потому, что лысый приказал своим подчиненным не подниматься с земли, пока не просунет конец шланга в пробоину.

На несколько минут обе стороны притаились. Киреев прислушивался, что делается вне танка, мятежники, выжидая удобного момента, затихли. Сочнев был около Василия. Он разрезал на правой ноге порванный осколком сапог, давящей повязкой остановил кровь. Осколок, видимо, повредил кость. Василий стоял.

— Потерпи, Васек! — говорил Сочнев, ползая по днищу, шаря во всех уголках, чтобы найти дощечку или другой подходящий для шины подручный материал, но внутри танка ничего такого не было, и Сочнев был вынужден позвать на подмогу Киреева.

Услышав голос, а затем шаги в танке, лысый мадьяр приподнялся, просунул конец шланга в объемистую пробоину и ловко заткнул пустоту мешком. С другим концом шланга он полез в подвал дома,

возле которого застряла машина Киреева, подключил шланг к газовым трубам топливной сети и, открыв кран, направил струю в танк.

Под небольшим давлением, бесшумно, незаметно для экипажа, находящегося у правого борта, струйка газа без цвета и запаха потекла вверх по стенке, к потолку боевого отделения, постепенно опускаясь вниз. Сидя на корточках возле Василия, Киреев прибинтовал поврежденную ногу к здоровой — она служила как бы шиной для раненой конечности. Все еще не зная о новой опасности, Киреев велел Сочневу принести бачок с водой, напоить Василия. Сочнев полез к рычагам управления, а Киреев поднялся проверить, рассеялся ли дым вокруг машины. Не успел он сделать двух шагов, как начал задыхаться.

— Газ! — крикнул офицер и тут же, надевая шлем-маску, начал искать отверстие, через которое в машину проникал газ.

Сквозь очки он разглядывал потолок, стенки корпуса, щупал броню, пока не обнаружил у днища танка, в левом борту, пробоину. Осветив угол фонариком, он увидел забитое мешком отверстие, свесившийся на пол шланг — из него сочился газ. Киреев хотел вытолкнуть шланг, но подумал, что враги, увидев его выброшенным, предпримут другие козни. «Добиваются, чтобы вышли, или хотят задушить, чтобы самим забраться внутрь... Танк им нужен в сохранности. Конструктивные новинки приманивают шпионов...» Оставив шланг на месте, Киреев туго забил его горловину платком и перетянул шейку проволокой: «Не выйдет!»

Услышав возглас «Газ!», Василий потянулся рукой к бедру — противогаса там не оказалось. Василий вспомнил, что какой-нибудь час назад скинул его с себя, чтобы не болтался, не мешал двигаться со снарядами к пушке, что он положил сумку в пустое гнездо из-под боеприпасов у моторной перегородки. Надо было преодолеть всего три шага, но они оказались для раненого сложнейшей полосой препятствия. Василий, упираясь руками о днище, приподымал туловище, толкал его вперед.

Каждый сантиметр продвижения вызывал нестерпимую боль. Все же он добрался до сумки, но вынуть из нее шлем-маску не мог. Начались позывы на рвоту,

что-то давило на черепную коробку, на барабанные перепонки, на учащенно бьющееся сердце.

Для Сочнева предупреждение «Газ!» означало и команду включить вентилятор. Пока он включал его, добрался до Василия и натянул на него шлем-маску, тот был уже без сознания.

* * *

К полудню тучи над Будапештом стали таять, дождь прекратился, на образовавшейся голубой полянке неба появилось солнце. После мгlistых, серых дней оно казалось необычайно теплым и ласковым.

Прорываясь сквозь просветы чуть приподнятых оконных штор, в гостиную потекли серебристо-желтые ручейки. Тимахович недоуменно поводил глазами, не понимая, как оказался здесь. Мысли путались. Он вспомнил перестрелку на улице, упавшую женщину, удар в грудь. Боль подтверждала — это было наяву. «Где я? Кто перенес сюда? А автомат, гранаты?!» Ему было неудобно полусидеть-полулежать, туловище было словно прибито к валику дивана большим раскаленным гвоздем. Тимахович попытался выпрямиться, ощутил еще более острую боль в груди. Будто из дымчатого облака возникло матово-бледное лицо женщины в белом халате. Она приблизилась, потрогала лоб, проверила пульс. Тимаховичу показалось, что женщина похожа на ту, в которую стреляли мятежники. «У меня, наверно, бред, ведь она упала мертвой...» Женщина отошла к окну, зашептала что-то сутулому широкоплечему мужчине. Тот в ответ загудел низким голосом, трудно было понять, — сердится или озабочен чем-то?

...Услышав перестрелку, Ференц Ковач попросил соседку присмотреть за внучкой и, выбежав за ворота, увидел: Эржебет тащила на себе раненого танкиста.

— Помоги! Скорее! — разобрал он тихий возглас дочери.

Как только они уложили и раздели танкиста, Эржебет прижала марлевым тампоном входное отверстие раны — у Тимаховича оказалось сквозное пулевое ранение грудной клетки.

— Если задержусь с операцией — он погибнет, — сказала она, наложив повязку и прислушиваясь к

тяжелому дыханию больного.— Перелом ребра, кровотечение из легкого. Попроси Йожефне, может быть, согласится прийти.

Вскоре Ференц Ковач возвратился с медицинской сестрой. Как только Эржебет и Йожефне стали готовить раненого к операции, Ковач поспешил с проклятиями к боевой дружине. После нескольких схваток с заговорщиками он оказался поблизости к дому и забежал посмотреть, выжил ли русский. Медсестры уже не было, операция прошла благополучно. И тут, заметив настороженность и подозрительность во взгляде танкиста, Ковач захотел успокоить его:

— Минк вадинг коммуништак! — проговорил он. И думая, что тот не понимает венгерского, с сильным акцентом повторил ту же фразу по-русски: — Мы есть коммунист, — и добавил воодушевленно: — Я видел Ленин!

Вспыхнувшая в глазах старика гордость, смущенная улыбка на лице женщины говорили Тимаховичу, что он попал к друзьям, что они от чистого сердца оказали ему помощь. Стараясь вложить в одно, хорошо знакомое ему слово всю благодарность, которая овладела им, он едва слышным голосом произнес:

— Кесенем... Спасибо.

Ковач отошел с дочерью к роялю, стал что-то быстро говорить ей, кивая в сторону улицы. В глухом голосе сквозило беспокойство. Тимахович догадался, что танки еще не успели прийти в этот район. «Жив ли экипаж? Может быть, в эти минуты гибнет без помощи, а я...» Тимахович приподнялся, хотел сказать об экипаже, но надрывно закашлял. На губах показалась кровь. Отец и дочь бросились к раненому. Ференц Ковач услышал kloкочущее дыхание и лихорадочно-поспешные, трудно уловимые обрывки фраз:

— Танк... Товарищи... Одни...

— Танк?! Где?

— Кошут... Близко...

Тимахович хотел что-то объяснить, но Ференца Ковача уже не было возле него.

Головные подразделения полка пробились через артиллерийские заслоны и по набережной Дуная дви-

гались к парламенту, к площади Лайоша Кошута. Сюда и на близлежащую к площади улицу, где находилась осажденная машина, доносились выстрелы танковых пушек и слитный гул множества моторов.

Слышал ли их экипаж Киреева?

Танк стоял недвижимо-холодный. Ствол пушки по-прежнему глядел круглым черным глазом на пепельную стену дома. Крышки люков все еще были наглухо впаяны в гнезда. Из машины никто не показывался, и тишина в ней наводила на мысль, что газ задушил танкистов. Все же полной уверенности, что с танкистами покончено, у мятежников не было. И когда завязавшийся поблизости бой заставил лысого вожака отвести людей на площадь, он приказал троем остаться в засаде, в воротах противоположного дома, ждать.

Как зорко ни смотрели мятежники из засады, они не могли обнаружить признаков жизни в танке. Они покинули бы свое убежище, удалились бы, но здесь им было безопасно, а возле лысого пришельца с запада им постоянно угрожала смерть. К тому же вожак мог потребовать ответа, а они, даже считая танкистов погибшими, не решались подползти к машине: застывшая стальная глыба внушала им страх.

А в танке наперекор всему продолжалась жизнь.

Как голько Киреев забил горловину шланга платком и замотал его шейку проволокой, газ перестал поступать в машину. Вентиляторы почти полностью очистили боевое отделение от отравленного воздуха. Киреев и Сочнев перенесли Василия поближе к десантному люку. Некоторое время раненый был без памяти. Отравление ослабило дыхание, и это могло оказаться гибельным. Скинув противогаз и убедившись, что обойтись можно и без него, Киреев снял с Василия шлем-маску, стал делать искусственное дыхание. Раскрыв веки, Василий зашевелил побелевшими губами.

— Мы все еще одни? — спросил он у Сочнева, когда Киреев отошел.

— Как одни, Вася? — говорил Сочнев, радостный, что к товарищу вернулось сознание. — Были бы одни — давно распрощались бы с белым светом. Танку нашему ни пламя, ни газы не страшны, ведь делали его наши люди, и твоя Шура тоже. Разве ты не чувствуешь, что они с нами?

В слабом свете, еле доходящем от лампочки на потолке до пола, Сочнев разглядел улыбку на измученном болью, обескровленном лице Василия.

Находясь почти непрерывно на посту у прибора наблюдения, Киреев увидел удаляющихся вооруженных людей и среди них длинную фигуру лысого вожака. «Что вынудило его снять осаду? Действительно ли все ушли?» — задавал себе вопросы Киреев. Развернув прибор в другую сторону, он уловил возле противоположных танку ворот, на солнечной дорожке тротуара, мелькнувшую на миг тень. «Там скрывается враг», — догадался Киреев.

Он возвратился к Василию. Пульс его бился неритмично, с провалами, лицо стало сине-багровым. Киреев дал раненому глотнуть воды, растер влажной рукой грудь, ни взглядом, ни жестом не выдавая своей тревоги. Но, когда он снова принимался восстанавливать утерянную связь по радио, в его голосе можно было обнаружить волнение, которое он тщательно скрывал.

— Волга, Волга! Я — Кама! Как меня слышите? Прием...

Сколько раз Киреев посылал в эфир свои позывные, сколько раз звал эту «Волгу», но сызнова повторялись шум, треск в наушниках и ничего больше. Да и что было ожидать, если короткий штырь упирался в потолок, не имея внешней антенны, а без нее можно вступить в связь на расстоянии какого-нибудь километра, от силы — полутора. Значит, танки находятся на более значительном отдалении. На каком? И идут ли они сюда?

Силы иссякали. Остатки воды в питьевом бачке хранили для Василия, вливали ему в рот по несколько капель. Кирееву и Сочневу все труднее становилось противиться желанию лечь рядом с раненым, закрыть, как он, глаза. Так прошло еще полчаса, пока Сочнев не предложил выйти из танка и принять бой. Киреев согласился. Он уже взял гранаты, чтобы сделать вылазку, как уловил далекий глухой орудийный гром, а вслед за ним близкую перебранку автоматов и карабинов.

С большим увеличением, как будто в двух шагах от себя, Киреев увидел в окулярах прибора бегущих к танку людей. Незначительный поворот прибора, и в

поле зрения попали тротуар, ворота, выглядывающие три головы и дула карабинов. Кто из этих гражданских друг, кто враг? Где патриоты, а где мятежники? Если б знать, можно было б открыть верхние люки, гранатой помочь друзьям... Нетерпеливо следил Киреев за тем, как упали двое у ворот, как исчез в них третий, а наступающие пять человек поравнялись с трупами. Пожилой венгр с разбегу вскочил на танк, застучал прикладом по броне башни и выкрикивал понятные душевные слова, которым невозможно было не верить:

— Выходи, русский! Я мадьяр — коммунист!
Это был Ференц Ковач.

* * *

Свежий, чистый воздух — можно себе представить, каким ароматным и сочным казался он для угоревшего от газа экипажа! После туманов и дождей воздух был насыщен солнцем, стал прохладен и легок, и хотелось его пить и пить.

Все было бы хорошо, если б не тяжелое состояние Василия. Дыхание улучшилось, пульс бился ровнее, но нога распухла, и боль все усиливалась. Ференц Ковач предложил услуги дочери-врача. На стареньком автомобиле, который был у штурмовой группы венгров и дожидался за углом, Сочнев и Ковач отвезли Василия к Эржебет.

Когда минут через двадцать сопровождающие возвратились, негодные траки у гусениц были замснены, и Сочневу оставалось только натянуть их. Установив запасную антенну, Киреев услышал долгожданную «Волгу». Командир полка находился с головной ротой, идущей по набережной к площади Кошута. Выслушав донесение Киреева и уточнив место, где стоял танк, полковник приказал двигаться на южный край площади, где мятежники погнались впереди себя детей, чтобы остановить наступление танкистов.

— Клином! Клином! — требовал командир.

Расчет мятежников был настолько же бесчеловечно-диким, насколько и простым. Они знали, что советские танкисты не поведут машины на детей, не pošлют снаряды в шеренгу автоматчиков. осколками

могло убить детей. Заговорщики предполагали, что перед живой цепью малышей танки остановятся, собьются в кучу, и артиллерия из засад сумеет бить без промаха. И, стреляя поверх голов детей, вражеские автоматчики гнали их к стыку площади и улицы, откуда надвигался к парламенту неумолчный гром.

Чтобы приближение танка Киреева с тыла не было замечено врагом, командир полка приказал повзводно открыть залповый огонь из танковых пушек по дальним артиллерийским позициям противника. Грохот был до того оглушительный, что на площади слышали шум мотора и лязг гусениц уже после того, как Сочнев довел танк до левого фланга шеренги мятежников. Развернув с ходу машину вправо, Сочнев направил ее между шеренгами, держась ближе к автоматчикам, подальше от извилистой, трепещущей шеренги, образованной из маленьких, прижатых друг к другу фигурок.

Строй мятежников распался. Пользуясь тем, что застывшая без движения пушка смотрела вправо, Киреев послал осколочный снаряд по удиравшим бандитам и продолжал их преследовать очередями из пулемета.

Вздрогнув, сбилась в кучки шеренга детей. Одни повернулись лицом к летевшей позади них машине и застыли в ужасе, другие кинулись бежать, а девочка лет семи, в зеленом коротеньком пальтишке до колен, попятилась, споткнулась о трамвайную колею и упала спиной на мостовую, не видя, как прямо на нее мчится громада танка.

— Ребенок! — крикнул Киреев по переговорному устройству, заметив перед машиной девочку. В глазах Сочнева мелькнула фигурка с голыми коленками, когда уже нельзя было свернуть, обогнуть ее. Он рванул на себя рычаги, но девочка уже скрылась из поля зрения. Сочнев подумал, что опоздал, что гусеница подмяла под себя тонкую слабую фигурку или зацепила ее и нельзя сейчас подавать машину ни в сторону, ни даже отойти назад, пока сам не выйдешь, не посмотришь.

Откинув крышку люка, Сочнев вылетел из машины на мостовую с такой же быстротой, как в дни войны, когда оказывался в горящем танке. Он нагнулся и под

выпуклой, округленной грудью корпуса, в нескольких сантиметрах от зубастых траков увидел плачущий комочек. Девочка держала кулачки возле белого круглого лобика, словно защищая его от удара. Из-под зеленой шапочки торчали косички, такие же, как у его дочери. Подняв задохнувшуюся от испуга и слез девочку, Сочнев прижал ее к груди.

Он сделал шаг, чтобы поставить ребенка в сторону от танка, но дорогу преградили пули. Сочнев подался к люку, успел опустить в машину ребенка, а уберечь себя уже не смог. Автоматная очередь острой косяй врезалась в поясницу.

20

Начальник Политуправления вызвал Донцова в округ сразу же после Октябрьских праздников. Полковник Целищев дал свою машину, проводил в дорогу.

Много раз начальник Политуправления бывал в полку и постоянно оставлял у Донцова впечатление, что его посетил старший друг, умудренный жизнью товарищ. Приезжал он без предупреждений, не дергал командиров и политработников по мелочам, а сам выискивал себе дело: читал лекции для офицеров и солдат, беседовал с ними, советовался, присматривался и перед отъездом высказывал замполиту свое мнение, что хорошо, а где имеются недостатки. Бывало, поругает, но и после этого не оставалось неприятного осадка. И все же Донцов на этот раз думал, что генерал-майор спросит с него самым строгим образом за самовольную отлучку одного солдата.

Два дня праздника прошли в полку весело, организованно, без единого нарушения дисциплины. Восьмого ноября вечером Донцов ушел из военного городка довольный, но только прилег, как ему позвонил дежурный по штабу полка: к отбою не возвратился из увольнения солдат-ремонтник. Всю ночь солдата не могли найти. Донцов утром доложил об этом в округ и, узнав, что ему приказано приехать к начальнику Политуправления, подумал: «На этот раз попадет...»

Издерганный переживаниями последней ночи, невыспавшийся, со вспухшими веками Донцов вошел в кабинет начальника Политуправления. Круглолицый,

с волнистой светлой шевелюрой генерал вышел из-за стола, пошел навстречу подполковнику. Протянув сильную руку, спросил:

— Сердитесь, вероятно? В праздники покоя не дали и сейчас тревожим. — И, не то спрашивая, не то утверждая, сказал: — Трудно полковому комиссару!

— Трудно, — признался Донцов.

Они сели друг против друга — два политработника, два полуседых человека, разные по званиям и масштабам деятельности, но одинаковые по чувству ответственности перед партией. Донцов ждал вопросов генерал-майора, но началу разговора помешали. Дежурный офицер раскрыл дверь и с порога сказал, что звонит полковник Целищев. Генерал взял трубку. Слышимость была ясная, и до Донцова доходило каждое слово.

— Разрешите доложить, товарищ генерал.

— Докладывайте.

— Солдат-ремонтник два часа тому назад возвратился в полк. Была самовольная отлучка.

— Разберитесь, где был, как вел себя. Завтра мне расскажете. К двенадцати вам прибыть на Военный совет вместе с Мякининым.

— Слушаюсь.

— Что у вас еще?

— Прошу сказать о солдате гвардии подполковнику Донцову. Он больше всех беспокоился.

— Подполковник у меня и наш разговор слышит... До завтра!

Положив трубку, генерал зашагал по дорожке, сцепив за спиною руки. Вдруг обернулся.

— Не хотелось бы отдавать вас. Хороший вы человек.

— Как отдавать? — Донцов опешил, не понимая, к чему генерал клонит.

— Министерство удовлетворило вашу просьбу и наше ходатайство. Рад за вас, наконец-то будете с семьей!

От неожиданности Донцов не в состоянии был выразить словами благодарность, но она прорывалась в посветлевшем взгляде, в помолодевшей, выпрямившейся фигуре. Генерал обогнул стол, стал перебирать бумаги.

— У меня к вам просьба: побудьте с Целищевым еще месяц. Без замполита ему будет трудно, а нам хочется подобрать в полк человека с вашим характером. Не будете возражать?

— Нет, товарищ генерал.

— Значит, уладили. Идите в гостиницу, отдыхайте. Завтра в двенадцать будем разбирать вопрос о Мякинине на Военном совете. Смотрите, не опоздайте.

— На Военном совете?

— Не удивляйтесь, Николай Кузьмич. Мякинины, к сожалению, обитают не только в вашем полку.

* * *

Когда на следующий день Донцов вошел в приемную командующего войсками округа, просторная светлая комната уже оказалась переполненной генералами и офицерами. Он поискал глазами Целищева, — того еще не было. За столом со множеством телефонов сидел штабной сержант. Он отметил в списке приход Донцова, сказал:

— Ждите.

Военный совет уже заседал. Из дверей, обитых коричневым дерматином, вышла первая группа приглашенных. Представительный генерал тер покрасневшую лысину и отдувался, как после бега с препятствиями. Вслед за ним показался румяный майор, секретарь Военного совета. Он вычитал из списка около десяти фамилий. Те, кого он вызывал, подтягивались, бросали, проходя мимо, взгляд в зеркало, откашливались, проходили в кабинет.

Донцов сел на освободившийся стул около входных дверей, стал разглядывать собравшихся. Несмотря на различие в цветах кантов и просветах на погонах, количестве и величине звезд на них, здесь меньше ощущалась грань, которая делит их на службе: все почти в одинаковой мере чувствовали себя зависимыми от заседающего по ту сторону дверей Военного совета, все говорили приглушенным шепотом, сквозь ровное жужжание которого слышалось мелодичное тиканье тускло-медного маятника больших кабинетных часов.

Без двадцати двенадцать вошел Целищев. За ним

с разрывом на полминуты — Мякинин. Он шел с опущенными глазами прямо к окну и там встал мрачный, одинокий, пока всех ожидающих не пригласили в кабинет командующего.

За массивными большими столами, составленными буквой Т, никого не было. Голоса маршала и генералов слышались через распахнутые двери смежной комнаты. Только справа, за столиком-трибуной наклонился к бумагам полковник — начальник отдела кадров. Взглянув в сторону, Донцов удивился перемене в Мякинине. Он подобострастно и настойчиво смотрел на молодого полковника, пока тот, почувствовав на себе прилипчивый взгляд, не оторвался от бумаг и слегка кивнул Мякинину. Донцову почему-то стало не по себе, хотя он не знал и не мог знать, что Мякинин долго прокладывал дорожку к этому влиятельному в штабе округа офицеру. После того как Чумак познакомил Мякинина с начальником отдела кадров, они несколько раз встречались в неофициальной обстановке, и Мякинин до самого приезда Целищева верил, что есть человек в штабе, на которого можно положиться.

— Товарищи генералы и офицеры! — послышался предупреждающий голос. Все встали, устремив взоры на дверь смежной комнаты.

Первым вошел командующий. На его статной фигуре ловко сидел маршальский мундир. Шаг у маршала был свободный, твердый, молодой. Русая, с проседью, копна волос, чуть удлиненное, сухощавое, с крупными чертами лицо напомнили Целищеву дни под Москвой в первые месяцы войны. Этот же высокий человек в мокрой от дождя шинели спустился тогда в траншею к солдатам взвода противотанковых ружей и показал, как лучше расположиться и отражать атаки немецких танков. После его ухода пожилой солдат задумался и проговорил: «Правильный генерал, за таким не пропадешь».

Маршал, за ним генералы заняли кресла за столом: справа от командующего — Зорин и начальник штаба округа, слева — Жезлов и начальник Политуправления. В руках у Жезлова была бумага, должно быть, только что полученная. Он заглядывал в нее еще на ходу, а сейчас перечитывал. Стекла пенсне поблески-

вали, делали острее взгляд, вцепившийся вдруг в Мякинина. «Как на суде, — испугался Мякинин. — Он смотрит на меня, как прокурор».

Начальник отдела кадров ждал разрешения продолжать начатый до перерыва доклад. Маршал кивнул ему, сказал: «У вас еще десять минут», — и полковник, погладив черный ежик на голове, стал излагать свои соображения по поводу перемещения группы офицеров. Мякинин с трудом заставил себя слушать полковника. Ему хотелось, чтобы доклад не имел конца, чтобы Военный совет так и не занялся им, Мякининым. Вдруг докладчик заговорил сперва о Целищеве, потом о нем, да так, что горечь зависти и обиды сменилась жгучей боязнью за себя.

— Управление кадров министерства вторично советует выдвинуть полковника Целищева заместителем командира соединения. Надо решить, кого оставить командиром полка. Вот передо мной личное дело полковника Мякинина...

В этом месте начальник отдела кадров сделал паузу, и в ней Мякинину почудилось что-то угрожающее. Он оцепенел: что, если в старом деле разыскали ту характеристику, из-за которой его сместили с должности командира полка? Там было сказано, что он в двух донесениях уменьшил цифры потерь полка и увеличил размеры потерь противника. Разве он не желал этим славы полку! Боевой приказ был выполнен, ему хотелось, чтобы танкистов поощрили, чтобы начальство заметило его способности как молодого, только что назначенного командира. Все прошло бы, если бы не тот капитанишка, даже характером похожий на Киреева. Надо же было, чтобы командующий армией наткнулся после боя именно на того капитана, и чтобы тот доложил, что из его роты не осталось и третьей части людей и техники. «Неужели та характеристика? Не может быть. О ней не вспоминали долгие годы, она была затеряна на фронте...»

Между тем начальник отдела кадров говорил вовсе не о характеристике. Услышав, что тот рассказывает о служебном пути после войны, и даже хвалит его, Мякинин перестал замечать взгляд Жезлова. Он увидел обилие солнечного света, сквозь четыре окна заливающего внушительно обставленный кабинет,

обращенные на него взоры: вопросительно-удивленные у тех, кто имел основания ждать другой оценки его служебной деятельности, и одобрительно-улыбчивые у офицеров, которые ничего не знали о последних событиях в полку. Голова Мякинина вскинулась, плечи распрямились, сознанием овладела мысль, что некого больше оставить хозяином в полку, что сейчас командующий скажет: «Согласен».

Другие чувства испытывал Донцов. Ему непонятно было, почему докладывает с Мякининой молодой самонадеянный полковник, а генерал Зорин плотно свел тонкие губы, и начальник Политуправления тоже молчит, будто не они в отсутствии командующего решили послать Целищева обратно в полк. «Возможно, маршал почему-то не согласен с выводами Зорина, Жезлова и начальника Политуправления. Или же звонок из Москвы по поводу Целищева изменил предварительное решение о Мякинине?.. Так что же, допустить, чтобы Мякинина назначили командиром полка? Нет, надо предупредить ошибку!»

Донцов ждал конца доклада, чтобы попросить слова, но его опередил Жезлов.

— Скажите, полковник Мякинин, Военному совету, — забасил без всяких вступлений Жезлов, протягивая маршалу бумагу, которую все время не выпускал из рук, — за какие грехи вы представили капитана Киреева к увольнению из армии?

Если бы тот же вопрос был задан до выступления начальника отдела кадров, Мякинин расслышал бы в голосе Жезлова угрозу и признал бы свою вину, как признал ее перед Зинаидой Степановной. Но, после того как ответственный за подбор кадров, влиятельный в штабе офицер лестно отозвался о нем, он не мог и не желал испортить ответом свое будущее. Он старался говорить твердо, хотя волнение щекотало горло.

— Капитан Киреев оказался вне штата. Но это не основная причина, побудившая меня представить его к увольнению. В последнее время он плохо справлялся со своими обязанностями, не выполнял приказы вышестоящих начальников.

Тут Мякинин увидел, что командующий наклонился к Жезлову, возвратил ему бумагу и, тыча в нее пальцем, что-то с недовольным видом говорил ему. Не зная,

принять ли это за хороший или плохой для себя признак, Мякинин все же решил сказать о Кирееве еще что-то веское.

— Я считаю, Киреев может подвести нас в бою.

— Вы думаете, что говорите, полковник! — вскочил возмущенный Жезлов. — Я знаю Киреева по фронту, он у меня командовал взводом. Знаю его и по службе в послевоенные годы. Это честнейший, волевой, отважный и творческий офицер. Если можно было бы поставить на полк офицера в звании капитана, я смело предложил бы Военному совету оставить вместо Целищева капитана Киреева. Вы сказали: подвести в бою. Поклеп! Я сделал запрос о Кирееве. Вот ответ.

Жезлов, подняв перед собой бумагу, стал читать так, словно вырывал из нее свинцовые строки и бросал их в перекошенное рыхлое лицо Мякинина:

— «На вашу телеграмму сообщаю: капитан Киреев и два подчиненных ему танкиста добровольно остались в моем полку, умело и отважно сражались в Будапеште за свободу венгерского народа. Возглавляя разведку, капитан Киреев со своим экипажем первым прошел в центр города, спас от гибели обреченных на смерть детей. В бою погиб механик-водитель коммунист Григорий Сочнев, ранен заряжающий Василий Заремба. Командование представило старшину Сочнева посмертно к присвоению звания Героя Советского Союза, капитана Киреева — к награждению орденом Ленина, ефрейтора Зарембу — орденом Красного Знамени. Представления желательно дополнить вашими отзывами о трех танкистах».

Встал, опустив голову, маршал. Он не сказал ни слова, но все офицеры и генералы поняли его и последовали безмолвному призыву почтить память Сочнева и других погибших сынов Родины.

Донцов вместе со всеми почтил память погибших, вместе со всеми сел, не видя ничего перед собой: Сочнев! Сочнев погиб! Он не слышал, как Жезлов добивал Мякинина своими вопросами, не слышал начала речи генерала Зорина. В ушах Донцова звучал тихий плач Марины Сочневой. Она пришла в полк накануне праздника. Он подыскивал слова утешения, обнадеживал ее, а она, должно быть, чувствуя, что Григория уже нет в живых, стонала и просила:

— Умоляю вас, не скрывайте от меня, что случилось с мужем?..

Когда Донцов опять мог воспринимать, что творится вокруг, он увидел и услышал Зорина. Тот обращался к начальнику отдела кадров.

— Больше месяца прошло, как коммунисты полка голосовали против избрания Мякинина в бюро парт-организации. Почему, скажите, нет выписки из протокола этого собрания в личном деле Мякинина? Вы можете, конечно, ответить, что это сугубо партийный документ, что такие выписки не принято подшивать в личные дела офицеров. Напрасно ждете указаний на сей счет. Документы, писанные не одним человеком, а коллективом коммунистов, — самые что ни на есть для нас важные, авторитетные, и быть им в личных делах обязательно!

Зорин отвел взор от начальника отдела кадров и обратился к генералам и офицерам:

— Привык у нас кое-кто в штабе округа судить о кадрах только по отзывам командиров соединений и частей, начальников политотделов и отделений кадров, то есть по вашим, товарищи, отзывам. Что и говорить — люди вы заслуженные, ответственные, облеченные большими правами. Но давайте, не кривя душой, честно спросим себя: не подходим ли мы иногда к изучению и аттестации офицеров так, как подходил полковник Мякинин или наш начальник отдела кадров?

Мякинин не в силах был освободиться от чувства, будто Жезлов и Зорин срывают с него одежду, оставляя его бесстыдно-голым перед окружающими его людьми. Он дряхлел на глазах. От его былой выправки и внушительного вида ничего не осталось. Ноги дрожали, подкашивались — никто не разрешал ему сесть. Командующий о чем-то тихо поговорил с Зориным, Жезловым и встал. Краткое слово маршала было, как приговор. У Мякинина не осталось ни тени надежды.

Он не помнил, как вышел, как оказался на тротуаре, по другую сторону чугунных ворот штаба округа. В руках он держал папаху. Мокрый снег ложился на непокрытую голову, ручейками стекал на горячий лоб, за воротник расстегнутой шинели. В ушах все еще

звенел голос маршала, его слова, что люди, подменяющие единоначалие произволом и самодурством, чужды и вредны для армии.

Госпиталь разместился в закарпатском селе. За большими окнами бывшей помещичьей усадьбы маячили припорошенные первым снегом крыши домов, крутые скаты гор. Иногда через раскрытую форточку ветер заносил девичьи песни, а по воскресным дням жители села появлялись в госпитале с медом и варениками, веселой частушкой и пляской. Парубки и девчата в расшитых рубахах, сверху которых были надеты короткие кожаные безрукавки, показывали свое искусство, древнее, точно горы Закарпатья, яркое, как только что выпавший снег.

По душе были Василию и родная украинская речь, и песни. Но за оживленными воскресными днями наступали томительные, еще более грустные, чем прежде, дни.

Два письма послал Василий Шуре из госпиталя. Едва успел отдать почтальону первое, как пожалел, что писал о ранении и осажденном танке, беспокоился, как бы Шура не приняла это за хвастовство. Долго корпел над вторым письмом. Когда же принялся за третье, сосед по койке, юноша-лейтенант, потерявший в последних боях ногу, не выдержал:

— Гордость надо иметь. Если любит — ответит на первое, если нет — черт с ней, мы не хуже стали от того, что искалечены.

Василий дописал письмо, когда сосед заснул — не хотел лишним напоминанием обострить переживания вспыльчивого лейтенанта.

Шли дни. Василий только то и делал, что подсчитывал часы и минуты движения почты, мысленно сопровождал письма по длинной дороге на восток. По его расчетам выходило, что все они уже вручены Шуре, и он мог бы получить ответ, если бы она написала. «Не Сеня ли кружит ей голову?.. А может, заболела, не хочет меня беспокоить?»

Несколько писем от невесты получил Тимахович. Пришла телеграмма и лейтенанту. Она состояла из

двух слов: «Люблю, выезжаю». В синих глазах офицера заблестело счастье.

Когда рассветало и по коридору нарастал дробный стук пришедших на работу медицинских сестер, лейтенант подымал голову, звонко, будто на параде, командовал:

— Пятая палата, смир-но! Для встречи медицины, слушай, на кра-ул!

Если же товарищи на койках просыпались лениво, медлили выпростать руки из-под одеял, лейтенант приказывал:

— Отработать улыбку!

И хор пятой образцовой отзывался дружно:

— Есть отработать улыбку!

После врачебных обходов и процедур включали радио, слушали передачи Москвы и Будапешта. Свежие газеты зачитывались к вечеру до дыр. Раненые вспоминали бои, Венгрию, где каждый оставил частицу самого себя. Особенно оживленные разговоры вызвало письмо ветеранов Чепельского металлургического комбината воинам Советской Армии. Конечно же, оно писалось прежде всего им, раненым, воевавшим за «Красный Чепель», за Будапешт, за свободу венгерского народа!

Читать письмо попросили лейтенанта. Он опустил с койки уцелевшую ногу и начал, заметно волнуясь:

«Дорогие товарищи, советские воины! От многотысячного коллектива «Красного Чепеля» передаем вам сердечную благодарность за ту бескорыстную помощь, которую вы оказали нам дважды — весной 1945 и осенью 1956 года», — читал лейтенант, изредка обводя взглядом притихшую палату.

«Мы не молоды по возрасту, кое-кому из нас перевалило за шестьдесят. Наша партийная, рабочая совесть никогда не была запятнана. Мы всегда пользовались доверием трудового Будапешта. И поэтому, когда решался вопрос, кому подписать это письмо, выбор пал на нас.

«Мы стали думать, а достаточно ли будет короткого письма, чтобы каждый из вас, прочтя его, понял, какой великий подвиг совершил ваш народ, протянув нам руку помощи в столь тяжкие для нашей родины дни. И нам захотелось рассказать вам подробно о том,

что говорилось за маленьким столом в помещении нашей партийной организации».

Ветераны «Красного Чепеля» вспоминали в письме, как в 1917 году трудовой люд Венгрии приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию, а через полтора года по примеру рабочих России сам провозгласил Венгерскую Советскую Республику. Они поведали о том, как империалисты задушили молодую Венгерскую Республику, сколько жертв потребовалось, чтобы вернуть утраченную свободу.

«Кровь советских воинов обогрела в 1945 году многострадальную венгерскую землю. Вы, советские люди, принесли нам свободу, которую мы не смогли удержать в 1919 году. Вы сделали это бескорыстно, во имя тех высоких идей, которые носите в своих благородных сердцах».

Взволнованность авторов письма передавалась чтецу, а через него всей пятой палате. Кто из раненых в состоянии был передвигаться хотя бы на шаг, приближался к койке лейтенанта, другие вытягивали к нему исхудавшие шеи.

«В октябре 1956 года контрреволюционный мятеж прервал нашу работу по строительству социализма. Больно и стыдно признать, что мы просмотрели, как исподволь при участии империалистических сил готовился заговор против нашей Народной Республики.

Не приди вы на помощь — не видеть бы нам свободы. Снова вы спасли нас от рабства и позора. Есть ли мера, чтобы измерить цену жизни советского человека, отданной за счастье наших детей? Есть ли мера, чтобы измерить глубину горя и слез его матери, детей, жены или невесты? Нет такой меры и нет таких слов, чтобы выразить нашу вечную благодарность вам».

Всем туловищем подался Василий к лейтенанту. «Так ведь это говорил мне и Ференц Ковач, когда сообщил о смерти Сочнева», — вспомнил Василий. Он сбоку заглядывал на строчки, они расплывались в его глазах, но в конце письма среди подписей ему виделась и подпись Ференца Ковача.

Тимахович предложил ответить рабочим «Красного Чепеля», выдвинул столик на середину комнаты, взял бумагу.

— Диктуйте. Что будем писать?

Начало предложил лейтенант, потом попросил вписать несколько строк Василий. Даже самые молчаливые, и те вставляли слово. Письмо тут же редактировали, подписывали, попросили няню немедленно передать почтальону.

И долго в тот день беседовали раненые о верности интернациональному долгу, о добрых друзьях среди рабочего люда Венгрии.

Первого поздравляли с полным выздоровлением Тимаховича. Василий радовался за товарища, но и сильнее загрустил после его отъезда. В палате участились разговоры, где лучше устраиваться демобилизующимся, где проведут отпуска остающиеся в армии. Тяжелораненые решали проблему, в какие госпитали попроситься для долечивания. Лейтенант уговорил главного врача направить его в Ленинград, где учится любимая девушка, и на другой день после ее приезда пятая палата прощалась с лейтенантом.

После этого, лишь возобновлялся разговор об отпусках, Василий отворачивался к стене, с головой закрывался одеялом. На вопросы, где у него семья, раздраженно отвечал:

— Нет у меня семьи. В полк поеду — все родичи у меня там.

Однажды к концу послеобеденного сна раскрылась дверь и на носках, чтобы не разбудить спящих, вошла в палату с внушительным свертком пожилая сутулая женщина. Она останавливалась возле каждой койки, обесцвеченными глазами смотрела на проснувшихся, шурилась на спящих.

— Кого вы ищете, мамаша? — спросил солдат с перевязанной головой.

— Сыночка ишу, Васю.

— А фамилия?

— Заремба.

— А он почему-то говорит — нет родных.

Сквозь сон Василий уловил знакомый характерный говор, разомкнул веки, увидел приблизившееся к нему крупное, отечное, чуть раздумавшееся на морозе лицо.

— Тетя Оля?!

— Я, сыночек, я. Заехала на тебя глянуть.

Она приникла губами к его лбу, взяла руку в свою, мягкую, морщинистую.

— Конечно, к тебе Шура собиралась, — заспешила она успокоить Василия. — Как письмо сполучила — тут же к директору завода, так, мол, и так, позвольте отпуск. Пообещал он, только мало погодя. Засияла Шура. Мне, слышь-ко, говорит: «Писать не буду, лучше сама приеду». А там — конец года, новая машина опять, да грипп проклятуший звирусный. Где тут поедешь?! Поразмыслила я: чехи давно приглашали меня к могиле сына, собиралась весной ехать, да порешила сейчас — к тебе поспеть и туда, к меньшому своему...

Тетя Оля заморгала дряблыми, в мельчайшей сеточке морщин веками, на миг отвернулась.

— Тебе, от Шуры, — и вынула из кармашка вязаной шерстяной кофты письмо.

Василий читал его с такой же жадностью, с какой глотал спасительный чистый воздух, когда его вынесли из осажденного танка в Будапеште. Тетя Оля умильно глядела на Василия — довольна была, что он второй и третий раз перечитывает длинное, на шести страницах письмо. Когда он начитался, она опять заговорила напевным голосом:

— Ко мне Шура перешла, насовсем. Как узнала, что Николай Кузьмич вскорости домой возвращается, так и засобиралась в общежитие. Я попросила — иди ко мне. Послушалась, умница. И мне не скучно, и ей удобность.

Развернула сверток, достала поджаристые шаньги, кисло-сладкие пирожки с брусничной начинкой, обнесла всех больных и, возвратясь к Василию, заохала, что в дальней дороге зачерствели пирожки и шаньги.

— Главный врач мне признался — отпуск тебе полагается, Вася. Приезжай к нам, свеженькие с Шурой испечем. Уж так я довольна буду, коли приедешь.

До самого позднего часа не оставляла тетя Оля раненых. Расспросила, как поправляются, где живут их родные, помогла санитарке убрать палату, перетрясла на улице матрацы, чтобы мягче, удобней было больным. Во время ужина взволновалась, заметив, что двое солдат отвернулись от пищи, подседа к ним с присказками, накормила, как малых ребят. Обраща-

лась она ко всем с той же ненавязчивой простой лаской, что и к Василию. И когда тетя Оля начала прощаться, каждому солдату казалось, что от него уходит родная мать.

Одним из первых в полку о ранении Зарембы и смерти Сочнева узнал Щеглов. Он увидел у пропускных ворот в военный городок только что прибывшего из округа Донцова, и ему бросилась в глаза необычная бледность его лица. Донцов ответил на приветствие, остановился, сказал:

— Старшина Сочнев... погиб в Будапеште. Заремба тяжело ранен.

Впалые щеки, лоб, большие уши Щеглова вспыхнули. Он вспомнил последнюю встречу с Сочневым и Зарембой перед их отъездом в Венгрию, дружеский разговор с ними, как они оба радовались, что служба у него пошла немного лучше. Щеглов подумал: «Они умирали, а я... Я прохлаждался...» Он порывался что-то говорить и не мог — слезы сдавили горло.

Ночью его мучили кошмары. То он видел Зарембу и Сочнева истерзанных, окровавленных, то мерещились давнишние дружки-уголовники. Главарь рецидивистов, наставник по преступлениям, заставлял ставить на кон свою жизнь. И как это было когда-то в действительности, Щеглов ощутил у груди ледяное прикосновение лезвия ножа.

Никогда раньше Щеглов не задумывался над своим прошлым так, как теперь. Он вспоминал разговоры с ним Донцова, командира роты, Зарембы и увидел, что они, как и все танкисты, внушали ему хорошее, а он по привычке и заносчивости не хотел считаться с коллективом и потому так часто оказывался одиноким, опустошенным, как затерянная в поле отстрелянная гильза.

Было скверно на душе от того, что нечем будет обрадовать Василия Зарембу, когда тот вернется... Если только вернется, если раны окажутся не очень опасными... Сказать Василию, что больше не пьянствовал, что перестал ходить в самоволки — разве это доблесть!.. А в экипаже, да и вообще в третьей роте, он

все еще чувствует себя временами чужим, командир танка по-прежнему опасается: вдруг подведет.

Следующий день, воскресный, оказался на редкость ясным, солнечным. Выпавший было робкий снежок растаял, и легкий морозец сделал почву на учебных полях пружинистой. Прохладный ветерок бодрил, помогая Солянину увлечь танкистов на состязания, которые он возглавил по поручению комсомольского бюро полка.

Первым на преодоление двухсотметровой полосы препятствий вышел сам Солянин. Огромный и статный, он с карабином за спиной, гранатной сумкой с двумя гранатами-болванками выглядел прямо-таки богатырем. Он встал в исходное положение и обратился к солдатам и сержантам:

— Кто со мной? Может быть, вы, Щеглов? Заремба мне говорил — здорово преодолеваете препятствия!

От неожиданности Валентин не нашелся, что ответить. Его удивило: Солянин вызывает его соревноваться в первой паре, Заремба рассказал в роте о его, Щеглове, незначительном успехе. Вспомнив, как Заремба занимался с ним на полосе препятствий, как лестно отозвался о его способе переползания под проволокой, Щеглов воспрянул духом и смело подошел к Солянину.

Через минуту он уже был в траншее с карабином, с гранатной сумкой. Из-под танкового шлема пылал рыжий чуб. Старшина, держа в левой руке секундомер, махнул правой:

— Вперед!

Солянин буквально вылетел из траншеи. Казалось, он бежит не так уж быстро, но шаг его был шире, чем у Щеглова. Он первым пробежал пятнадцать метров, упал у границы проволочной преграды, названной танкистами «большой мышеловкой», стал ползти под ней по-пластунски, сильно подгребая руками под себя и отталкиваясь полусогнутыми ногами. Порой затвор карабина цеплялся за перекрещенные нити проволоки, поднятой над землей всего на сорок сантиметров. Солянин сильнее прижимался к земле. Скосив глаза в левую половину «мышеловки», Солянин увидел Щеглова. Тот вцепился зубами в ремень карабина, который он до этого держал в руках и, удивляя следивших за

ним танкистов, полз, неся оружие на весу, впереди себя. Мало кто знал о преимуществах такого способа переползания. Многие думали, что двигаться по-пластунски, держа голову вскинутой, с оружием в зубах, необычайно трудно. Но Щеглов, должно быть, хорошо потренировался с Зарембой и, постепенно увеличивая темп, быстрее Солянина одолел двадцать пять метров «мышеловки».

Состязание шло с переменным успехом. Поднятое высоко бревно раньше пробежал Щеглов, а Солянин выиграл при взятии двухметрового забора и очень метко кинул гранату в верхнее окно деревянной стены. Ее нижнее окно Щеглов преодолел на несколько секунд позднее Солянина и, почти вместе с ним закончив дистанцию, изготовился к стрельбе.

Старшина засек время: Солянин прошел двухсотметровую полосу препятствий за одну минуту тридцать восемь секунд. Щеглов отстал от него на пять секунд, но и это был отличный результат.

— Молодец, честное слово! — радовался Солянин. — В другой раз, пожалуй, и обставишь меня.

С состязаний они шли вдвоем, позади других танкистов. Взволнованный Щеглов расчувствовался, поделился теми мыслями, которые вызвала у него весть о Сочневе и Зарембе. Солянин молча слушал, потом вдруг спросил:

— Пойдете ко мне в экипаж? Полковник Целищев приказал принять его командирский танк, сказал: подберите людей из любой роты.

— Я? На командирский танк? Там же могут быть только одни отличники!

— Хватка у вас есть и ум. Было бы только желание. Хотите? Я помогу.

Обдумывая предложение Солянина и доискиваясь до причины, почему тот согласен взять его заряжающим на танк командира полка, Щеглов решил поговорить с Донцовым, посоветоваться с ним. Но ни в казармах, ни в клубе, где всегда можно было встретить подполковника в воскресные вечера, Щеглов не нашел его.

Донцов в это время был с Надеждой Павловной Киреевой в домике у Марины Сочневой. Больше скрывать от нее смерть мужа было нельзя — в полк

пришло официальное извещение. Марина выслушала, отвернувшись, лишь уставилась неподвижным взором на фотографию мужа. Трепещущие пальцы нервно заскользили по лицам дочери и сына, прижавшихся к ее дрожащим коленям.

Недаром февраль зовется по-украински лютый. Отчаянные гуляки-ветры затевают бешеные пляски, кружат, приседают и, сталкиваясь, поднимают к небу тучи снега. Села в низинах будто ныряют в бело-синих волнах — одни крыши торчат. Мороз в какой-то десяток градусов сечет, кусает лицо такими леденящими зубами, что порой ласковым назовешь тридцатиградусный мороз.

В метельный февральский вечер занесло железнодорожные пути, и поезд остановился. Крутогрудый работяга-паровоз, дыша жарко и часто, несколько раз пробовал тронуться с места, но лишь гулко, надрывно кашлял, вхолостую прокручивая колеса.

Василий досадовал. Так хорошо доехать почти до самого дома, а тут, в десятке километров от конечной станции, застрять на несколько часов, потерять надежду до отбоя добраться до казармы, наговориться с товарищами, которых не видел четыре месяца. Как назло, нога в дороге разболелась, не то пустился бы по прямой через поле к казармам. «А если попробовать?»

Он застегнул шинель, спустил ушанку, вышел в тамбур. И сюда сквозь закрытые двери буран намет горбинки снега. С трудом раскрыв дверь, Василий спустился со ступенек, угодил в сугроб. Он пригнулся, боком пошел против ветра к паровозу — хотелось узнать, долго ли состав будет торчать в поле. Из будки машиниста никто не отзывался, зато слышны стали голоса где-то впереди паровоза. Василий пошел на них. Внезапно ветер изменил направление, пихнул в спину, и Василий налетел на что-то огромное и мягкое.

— Эй! Кто таранить вздумал?

Острый глазок карманного фонарика ослепил Василия.

— Заремба?! Василь! Дружище!

Василий узнал звучный голос старшего сержанта Солянина. Высоченный, заснеженный, с заиндеветыми бровями, он был настоящим дедом-морозом.

— Братцы, глядите, кого метель принесла!

На громогласный зов сбежались танкисты первой роты, расчищавшие путь к станции. В снежном вихре запрыгали светлячки, перекрещивались дорожки огоньков, слились в глазах Василия. Он сощурился, услышал:

— Наконец-то, приехал!

Это Щеглов вцепился в плечи, упал вместе с Василием в снег.

После очистки путей, трясаясь в крытой машине до казармы, Василий узнал главные полковые новости. Мякинина демобилизовали. Чумак после возвращения Киреева из Венгрии сдал ему первую роту, и снова был поставлен на взвод, на этот раз к капитану Осадчому. Киреев получил звание майора. На днях уехал в Москву, на сессию в Академию.

Василий радовался за Киреева и жалел, что не скоро сможет его увидеть. Хотелось поделиться с Киреевым всем, что пережито было в доме Ковача, в госпитале и в рабочем поселке, где он нашел счастье, любовь, семью.

Казарма точно принарядилась для встречи. На окнах занавески, цветы; койка Василия заправлена ловко, аккуратно, словно ее касались умелые девичьи руки. Тронутый заботливостью товарищей, Василий спросил, кто ухаживал за его койкой. Идущий рядом Щеглов буркнул что-то непонятное, приотстал.

— Виновник боится — критиковать будешь, — пошутил Солянин, показывая на Щеглова, спрятавшегося за спинами танкистов.

Танкисты из наряда, которые только в казарме увидели Василия, атаковали его вопросами о Будапеште. Он отвечал подробно, стараясь передать атмосферу боя. В разгаре рассказа из противоположного края казармы послышалась затяжная, на двух высоких нотах, команда старшины роты строится на вечернюю поверку.

Затопали сапоги, и минуты не прошло, как танкисты стояли в строю. Старшина, держа в полусогнутой

руке список личного состава роты, строго оглядел гвардейцев. Подав команду «смирно», сделал паузу, поднял список на уровень подбородка, отчетливо произнес:

— Гвардии старшина Сочнев!

— Герой Советского Союза гвардии старшина сверхсрочной службы Григорий Игнатьевич Сочнев, — отчеканил помощник командира первого взвода, — пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость венгерского народа!

Приказом министра обороны Григорий Сочнев был зачислен навечно в списки роты, и каждый вечер во время проверки первым называли его — героя полка, и каждый вечер за него отзывался правофланговый.

Старшина еще продолжал проверку, когда Василий, взглянув вправо, вдруг увидел у стены Григория Сочнева... Он стоял возле танка, с девочкой на руках. Левее, из угла, в него и в девочку целился автоматчик. Скуластое лицо выражало и ласку к ребенку, и решимость не дать пуле коснуться его, готовность ценой собственной жизни спасти ребенка.

Автоматная очередь словно пронзила самого Василия. Он не слышал команды «вольно», удалявшийся топот танкистов, заторопившихся к умывальникам. Недвижно глядел он на картину.

За спиной терпеливо выжидал Солянин. Ему хотелось услышать, как нравится картина Василию, и, увидев его побелевшее, застывшее лицо, воспринял это как признак разочарования.

— Сам вижу — не так сделал... Эх, взялся бы настоящий художник, тема ведь — вечная!

Василий удивленно обернулся.

— Ты недоволен картиной? Это же сама правда!

Они возвратились в свою половину казармы. Василий спросил, как живет Марина Сочнева с детьми.

— Уехала. Отец Григория явился, увез детей и Марину на Урал. Два наших солдата провожали их до нового места.

Как ни устали танкисты, не все могли после отбоя заснуть. Рассказ Василия о боях, о Сочневе взбудоражил, и до дневальных, то с одного, то с другого края казармы долетал прерывистый горячий шепот. Дневальные притворялись, что не замечают нарушения

порядка — они сами хотели узнать побольше о боях, в которых отличились их близкие товарищи.

Долго шептались Василий и Щеглов. Высунув острый нос из-под одеяла, тот допрашивал:

— Правда, ты женился, Вася?

— Что ты! Дождусь демобилизации. Помолвка, правда, была.

— А как эту помолвку понимать?

— Ну, вечеринка. С моей как бы стороны подполковник Донцов с женой присутствовал, а с Шуриной — сборщик Крайнов да тетя Оля. Она для Шуры заместо матери. Шура тоже сирота.

В другой раз Василий поделился бы с Щегловым, как тепло встретила его Шура, каким счастливым он был весь месяц своего отпуска. Но этот вечер столько напомнил о Сочневе, что казалось кощунственным перед его памятью говорить о своем счастье.

— Давай, Валентин, поспим. Долго нам вместе служить — наговоримся.

— Если бы долго. Боюсь, не вернешься.

— Откуда? Из полка никуда не собираюсь.

— Ты, может, и нет... Без тебя решили.

— Договаривай.

— Хотели завтра торжественно объявить. Да, ладно, открою секрет. Тебя избрали делегатом на Всеармейское совещание отличников — одного из всего полка.

— Почему меня? У Солянина отличный экипаж. Ему — в Москву.

— Догадливый ты, Вася. И его выставляли, а он самому себе отвод вынес. «Лучше Зарембы, говорит, нет танкиста в полку. Он воевал — ему и в Москве быть». Так и порешили. Вот и возьмет теперь Москва да и оставит после совещания на охрану Кремля или на что другое, что поважнее, чем полковая служба.

— Ничего нет важнее, Валентин. Или ты этого еще не понял?

— Стараюсь понять, но скажу откровенно: не умею приладиться к дисциплине. Видать, характер у меня шербатый, с вывихом каким-то.

— Брось, Валя, на себя наговаривать

Василий выпростал из-под одеяла руку, взлохматил рыжую голову Щеглова.

— Ведешь себя, говорят, совсем неплохо. Товарищи на тебя надеются.

— В том-то и дело. Вижу, славные ребята в экипаже, боюсь их подвести.

Щеглов ругал себя сильнее, чем мог ругать его товарищ. То, что Василий участвовал в боях и был тяжело ранен, то, что Сочнев убит, а он в те самые часы нес службу кое-как, не давало Щеглову покоя. Его часто охватывал обжигающий стыд, даже ненависть к самому себе, и он с нетерпением ожидал приезда Василия, чтобы все высказать ему.

— Думал — приедешь, поможешь мне крест на прошлое приколоть. А ты... Вдруг не вернешься?!

— Вернусь, Валя. Перестань хныкать, встряхнись ты, наконец!

Забывшись, Василий рассмеялся. На соседних койках проснулись танкисты. Дежурный по роте подошел и со всей строгостью приказал спать.

Накануне открытия Всеармейского совещания отличников делегаты посетили Кремль. За несколько часов они будто прошли через века, от древнейших времен до наших дней. С благоговением осмотрели воины рабочий кабинет Владимира Ильича, Большой Кремлевский дворец, где в тот день заседал Верховный Совет Российской Федерации. Зарембе чудилось, что рядом с ним находятся Григорий Сочнев, Алексей Киреев и Николай Донцов, что они привели его сюда, чтобы он, познав минувшее, в полной мере мог оценить настоящее, смысл и значение своей солдатской службы. «Какие молодые все делегаты. Что мы сделали такое? За что нас сюда?»

Вечером Заремба попросил руководителя группы разрешить ему пойти к Кирееву и вскоре поднимался в общежитие Академии бронетанковых и механизированных войск. Приближаясь к комнате, умирил шаг, подумал, не обиделся ли на него Киреев за то, что пренебрег приглашением, не заехал в полк после госпиталя, а умчался прямо к Шуре. Постучал нерешительно, и тут же услышал разрешение войти.

Киреев был один. Он сидел за столиком, спиной

к вошедшему. То, что он продолжал писать, заставило предположить, что время для посещения неудачное. «Возможно, у него утром экзамен. Скажу, отпустили ненадолго и сейчас же уйду». Киреев отложил ручку, энергично поднялся.

— Это ты? Откуда? Здравствуй!— И поспешил навстречу.

— Здравия желаю, товарищ гвардии майор!.. Из полка. Сегодня приехал...

— Постой-ка, дружок, ты на совещании отличников, значит!— Киреев расцеловал Зарембу, чуть отодвинул от себя, не выпуская его рук, окинул быстрым взглядом, от короткой прически до ордена Красного Знамени на груди.— Поздравляю с выздоровлением, с наградой. Как замечательно, что ты пришел!

— И вас поздравляю с орденом и званием майора.

Киреев усадил Василия на кушетку, сел бок о бок, спрашивал о здоровье, о новостях в роте, в полку, и Заремба забыл, что надумал быстро уйти. Ответы его были горячими и разбросанными. То говорил, что произошло с ним и Тимаховичем в Будапеште, то, без всякой связи, о последних стрельбах.

— Полк занял в округе первое место на зимних стрельбах. Лучше всех — экипаж Солянина.

Киреев с удовольствием слушал и неотрывно смотрел на Зарембу. Так же чуть вздернуты верхняя губа и нос, так же, как прежде, то широко раскрываются, то суживаются глаза, а сам он не тот, совсем другой. Болезнь стерла загар с лица, сильнее выпятила скулы и подбородок, но не это изменило облик Зарембы. Что-то новое прорывалось наружу, сказывалось в скромности, в уверенных, неторопливых жестах. У Зарембы и следа не осталось от его ухарства, крикливой невыдержанности, от недоверия к людям. С радостью, с какой отец замечает, как меняется к лучшему характер сына, Киреев улавливал в солдате черты мужества и зрелости.

О чем-то вспомнив, Заремба отстегнул пуговицу на мундире, из внутреннего кармана извлек письмо.

— Извините, товарищ гвардии майор, чуть о главном не позабыл. В день отъезда заходил к вам домой. Привет передавали и письмо.

Чтобы не мешать командиру, Заремба отошел к окну. Киреев читал:

«Дорогой Леша!

Трудно тебе приходится, наверно, оттого и редко пишешь. Дети и я здоровы. Светлана хочет с тобой соревноваться: принесла мне после зимних каникул две четверки, две пятерки и одну тройку. «А папочка как?—любопытствует она.—Тройки имеет?»

Я была в домике, где Целищев обещает нам квартиру (он говорит, что генерал Жезлов велел предоставить тебе в первую очередь). Меня очень радует, что мы будем иметь две комнаты с кухней, совсем отдельные.

Зинаида Степановна уехала на стройку. С Мякининым она виделась после его демобилизации один раз. Она пыталась поддержать его в тяжелое для него время, но чувствовала, что не в силах оставаться с ним. Видимо, она права. Тревожусь за нее: к суровой жизни не приспособлена. Хотя, кто знает: возможно, там окрепнет, забудет свое горе, может быть, счастье найдет.

Света спрашивает: «Мама, все папы раз в год приезжают домой или только военные? Я даже в сне перестала видеть папу». Она чернилами пишет чисто, внимательно относится к урокам и радует меня не меньше Саши. Сынок наш так вытянулся, что, переступая порог, чагибает голову, так же, как ты. Он по всем предметам учится на пятерки.

Меня беспокоят твои ноги, кто там за тобой проследит, когда раны дадут себя знать? Наверно, валенки и не думаешь надевать, все по морозу в хромовых сапогах щеголяешь.

Желаю успехов в учебе. Я и дети сильно скучаем по тебе.

Любящая Надя».

Пока Киреев читал письмо, Заремба, приподняв штору, загляделся на вечернюю серебристо-голубую Москву.

— О чем задумался, Василий?—спросил, тоже встав у окна, Киреев.

— Вспомнил войну, первый приезд в Москву. Был я тогда бродяжка бездомный, а теперь — везде у меня семья: и в полку, и у вас, и у Николая Кузьмича.

— Как он? Как Елена Васильевна?

— Николай Кузьмич служит замполитом в части, скучает по нашему полку, часто вас вспоминает. А Елена Васильевна новую машину испытывает на танкодроме. Ох, и машина, словами не обрисуешь!

Поговорили о новом танке, порадовались за успехи заводских друзей.

— Донцов мне писал о тебе и Шуре. Надежда Павловна и я хотели бы с ней познакомиться.

— Если разрешите, она летом во время отпуска ко мне заедет.

Киреев вышел проводить Зарембу. Мартовский морозец все еще пощипывал и бодрил. Снег хрустел, как попавшая под подошвы яичная скорлупа.

— Ференц Ковач тебя в письмах вспоминает.

— Как у них жизнь?

— Нормально. Будапешт восстанавливается. По воскресным дням он, Эржебет с маленькой Гезой и Арпад ходят на могилу к Сочневу, приносят цветы. И каждый раз застают на каменной плите свежие венки, сплетенные детскими руками.

* * *

На другой день, после занятий в академии, Киреев приехал в Дом Советской Армии. Он знал, что Зарембу записали в список выступающих и надеялся услышать его. Но к приходу Киреева двери зрительного зала распахнулись и шумливая толпа воинов — участников совещания — хлынула двумя рукавами живой реки к гардеробной. Киреев прижался к стене, поднялся на носки, тщетно искал Зарембу — в бурливом потоке все казались на одно лицо. Он уже подумывал пробраться к выходу, чтобы не разминуться с Зарембой, как тот очутился рядом.

— Вы мне так нужны, товарищ гвардии майор!

Огорчение, замешательство, досада были в голосе.

— Что случилось?

— Оскандалился. Вы, значит, меня не слышали?.. По распорядку все делегаты ждали перерыва, и я на него рассчитывал. Вдруг председатель дал мне слово.

Я от неожиданности оставил свой блокнот с конспектом на кресле и только на трибуне спохватился. Вернуться за блокнотом — позор, а без записи говорить боюсь. Как начал и чем кончил, честное слово, не знаю. Чувствую только — скверно получилось.

Киреев подбодрил, насколько возможно в таком случае, Зарембу, подождал, пока тот получил шинель, и они вышли из Дома Советской Армии.

Площадь была залита светом уличных фонарей и множества автомобильных фар. Обойдя одну из остановившихся на углу машин, Киреев оказался лицом к лицу с генералом Жезловым. В высокой папахе, торчащей на макушке, в шинели добротного пепельно-дымчатого сукна, он выглядел еще более крупным и грузным. Генерал за что-то отчитывал сержанта-шофера, когда заметил Киреева.

— Тебя тоже потянуло к отличникам, Алексей Матвеевич? — теплота зазвучала в зычном, только что сердитом голосе. — Начальник Академии мне расписывал, как ты здорово докладывал на кафедре. Громи кабинетных теоретиков-зазнаек, всегда поддержи... Садись в машину, отвезу в общежитие.

— Я не один, товарищ генерал. Со мной солдат из моей роты.

— И его захватим.

Заремба вытянулся перед генералом, назвал себя.

— А, это ты, молодец! — воскликнул Жезлов, приподняв густые брови. — Не ждал от тебя такой прыти.

Заремба приготовился выслушать самое неприятное от Жезлова, которого он видел в партере перед своим выступлением. И Киреев, хотя он улавливал сердечные нотки в последних словах Жезлова, все еще был под впечатлением рассказа Зарембы и решил его вырчить.

— Растерялся он, товарищ генерал, блокнот забыл. Солдат он хороший, со мной в Будапеште был.

— Знаю, все знаю, — нетерпеливо сказал Жезлов, и веселинка заиграла в узких глазах. — Не совсем гладко начал, зато от души. — И вовсе неожиданно закончил. — Хвалю, Алексей Матвеевич, настоящих гвардейцев воспитываешь!

И, озорно столкнув Киреева с Зарембой, предложил:

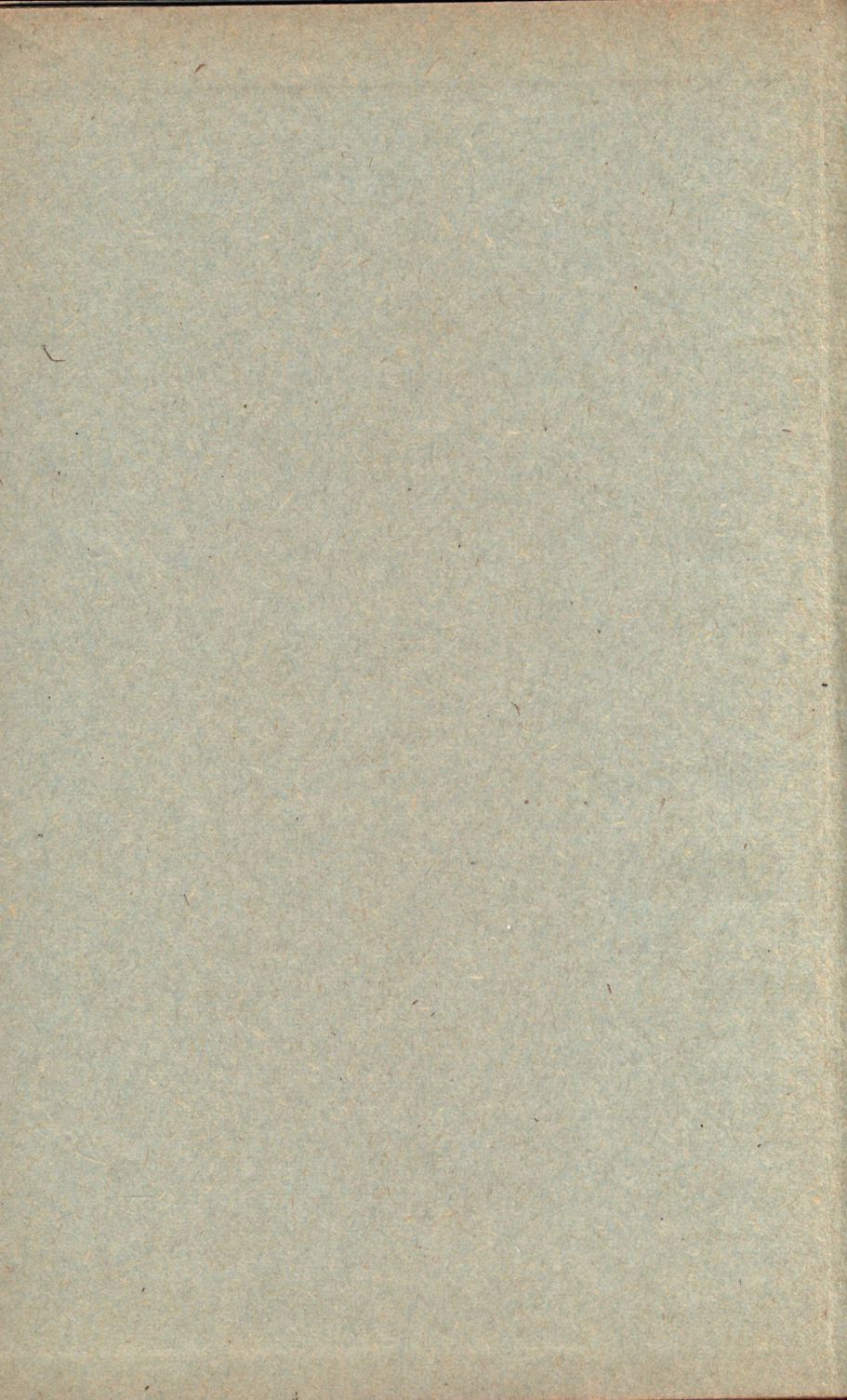
— Хотите по Москве со стариком побродить, а? Надоела машина!

Малолюдными проулками вышли к Садовому кольцу, пересекли его и по Петровке спустились к площади Свердлова. Шли не спеша, генерал — посередине. Словно обрадсвавшись возможности вспомнить боевые годы, он, поворачивая голову то к офицеру, то к солдату, рассказывал о немеркнущих от времени событиях. Вот здесь, в Большом театре, он видел и слышал Владимира Ильича, а за углом, в Колонном зале Дома Союзов, прощался с ним в морозный январский день. По этим улицам в октябре сорок первого года проехал со своими танками отстаивать столицу, и тут, на Красной площади, вместе с Киреевым участвовал в параде Победы.

Притихшие, охваченные одними чувствами, остановились возле Мавзолея генерал, офицер и солдат. Вокруг них было торжественное, ничем не нарушаемое безмолвие. Ничто не отвлекало от дум, от восприятия глубокой и тонкой красоты, раскрывшейся в певучей тишине.

Мороз посеребрил гордые башни и зубчатые стены Кремля, мягкие линии куполов храма Василия Блаженного и шпили Исторического музея. Древние башни, словно седые стражи, стояли по бокам памятника из красного и черного мрамора, гранита и лабрадора. Заремба смотрел то на Мавзолей, то на своих командиров. Жизнь осыпала голову Жезлова белым серебром, точно снег высокие купола, подернула инеем виски Киреева. Это они, его командиры, помогли ему понять величие ленинского дела, научили быть верным знамени, реюшему над Кремлем.

Кремлевские куранты мелодично и весомо отбили двенадцать. Над восточными рубежами страны взошло солнце нового дня — дня великого созидания.



Reps ✓

8 080
56 коп.

СВЕРДЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1962

ALBERT

MARK

1891

1892

1893

1894

1895

1896